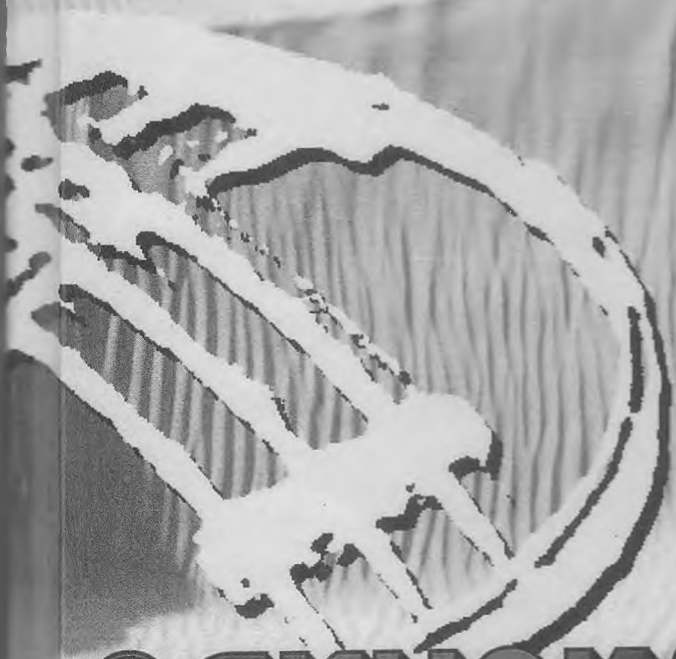
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА: ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Смагул ЕЛУБАЕВ



ОДИНОКАЯ ЮРТА

Смагул ЕЛУБАЕВ

ОДИНОКАЯ ЮРТА





Смагул
ЕЛУБАЕВ



Алматы,
"Сөздік-Словарь"
1998

ББК 84(5Каз).
Е46

ЭТО ИЗДАНИЕ ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Елубаев С.

Е 46 Одинокая юрта: Роман / Пер. с каз. Л.Космухамедовой. — Алматы.: Сөздік-Словарь, 1998.—320 с.

ISBN 5—7667—4523—0

Роман Смагула Елубаева — это обращение к истории казахского народа.

Автор постарался передать дух того времени в период принудительной коллективизации и раскулачивания. Когда никто не разберался кулак он, или середняк, и дети были в ответе за прошлое родителей. Как кочевал народ за границу, пытаясь переждать «смутное» время и выжить во время голода, когда счет шёл на каждое зернышко. Все это прослеживается на примере одного аула.

Книга рассчитана на массового читателя.

ББК 84(5Каз).

Е 4702750201-014
438 (05)-98

ISBN 5—7667—4523—0

© Елубаев Смагул, 1989
© Космухамедова Лина, перевод с казахского, 1992
© Нурмуханбет Нагым, художественное оформление, 1998

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ АБОНЕМЕНТІ
Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА
БИБЛИОТЕКА
Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева
Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева
740514

Конец эпических начал

Вступительные главы романа, отвечающие традиционным канонам эпического жанра, представляют нам воистину эпических — исполненных гражданской силы — героев, теряющих по логике социального развития не саму эту силу, а возможность ее реализовать. Воспринимаемое как последнее сказание летописца, это эпическое повествование и рассказывает о разрушении эпических начал в жизни народа.

Путешествуя по тем «шатким годам», мы видим то, что происходило тогда в любой точке страны. Но, в отличие от большинства сочинений на эту тему, роман Елубаева идеологически «стерилен»: абсолютные категории Добра и Зла освобождаются автором от наносных и потому вредных примесей идеологии. «Одинокая карта» — не социальная драма, а история того, как удушающая схема опутывает древо жизни, которое могло бы цвести еще долгие годы... От бия Пахраддина, добровольно передавшего властям все излишки, требуют рабского повиновения, но ни он, ни его дочь не способны слепо повиноваться. Даже горячо любимому мужу перечит «кулацкая дочь», ведь не злодей же ее отец, не кровопивец. Не дожидаясь расправы, уходят за Пахраддином те, кто привык жить вольно: и бедняки, и «раскулаченные» до нитки, и бедняцкие вдовы, и сироты. Главным в колхозе становится богатей Лис Курен, умеющий ладить со всякой властью...

Благоговение перед жизнью, исполненной смысла, передается автором в созерцательно ярких описаниях природы, исчезающих тогда, когда улетучивается из жизни какой бы то ни было смысл, замещенный идеей. Автор не срывается на крик, ибо владеет им не гнев, а скорбь, ведь у народа, попирающего святыни, нет будущего... А главное, как он понимает, не существует в природе никакого «во имя», искупающего этот грех... Кричат у Елубаева оборотни, готовые бежать куда прикажут, исходит криком благородный нар, побиваемый теми, кто понимает власть как кнут... Власть бедняцкая — и кнут бедняцкий, но удары его не щадят никого... Люди, превращенные Временем в «носителей идей», теряют собственное лицо; «движущие силы», оторванные от

мирных занятий, мечтают о том, чтобы к ним вернуться... Но вернуться в прошлое — униженное и разоренное — невозможно.

Нехитрый механизм классовой борьбы своей простотой и отпугивает «простых» людей, ведь, даже на их непросвещенный взгляд, человеческая жизнь — тайна, сокрытая в божественном предопределении и раскрываемая, отчасти, избранными Богом творцами...

Но постигать эту тайну пришлым людям недосуг, да и не тем они заняты: «...Откуда же эта красота здесь... в глухомани?» — подумалось ему (главному начальнику — Э.С). Вспомнились напутственные слова Филиппа Исаевича, первого секретаря Казкрайкома: «Район, куда вы направляетесь, — самый отсталый в степи. Глушь, куда Советская власть еще не добралась, с нуля там начинать надо...»

Потому и стригут народ «под ноль», что с нуля начинать надо! И летят головы, и трещат кости — рубят-то «под корень»! Можно подумать, что Елубаев рассказывает о борьбе идей, но в том-то и трагедия, что идеи антагонистической у народа нет... И борьба идет не между сторонниками и противниками классовой идеи — таковых не было, и не между классами, которых тоже не существовало, а между мечтой о свободе, которую лелеяли все, и сказкой, в которую не верил никто... Неудивительно, что, утопая, эта идея потянула за собой всех.

Роман Елубаева динамичен не потому, что сцены сменяют в стремительном ритме одна другую, а потому, что в одной и той же мизансцене — не важно, в богатом или бедном доме — стремительно нарастает ощущение страха и безысходности. Мастерски написанный и блестяще переведенный, этот роман адресован читателю, не довольствующемуся полуправдой. Не такой читатель, к сожалению, «обеспечивает» тираж современных изданий, но публикация этого романа, близкого по художественной объективности произведениям Чулпана или Магжана Жумабаева, пойдет на пользу не только ему, но и самому издательству, заинтересованному в повышении «спроса» на казахскую литературу.

Эмма СЕРГЕЕВА,
критик
г. Москва

С Каратауских предгорий караван приходит,
Каждый раз верблюд один без седока приходит.
Тяжело терять, скажу я, родину и ближних...
Плачу я, и мое сердце горечью исходит...
Из народной песни «Елимай».

У КОЛОДЦА

1

Безлюдна, безмолвна бескрайность куда ни глянь. Вечерние сумерки густеют. Неясны, расплывчаты контуры редких кустарников. Пустынная ширь, все больше натягивая на себя черное покрывало, тихо отходит ко сну. Этот дремлющий покой, объявший округу, всколыхнул звон колокольцев. Он донесся приглушенно, откуда-то издалека. Слабый, захлебнулся, не в силах просочиться сквозь толщу ночи. Но вскоре колокольчики зазвенели вновь, они приближались. Показался идущий среди тьмы караван... верблюд за верблюдом... тяжело идущие атаны и нары[1]. Следующие с ними люди молчаливы. Медные колокольчики на шеях животных, мерно раскачиваясь в такт верблюжьему ходу, позванивают, издавая простенькую, как незатейливый степной кюй, мелодию. Она не нарушает покоя, растворенного в воздухе, созвучна ему.

Вскоре караван сошел с дороги. Люди облюбовали песчаник. Верблюдов опустили на колени — одного за другим, по кругу — и сняли мешки и коржуны — переметные сумы. Вконец утомленные и обессиленные, путники — их семеро — завалились спать как были, в одежде, подложив под головы коржуны. Многие тут же захрапели, разбитые дорогой.

Лишь Азберген не сомкнул глаз. Азберген — младший брат Пахраддина, вон того, что лежит неподалеку, с головой закутавшись в чапан. Пахраддин — от байбише, первой жены отца, а он, Азберген, — от токал, второй жены.

---

[1] Атан — холощенный верблюд. Нар — одногорбый.

Не спится Азбергену после разговоров, которые он услышал вчера на ярмарке в городе Темире[1], — заходит, мол, солнышко для баев... А все Пахраддин... Глянул Азберген — нет братца на месте. Стоит себе под звездным небом спиной к нему, лишь силуэт вырисовывается отчетливо, на плечах — чапан. Вот и представился случай поговорить наедине. Встав, приблизился к брату. Сплюнул. Чуть отступил Пахраддин, глянул краешком глаза. И более — ничего. И Азберген некоторое время назло ему безмолвствовал. Тоже в ночную степь вгляделся, брови сошлись угрюмо на лбу. Знает, раскрой он рот — злость, что его душит, наружу хлынет.

Не выдержал, рыкнул, разъяренный:

— Ты... ты виноват! Давно следовало откочевать! Уходить надо было! А теперь вот...

Не красноречив Азберген, он больше человек действия. Смешался, поперхнулся на слове. Замолчал. Пахраддин покачался грузно на месте и так, ни слова не произнеся, направился к темнеющей на стоянке верблюжьей поклаже. Лег, чапаном накрылся.

Луна высветлила восточный край небосклона. Западную часть прочертила хвостатая звезда. В полыни трещали неумолчно сверчки.

Навзничь растянулся на песчанике и Азберген, предался думам, таким же бездонным, как ночное небо над ним. От вислогубого атана с подветренной стороны тянуло характерным духом, он напоминал запах соломы; связанные друг с другом дромадеры смачно перемалывали жвачку. Не понимает он брата, нет. Бий как-никак, все, считай, в рот ему заглядывают: что уважаемый судья скажет... Правда, у брата, как у Мажана — тоже вон спит, — нет тысячных стад и отар, но ведь не без скотины же! И у него состояние достаточное. А упомянет кто Советскую власть — поклоны ей башкой отбивает, точно мерин, от мух отмахивающийся. Может, думает, Советская власть облагодетельствует его за это? Чтоб ему, Азбергену, со свету сгинуть, если он что-либо понимает!.. А как Пахраддин перед Шарипом шапку ломает, перед грязным сапожником, который в прошлом году печать аулная[2] заполучил?!. Видя, как Пахраддин, не-

---

[1] Город в Актюбинской области.

[2] Аулнай — председатель аулсовета.

когда недоступный, как высоченная гора, оседает на глазах, приуныл Азберген, а бывало, спуску никому не давал — силу брата за спиной чувствовал. Но сдаваться не думал — придет, даст бог, его время, вернется оно к нему, отыграется тогда на Шарипе, на дурачке этом, возомнившем себя властью! И на Шеге отыграется, на дохлом щенке Шарипа, который тоже зубы начал показывать... Ох и нарезал бы плетей из кожи на его спине! Вскипел Азберген, как только подумал про него. Не вскипишь тут — не понимает, шельма, кто он и что, еще нагло на Хансулу рассчитывает! Вот распоясалось гнилье!

Хансулу — племянница Азбергена. Единственная дочь Пахраддина. Тростиночкой изгибается. Красавица, каких мало. Да пусть только прикоснется к ней этот выродок Шеге — он, Азберген, его в живых не оставит!..

Когда на рассвете все проснулись отдохнувшие, Азберген еле продрал глаза, опухший, хмурый от бессонницы. Поднялся мрачный, как туча, готовая разразиться грозой.

И снова караван размашисто ступающих дромадеров пустился в путь, позванивая колокольчиками. Где-то впереди аул, люди — родичи, жены, дети, которых караванщики не видели почти месяц.

А караван шел и шел...

2

Осеннее стойбище аула. Неприглядна здесь земля. Выгорела вся. Особенно удручающе выглядит пустырь у колодца, где и вовсе ни травинки, даже выгоревшей; над ним постоянно висит пыльное облако.

На неказистом гнедом коне трусит к колодцу Шеге. Шум окрест: блеют овцы, стонут верблюжата — обычная картина из жизни вечернего аула, хлопотливая пора, когда все на виду, и люди, и животные. Но Шеге гама не слышит, он думает. И чем больше думает, тем тяжелее на душе. Забавный он. Нашел о ком думать — о Хансулу. Днем и ночью она ему грезится. Но разве на всех парней Хансулу хватит? Девушек в ауле много. Почему бы Шеге на какую-нибудь другую не поглядеть? Почему Хансулу? Зачем тянуться к звезде на небе, до которой все равно не дотянуться?

Сам не знает, зачем. Чем он может прельстить пахраддиновскую баловницу? Ни состояния у него, ни славы, ни происхождения высокого — был бы он, скажем, отпрыском какого-нибудь знаменитого деда... И юрта вон... в сорока заплатах, скособоченная, на отшибе стоит. А отец... хромую овцу поймать не может, недотепа. Ничего-то его отцу Шарипу от семи ушедших в прошлое поколений не перепало, вот и занимается сапожничеством. Но если драную юрту и отца не брать в счет, то и у Шеге-то никаких достоинств, чтобы девушка на него внимание обратила: худ, смугл дочерна, узкоглаз. Не дал ему бог ничего, кроме роста: ни дара — на домбре бы, скажем, играл или пел, чтобы девушки с ума сходили; ни красноречия, чтоб искусством своим людей поражать; ни даже скакуна или гончей, как у Булыша, например... вон он... воду из колодца набирает... на самой кромке, отчаянный, стоит. У Шеге, несчастного, если уж начистоту, и одежки-то мало-мальски приличной нет на люди показаться, а ему уж шестнадцать...

Создатель, что и говорить, творец искусный, взял да и наградил Шеге при всех его недостатках горделивым сердцем. Не дает он себя в обиду. Нет подростка в ауле, которого не измолотил бы кулаками вздорный Азберген, один Шеге этого избежал. «Пусть только тронет!» — думал он в сердцах после очередной драки. Возможно, из-за гордости своей и потянулся к Хансулу: уж если любить, так лучшую из девушек!

— Тащи!

— Назад! Наз-за-а-ад!

Голоса у колодца отвлекли от дум. Шеге поднял голову. Солнце уже склонилось к горизонту. Косые длинные лучи окрасили в розовый цвет степь, перевалы, холмы. У колодца — он в низине между двумя аулами — скученно от согнанной туда скотины. Черными тенями мелькают люди. Женщины доят верблюдиц, заворачивают разбредшихся по степи верблюжат. Их голоса тонут в блеянии овец, ржании лошадей. Косяки к водопою спускаются, с пастбищ. Пыль, поднятая копытами животных, зависла над безветренной степью густой, розово отсвечивающей на солнце тучей.

Верблюды, утолившие жажду — у них даже бока раздались, — лениво взбираются вверх по склону, большая их часть — из аула бая Мажана; аул — во-он... на перевале,

желтом от гармалы, пахучей степной травы. Мажан и возглавил ушедший в город Темир караван, в нем — мужчины из двух аулов, среди них Пахраддин, его имя второй аул носит; скотину погнали на городскую ярмарку.

Только приблизившись к колодцу, Шеге приметил в толпе своего приятеля Ждахая, поившего верблюда, и усмехнулся. Со Ждахаем они сверстники, с ним он может поделиться самым сокровенным. У обоих и печаль-то одна. Ждахай тоже влюблен. В молоденькую токал бая Мажана Балкию влюблен. Стоит друзьям сойтись, так одна у них песня — о Балкие да о Хансулу.

И Ждахай, завидев Шеге, расплылся в улыбке. Коренаст с виду, плотен, с оспинками на лице.

— Тащи-и! — заорал опять Булыш, крепкий, рослый детина, захвативший бадью.

Огромный черный нар, впряженный в шыгыр — специальное сооружение, приспособленное для водопоя, — подался было назад, но тут же всей своей массой снова двинулся вперед, таща сыромятый аркан, привязанный к седелке на его спине. Мальчонка, державший недоуздок, бросился наперерез.

— Наза-ад!

Шойынкара — так звали нара за его черноту и мощь — послушно отступил, подметая землю свисающей с ног длинной шерстью.

Булыш, раскорячившийся на каменной кромке колодца, потянул на себя полную бадью. В следующее мгновение исходящая ледяным паром вода гулко выплеснулась в глубокую деревянную поилку.

Верблюды приникли к поилке, жадно, взахлеб стали пить.

Ждахай толкнул Шеге в бок:

— Эй, гляди-ка! Да не туда, назад гляди!

Шеге обернулся — там, куда указывал Ждахай, огибая колодец, манерно рысила на своем Каракере Хансулу. Она в круглой бобровой шапочке, пух филина на макушке клонится из стороны в сторону на ветерке, красный шелковый камзол в талии туго охвачен изящной застежкой; серебряное седло под лучами заходящего солнца переливается всеми цветами радуги; трехлетка Каракер будто чувствует,

какая красавица у него хозяйка: так и пританцовывает, легко выбрасывая тонкие ноги.

Шеге живо представил себе черные смородиновые глаза девушки, длинные, загибающиеся кверху ресницы, чуть вздернутую по-заячьи пухлую верхнюю губку. Вздохнул.

— Не горюй! — тряхнул его за плечо Ждахай. — Пусть задирается! Но попомни мои слова — твоя она будет, ей-богу!

Шеге улыбнулся против воли. Ждахай подбавил жару:

— Отец твой — аулнай? Кого боишься? Напри — сосватай! Пахраддин, ей-богу, слова не скажет! Отдаст дочку!

— Ай, понесло тебя! Нет закуна[1], который дочку у кого-то велит отбирать! — а глаза Шеге по-прежнему на Хансулу.

— Вот же, ей-богу, ну и пялься тогда! — насупился Ждахай, озлившись. — Пялься, пока кто-нибудь ее у тебя не перехватит, вот уж смерть!

— Тащи-и!

Могучий Шойынкара, все так же подметая землю шерстью, боком-боком, напрягшись, снова потянул бадью.

С западного крыла колодца, со стороны мажановского аула, показалась женщина. На плече у нее коромысло. Широкий подол белого платья вольно полощется при ходьбе. Рядом — девочка. В женщине Шеге признал Балкию. Приспел момент расквитаться со Ждахаем!

— Ждеке-е... Погляди-ка ты теперь... вот сюда!

Как только Ждахай увидел идущую по тропе Балкию — пыль из-под ее ног серебрилась в закатных лучах, — преобразился, бедняга, на глазах. И без того щетинящиеся на голове жесткие волосы вздыбились, кажется, еще больше. Засуетился, не знает, куда руки девать. А Шеге давай хохотать! Ждахай раскраснелся, на кончике носа выступила испарина.

— Чудак, — говорит, — ты никому не болтай, но я тебе сегодня тако-ое покажу... — и перешел на шепот, чтобы, наверное, придать своим словам значительность, а заодно и отвлечь от себя внимание приятеля.

---

[1] Закун — искаженное «закон». Введение в казахскую речь русских слов — историческая примета времени.

— А что там у тебя... тако-ое?

Ждахай приложил палец к губам, молчи, мол, и глазами повел в сторону Булыша, который опять захватил бадью. Балкия между тем подошла. Игрива молодая жена Мажана. Походка у нее — загляденье! Среднего роста, чуть корената, глаза, как у дикой кошки, светятся огоньками. С подойниками пришла, сбросила их на землю. Все ее внимание — на Булыше.

— Как здравствуем-поживаем, байбише? — полюбопытствовал тот, одаряя ее белозубой, ослепительной на загорелом дочерна лице улыбкой.

Балкия, подперши рукой бок, лениво качнула телом:

— Э, да уж какая я байбише? Мне до байбише еще — охо-хо!

Кокетливо вскинула голову, глянула свысока на джигита.

Шеге и Ждахая она не замечала.

Ждахай то краснел, то бледнел.

А Балкия знай себе перешучивается с Булышем. Конечно же, зачем Балкие Ждахай, когда рядом Булыш?! И холост, и стрелок отличный, и силач! Разве что беден, да что бедность для джигита, которому равного в округе — нет!

Друзья отошли от колодца, и Ждахай не выдержал:

— Убила ведь, начисто убила... — и головой покачал с досады. — Хоть бы взглянула, а?

3

Отужинав, люди в ауле давно легли спать. Темно, хоть глаз выколи. Месяц еще не народился. Шеге, заинтригованный словами Ждахая, затаился с ним на пыльном верблюжьем пятачке в ауле Мажана. Приятели обосновались с подветренной стороны большого старого стога, за отау[1] Балкии наблюдают. Вон она темнеет впереди.

Долго Балкия крутилась по хозяйству — появлялась, исчезала, — это они по звону шолпы[2] угадывали. Наконец свет погас.

---

[1] Отау — юрта молодой семьи, в данном случае — жены-токал.

[2] Шолпы — металлические подвески-украшения в косах.

Ждахай толкнул Шеге вбок:

— Видал? Легла. Потому как одна. Теперь во все глаза гляди, тако-ое увидишь...

Прошло время. Ни души возле отау. Ни звука. Покойная тишь в ауле. Даже собаки брехастые приумолкли. Только в загоне возня слышится — возбуждены бараны после лета, бодаются спросонья по привычке. Кричит за аулом козодой, будто причитает. Не накликал бы беды. Скверная птица.

Хорошо, если друзьям повезет. Но Булыш-охотничек, который должен бы, по словам Ждахая, открыть дверь молодой токал, не появляется.

— Не задержится, придет. До луны еще явится, — шепотом обещает Ждахай.

— Рассказал бы пока, что видел. Что без толку сидеть-то? — попросил Шеге.

Ждахай живо повернулся:

— Хотел, чтобы сам ты... собственными глазами... а видишь, дурачит нас охотник, не идет. — Он досадливо повел плечами. — Старик-то ее... — Он кивнул в сторону юрты. — ...как в город с караваном, так я — к ней. Каждый вечер дверь ее сторожу.

— Ну?

— Муж — рухлядь старая. А она молоденькая, кровь с молоком! Когда, думаю, ей гулять, как не сейчас? Глаза, представляешь, закрою — ее, чертовку, вижу. Будто сидит одна-одинешенька и меня ждет. Одурел совсем. Как солнце заходит — я сюда. От собак мажановских опасности для меня никакой — признают, да еще и до юрты провожают, хвостом виляют, вот, дескать, где твоя Балкия. Но такое вот дело, дойду до двери и — будто аллах разума лишает, дурак дураком стою. Коснуться двери не смею, конец света для меня наступает. Руки дрожат, не дышу, в ушах шумит, сердце стучит. Вот и вчера перед дверью ее обалдуй обалдуем торчу и вдруг — слышу, кто-то в потемках идет! Булыш! Испугался я, за дом забежал. Не дышу. В себя пришел — услышал голоса. Тихие голоса. «Сюда иди, сюда...» Балкии это голос. Кумган, говорит, там на полу, не споткнись. А он: ты одна? Чего же это я, она говорит, одна не буду, с хрычом, что ли, своим тебя дожидаться? А он: постой, я к тому, нет ли детей? Не бойся, Балкия говорит,

нашел чего бояться... А потом, слышу, кровать скрипнула. Я — к самой стене ухом! Она его шепотом спрашивает, соскучился ли, а голос-то у чертовки сла-аденький, как мед. А потом плохо стало слышно, совсем тихо зашептались. Я так и этак к стене — ничего! Что-то, видать, они зачуяли, Балкия как закричит: пшла, пшла отсюда, скотина!.. Ну и пошел я...

— Зря шебуршился-то, — подосадовал Шеге, разочарованный тем, что рассказ прервался в самом интересном месте.

— Чудик ты, да Булыш узнал бы — пропал бы я! Он бы шею мне свернул!

Шеге вгляделся в темноту — кто-то присел на корточки у натянутого на колья аркана, к которому обычно привязывают молодняк во время дойки.

— Вон! — прошептал Шеге.

— Где? — не увидел Ждахай.

Они пригнулись. Человек, присевший на корточки, встал, пошел назад. В руке у него кумган для омовения.

— Ту-у, отца твоего!.. — разразился ругательством Ждахай. — Каукаш это. По нужде выходил. Чтоб его... — и вновь от души помянул нелестным словом мажановского пастуха. Левая часть небосклона посветлела.

— Луна уже выходит, — прошептал Ждахай. — Теперь Булыш сдохнет — не придет!

— Что ж, давай по домам, — с сожалением бросил Шеге.

— Зачем по домам? Два таких джигита... А там женщина... молоденькая... одна... — и голос Ждахая сорвался на сип.

— Ну так иди. Может, ждет она... тебя... — фыркнул Шеге.

— А что? Пойду! — Ждахай как бы подбодрял сам себя.

— Иди! Иди же!

— И пойду!

Шеге охватил смех. Трусоват Ждахай.

— Что смеешься? Убудет с меня, что ли?

— Ну так что стоишь?

Шеге и самому захотелось, чтобы Ждахай пошел.

— Ну, если что — дашь знать! — с этими словами Ждахай забежал за крайнего верблюда и, пригнувшись, припустил

вперед. Оглянулся на ходу. Осторожен Ждахай, со стороны — будто мух ловит. Добежал. Перед самой дверью встал.

Шеге разволновался, сердце из груди рвется.

Ждахай, похоже, подал голос. Его не заставили ждать. Исчез в черном проеме.

— Чудеса! — произнес Шеге. Сам не понял, как ринулся с места.

Но, когда был почти у цели, послышался звук, будто палкой ударили по выделанной козлиной шкуре, а следом — грохот железа. Ждахай выметнулся из юрты. Помчался без остановки, как конь, куда глаза глядят.

И Шеге — ноги в руки! Что раздумывать? Бегут оба к оврагу. Топот такой подняли, что верблюды, напугавшись, повскакивали с мест. И собаки зашлись в лае.

Поравнявшись со Ждахаем, Шеге спросил, переводя дыхание:

— Что случилось-то?

— Убила начисто!

Еще сильней припустил Ждахай, аж голова назад запрокинулась. Так и добежали до оврага, на дно скатились. Аульные псы за ними увязались. Тем и спаслись, бедолаги, что оказались на дне оврага.

— Что было-то? — не унимался Шеге.

— Что было, то было... Убила, говорю, то и было, — Ждахай закатился смешком, руку Шеге приложил к своему виску — вспух висок.

— С наградой! Поздравляю! Ну... рассказывай...

— Открыла она дверь. Я — туда, — начал Ждахай, — в ночной рубашке Балкия, аромат от нее... Чего тебе, говорит, а голос... ну совсем не такой, как тогда, когда она с Булышем шепталась. Другой голос. Растерялся я, брякнул, поиграем, женеше[1]... и — на коленки, ножки ее обнимаю: разжалобится, думаю. А она, представляешь, чем-то тяжелым меня... прямо по макушке! Скалка, оказалось. Искры из глаз. Я — к двери. Таз, что ли, у порога зацепил, не знаю, в общем, на что-то наступил. Грохот... А она напоследок этой скалкой — промеж лопаток! Вот тебе игра, говорит. Я — через порог да лбом о притолоку...

---

[1] Женгей (женеше) — жена старшего родственника.

Шеге со смеху катается по земле, а сверху вдруг:

— Айт! Шайт!.

Кто-то проверял на ночь овец. Пересчитывал. До того мажановские псы сидели на краю оврага смирно, не смея приблизиться, побрехивали только, а тут — расшумелись! Ждахай — на четвереньках к ним! Псы умчались, озадаченные, не поняли впотьмах, что за тварь на них накинулась.

— Мало мне, что ль, от этой досталось? — ворчал Ждахай, возвращаясь.

Край ночного полога на востоке подобрался, робко проглянул осколочек, луны — как ломоть дыни. Темнота сразу рассеялась, под небом с редкими звездами проступили юрты — круглые, охваченные сном.

Юноши, не задерживаясь, разошлись по домам.

4

Наутро Шеге проснулся от пронзительных голосов. Как всегда, отец с матерью повздорили за утренним чаем. Не желая их слушать, Шеге с головой завернулся в одеяло. Перебранка не прекращалась. Напротив, набирала силу.

— Гульжа-ан! — вскричал вдруг отец. — Сходи-ка к Пахраддину, сахарку от них принеси. Скажи, вернутся люди с базара — отдадим.

Гульжан — младшая из пяти сестренок Шеге.

— Не пойдет! — заявила мать. — Девчонка, эй, не смей идти! Сапоги не шьешь, как аулнаем стал, стыдно, видите ли; вот и мне, жене аулная, попрошайничать стыдно! Не пойдет она.

— Ай, твердолобая, не тебя ведь, ребенка посылаю, — в голосе отца стали прорываться знакомые визгливые нотки.

— Не пойдет! — упорствовала мать. — Глотку каждый день дерешь: власть — бедняцкая, власть — бедняцкая, а сам — чуть свет к баю бежишь. Скажи, какой прок, что ты — власть?!

Мать у Шеге — ширококостная смуглая женщина с уравновешенным, спокойным характером. Не громко, низким голосом возражает она, но доводы ее убедительны.

740514

КІТАПХАНА
БИБЛИОТЕКА
Северо-Казахстанский

Смеется про себя Шеге. Он ясно представляет сейчас отца, красного от злости и беспомощности, потому что не находится в ответ нужных слов, его вытаращенные глаза, его торчащий на самой макушке хохолок. За такую вот вспыльчивость и прозвали его в ауле Верещага Шарип.

— Безмозглая! Что ты мелешь? Просим потому, что бедные. Кто бы нас поддержал, если бы не бедные были?

— Поддержал... это ты про печать, что ли? Носишься с ней, как с дитем недоношенным! А что нам от печати той? Ты один и рад, что власть. Ремесло забросил. Детей вон куча, а водичкой пробавляемся, рады-радешеньки, что у тебя печать! Вот и грызи эту печать заместо сахара!

Шеге фыркнул под одеялом.

— Прекрати, семя бесстыжего рода! Не смей печать трогать!

Девочки расплакались. Шеге соскочил с постели. Как и предполагал, отец с печатью в руке наступал на мать. Шеге встал между ними.

— Сколько тебе говорю, семя бесстыжего рода, не тронь печать!. Пропадешь ведь с аулом, с детьми, знаешь ты про это?

— Знаю, садись. Чай вон остыл... — Мать, хмурясь, потянулась к сундучку, в котором хранились чайная посуда и редкие в доме сладости. Достала небольшой, с ноготок, кусочек сахара, бросила на дастархан.

— Ох-хо-хоу! — вздохнул отец, приходя в себя. — Бабы, и те на шею влезли. Печать им, видите ли, поперек горла! Нашли игрушку!..

Хрустко прикусив сахар, взял в руки перемотанную проволокой пиалу.

Шеге, зевнув, вышел на улицу. Дул холодный, пронизывающий ветер. Обычное промозглое осеннее утро. Небо на востоке обложено тучами. Из-за них и солнца не видать, хотя оно давно уже поднялось. Женщины, съежившись на ветру, гонят на пастбище верблюдов. Кто-то, бренча ведром, набирает воду в колодце. За колодцем на склоне хребта — одинокий всадник с гончей: Булыш на охоту отправился. Вспомнив про вчерашний рассказ Ждахая, Шеге рассмеялся. Пошел на край аула.

Булыш — известный в округе охотник. Джигит из джигитов. Тридцать лет ему уже. Кого же любить Балкие, как

не его?! К тому же и холост Булыш, жена два года назад умерла. Бедняк, правда, и одиночество как будто предпочитает. Юрта вон — особняком в конце аула стоит, старая, прокопченная. Из родни у него только мать. Недолгое время они батрачили в Каракумах у туркменского бая, потом вернулись в аул. Собственно, возвращение от туркменского бая и прославило их, но это — отдельная история...

Вороной конь и белая гончая Булыша, перевалив через хребет на южную сторону, исчезли из виду.

Э-эх, почему бы Шеге не родиться таким вот джигитом, как Булыш? Посмотрел бы тогда, как Хансулу кичиться стала. Запахнув на груди поплотнее тесную уже безрукавку с шерстяной прокладкой, Шеге вздохнул. Вот эта неказистая юрта — его, Шеге, обиталище. А в центре аула, поражая людей своим великолепием, стоит другая юрта, белая как снег. Юрта Хансулу. Неподалеку на привязи — жеребец-трехлетка Каракер. Чистых кровей. Другой такой лошади в округе нет. Знаменитый туркменский ахалтекинец, которого Пахраддин из Бескалы[1] привел специально для дочери. Когда Хансулу садится на этого коня — с шеей в полтора аршина длиной и ногами, прямыми как камышинки, не скачущего, а стелющегося по ветру, — Шеге не мыслит себя рядом с ней. Такой она и стала в последние годы. Раньше, бывало, играли вместе, Хансулу с успехом за аульного сорванца сходила. Теперь Хансулу — загадка. Одна по степи на ахалтекинце скачет. Или отсиживается дома, домбру до самого вечера мучает — опять же одна. Многие, вроде Ждахая морщатся, считая ее задавакой, зазналась, дескать, все к ней: Хансулу да Хансулу — как тут не зазнаешься? А другие называют гордячкой, тем кичится, говорят, что отец у нее Пахраддин, бий. Но Шеге — как бы ни чернили Хансулу — не может не любить ее. Его все сильнее влечет к «гордячке», у которой такое нежное овальное личико, такие длинные, загибающиеся кверху ресницы, такая милая, чуть вздернутая по-заячьи и оттого особенно привлекательная верхняя губка...

---

[1] Бескала — букв. «Пять городов»; так казахи называли Каракалпакию по пяти ее городам: Ходжели, Конырату, Коне-Ургенчу, Нукусу, Шимбаю,— куда они ездили на ярмарку.

— Едут! Едут! — раздалось со стороны пастбища.

Смотрит, Козбагар кричит. Только что ведь за овцами на выгон поспешал. Полноватый, Козбагар бежит неуклюже, размахивая на радостях руками. «Кто едет?» — подумал было Шеге и тут увидел караван, огибавший северный склон сопки Караул. Издалека казалось — степь пересекает журавлиный клин. То был караван «горожан», месяц назад отбывших на ярмарку в Темир.

— Хансулу! Хансулу! Эй! Отец твой с базара едет! Оте-ец!

Козбагар надрывался так, будто его собственный отец возвращался с ярмарки. Скотину Козбагар у Пахраддина пасет. Пастух, а тоже, несчастный, на Хансулу надежды питает...

Козбагара услышал весь аул, высыпал из юрт. Ребятишки подняли визг, бросились навстречу каравану. И Хансулу показалась. Наряд ее подчеркивал изящество девичьей фигурки: серые шаровары, красный плюшевый камзол, облегающий тонкий стан, сапожки на высоких каблучках, на голове — меховая шапочка с перьями филина на макушке, в руке — камча. На Козбагара, бросившегося к ней, она даже не взглянула, пошла к коню.

Шеге вспомнилось, как Кикымбай сказал про Хансулу: «Глядите, как эта девица держится — ну прям русский апицер!» Не сводя глаз с точеной фигурки, он вздохнул...

Хансулу легко вспрыгнула на жеребца, нетерпеливо переступавшего тонкими ногами в ожидании хозяйки, и помчалась вслед за мальчишками к сопке Караул. Чуть пригнулась к гриве. Ноги Каракера не касаются земли — летит конь. Студеный ветер бьет в красивое девичье лицо, вышибая слезы из прекрасных миндалевидных глаз.

Очень скоро скакун Хансулу оставил позади визжащих ребятишек и пересек путь усталому каравану, который длинной цепью растянулся, по желтому плоскогорью. Среди путников, с пылью на лицах и одежде, изможденных, с красными воспаленными глазами, Хансулу, конечно же, искала отца Пахраддина, но не находила его. Впереди каравана — ее дядя Азберген. Богатырского сложения, он еще больше огрубел, мясистое лицо расплылось, стало круглым, на толстых щеках топорщилась многодневная щетина.

— А, Хансулу! Здоровы ли вы? — обронил он угрюмо.

— Здоровы. А где коке? — спросила Хансулу.

Глаза Азбергена с красными прожилками на белках глядели на девушку холодно, да и выражение лица далеко не ласковое.

— К Лабак-ахуну завернул только что.

Караван безучастно проследовал мимо.

Хансулу поворотила нетерпеливого коня к солнцу. Каракер полетел по полынной равнине. Только поднявшись на поперечный гребень, увидела она впереди двух путников, одного — на верблюде, второго — на коне. В человеке на вороном с белой отметиной на лбу жеребце она признала своего отца. Тот, что рядом, на белом верблюде, в белом чапане, в белой чалме, — Лабак-ахун. Он обучал грамоте всех детей этой округи. В Жыжыбулаке содержит мечеть.

Пахраддин — красивый мужчина с только-только пробивающейся сединой в волосах, крупный, с широкими плечами, — склонившись с коня, чмокнул в щеку дочь, которая, прежде чем приблизиться к нему, спешилась и, соблюдая степной этикет, поклонилась.

До Хансулу у Пахраддина были сыновья — Али и Кали. Оба умерли от оспы. Единственную Хансулу, народившуюся после них, он любил не меньше сыновей.

— Как вы здесь, Сулутай, живы-здоровы? — спросил он волнуясь, и голос его задрожал. Глаза, большие, открытые, увлажнились.

Хансулу обратила внимание на то, что большой с горбинкой нос отца припух и покраснел. И вид у него был простуженный.

— Вы не больны, коке? — осведомилась она, и тонкие девичьи брови дрогнули, как крылья ласточки перед полетом.

— Нет, Сулутай, — ответил отец.

Хансулу показалось, что отец что-то от нее скрывает.

Подстегнув коней, они нагнали вскоре худосочного, белого, как дух, ахуна, успевшего на своем белом верблюде уйти вперед. Не оборачиваясь, старик напевно заговорил:

— Уай, брат мой Пахраддин! Говорили мы с тобой в свое время, помнишь, наверное: баев станут унижать, батраков возвышать, а кто против слово скажет — на вонючий конский зад кидать. Схватила, считай, власть за горло. То, что

ты в Темире услышал, начало беды. Бог свидетель — наши страдания еще впереди.

Помолчав, ахун продолжал:

— Все, что на свете белом вершится со дня сотворения мира и до нынешних дней, дело рук божьих, все воле божьей подвластно...

Из их разговора Хансулу поняла — отец везет с ярмарки нехорошую весть. Снова начали теснить баев. Как бы утверждая ее в возникших сомнениях, ахун обронил:

— Шошу в Жайындах взяли. Бог знает, чей черед завтра...

5

В ауле весело, будто праздник пришел. За скотину, угнанную месяц назад на ярмарку в город Темир, мужчины привезли мануфактуру, одежду, сахар, чай. Как тут не радоваться?

Народ собрался в свободной гостевой юрте Пахраддина. С удовольствием внимают все напевному голосу Лабак-ахуна.

— Уай, какие слова! — восклицает Шарип, поддерживая сказителя.

Ахун на торе — почетном месте, он бел, как лебедь. Борода и усы — серебристо-белые, и одеяние на нем — белое; худой, аскетического сложения, он как олицетворение святого духа. Домбра неумолчно журчит под его рукой.

Слушает ахуна и Пахраддин, он низко опустил голову, тяжелые мысли мучают его.

— О, обманчивый, подлый мир, кого ты не пережил! — поет ахун.

Это припев. Ахун его то и дело повторяет.

— Сколько доблестных сынов, наидостойнейших в роду человеческом со дня сотворения мира, с того дня, как Адам ступил на землю, проводил ты в путь, откуда нет возврата! И царей, подобных сотрясателю вселенной незабвенному царю Сулеймену, и героев, подобных бесстрашному воину Ескендиру[1], и ученых, подобных светлоголовому Лукпану, и ханов, подобных несравненному Аз-Жанибеку, и скиталь-

[1] Ескендир — Александр Македонский.

цев мудрых, подобных печальнику Асану, и биев, подобных справедливейшему Казыбеку и Срыму, и батыров, подобных отважному Бараку, спасшему казахов в калмыцкое нашествие, проводил ты... Никто, о, никто еще не обретал покоя в этом мире, никто не находил утешения. О, обманчивый, подлый мир, кого ты не пережил! Кому, скажи, удалось не покинуть тебя?!

— Ай, не скупись! Еще! — заверещал Шарип, подаваясь к ахуну так, как если бы сидел на коне. — Ох-хо-хоу, красотища-то какая в мудрых словах предков!

Набычившись, Азберген мрачно посмотрел на Шарипа. Лабак-ахун, вдохновленный бурной поддержкой, налег на домбру, слова терме обрушились на слушателей градом.

— Ах ты... ах ты... не жалей! — стонал Шарип, не в силах скрыть восхищение.

В центре юрты на чугунной сковороде — горящие угольки. Язычки пламени, отражаясь, играют в агатовых миндалевидных глазах Хансулу. Когда жыр[1] кончился и с вечерними сумерками в самый центр между гостями поставили огромное блюдо, полное мяса, Хансулу, улучив момент, выскочила из юрты. Прекрасная, отдающаяся в ушах ночь стояла в степи, дышалось хорошо. В темно-синем небе перемигивались бесчисленные звезды. Отовсюду — запах дыма, запах тлеющего кизяка. Наполняя хохотом безмятежный вечер, резвилась молодежь: играли в «слепого козла». В Хансулу проснулось детство, тоже захотелось поиграть, пошла на голоса.

— Хансулу? — удивился кто-то.

— Хансулу идет!

— О, Хансулу!

— Эге-е, пусть теперь Хансулу козой будет!

Рады были Хансулу, особенно девушки. Из юношей здесь — Шеге, Козбагар, Ждахай. Сестренка Шеге Балжан — они погодки — подлетела к Хансулу и завязала ей глаза. Платок черный, плотный — и впрямь «ослепла» Хансулу, ничего не видит. Балжан за руку вывела ее в круг, закружила на месте, а потом закричала:

— Слепая коза, бодни-ка, ну! — и отскочила в сторону.

---

[1] Жыр — песня-сказание.

Хансулу, рассмеявшись, поймала руками воздух. Она бросалась на голоса и смешки и, ловя в очередной раз воздух, хохотала, обнажая ослепительно белые при свете звезд зубы. Все шумно уворачивались от ее вытянутых рук и тоже смеялись. Но громче всех веселился Козбагар — хоть уши затыкай. Легкая в движениях, Хансулу, сориентировавшись на его бас, сумела ухватить юношу за руку. Рванулся было Козбагар, оглушительно смеясь, но не отпустила его Хансулу.

— Все! Все!

— Попался! Козбагар, ты теперь слепой козел!

Козбагар, вытянув руки, пошел вперед. Ждахай пристроился сзади. Не дыша, повторял каждый шаг Козбагара, каждое его движение. Козбагар и не подозревал его уловок. Все давились от смеха.

Ждахаю наскучило изображать тень Козбагара, ущипнул того за жирный зад, отпрянул в сторону.

— Ойбай! — возмутился Козбагар. Развернулся, но поймал руками воздух.

— Сзади он! Сзади! — подсказал Шеге.

Один раз Козбагар попал впросак, так теперь поживее стал разворачиваться. Но не везет ему. Молодым что? Им бы только повеселиться. Козбагар устал. Топчется на месте, как медведь, хохочет. Кто-то все-таки попался. Ручка тоненькая, нежная да духами, что ли, еще попахивает. Девушка!..

— И-и-их! Их! — заржал он обрадовано, лапая жертву.

— Не теряйся? — подначивал Ждахай. — Что у неба просил, на земле нашел! Держи покрепче!

Девушка гибка, вырваться норовит. Кругом гвалт. Подружки молотят Козбагара по плечам:

— Отпусти!

А что ему их кулачки?

— Е-е-ех! Ех-ех! — ржет он. Лицом в девичью шею зарылся, не то целует, не то кусает ее, одурманенный духами.

— П-пусти! — вскрикнула пленница и влепила Козбагару затрещину.

Тогда он опомнился. Хансулу! Другая не посмела бы. Струхнул, разжал объятия.

— Молодец, батрак! — ликовал Ждахай. Он прыгал на месте от радости.

— Наглец! — бросила Хансулу в лицо Козбагару. Из глаз ее брызнули слезы.

И тут объявился Азберген. Как с небес сошел. Правой рукой схватил Козбагара, левой— Ждахая. Не успели те и глазом моргнуть, тряхнул обоих так, что парни на колени шмякнулись, а потом свел их и стукнул лбами, как самых обыкновенных козлов. Все, кто был рядом, струсив, убежали. Ждахаю каким-то образом удалось высвободиться из клещей Азбергена, тоже побежал. В ближних кустах столкнулся с Шеге.

— Ты что? — остановил его Шеге.

— Не видишь? Вон... Прибьет... — и ринулся было дальше, да Шеге не пустил.

— Выручать, — говорит, — пошли!

— Ты в уме?

И побежал. Понесся без оглядки, как бычок, покусанный оводом.

— Агата-ай[1], умираю! — надрывался между тем Козбагар.

— На тебе, «агатай»... Ишь, дерьмо, распустились... на тебе... на! — изощрялся Азберген.

Шеге, взяв разбег, ударил Азбергена головой в спину. Тот, не ожидавший нападения, не удержался на месте, пробежался вперед, едва устоял на ногах.

— Ах, чтоб ты сдох! Кто это, а? — прохрипел он, оборачиваясь, и бросился следом.

Быстроногий Шеге стал петлять как заяц. Не догнал его Азберген. В тот вечер не думал Шеге, что из этой невинной игры возгорится пожар. Знать бы ему, что гореть в том пожаре не кому-то, а ему — да еще и вдвоем с Хансулу...

В ауле поднялся крик. Пронзительный бабий крик. Он вспорол тишину. Это хромоножка Торка, мать Козбагара. Ее гнев почище самой страшной февральской пурги.

---

[1] Ага (агатай) — старший брат; в данном случае — уважительное обращение к человеку, старшему по возрасту.

— Чтоб тебе пусто было, Азберген! Где ты, ойбай! — голосила она.

Торка — ведьма ведьмой. Старшей сестрой приходится Шарипу. Услышала про избиение сынка Азбергеном, тут же выскочила из дому с кочергой; переступая через порог, ушиблась лбом о косяк, жаулык[1] с головы слетел, но ничто ее не остановило. Муж ее, Уап, — известный в ауле кузнец, бирюковатый нравом; ему б с железом только возиться, все остальное нипочем. Потому и не он выскочил с кочергой на врага, а Торка. Увидев двоих, мелькнувших впереди в темноте, она расшумелась:

— Проклятие твоему роду, Азберген! Остановись! Ты кого унижаешь? На твоих руках помру, ойбай!

Никто ее, конечно, не слушал: ни Азберген, ни кто-то другой. Да и кто побежал-то — неизвестно. Но Торка не сомневалась: Азберген побежал, ее, Торки, испугался. Развопилась еще пуще:

— Погоди, вражина! Если правда, что Сабетски бласты[2] есть, я до тебя, бандита, доберусь!

Старуха обнаружила Козбагара на пыльном пустыре. Припадая на ногу от волнения, повела она сына домой, зареванного и тоже прихрамывающего — ему отбили бок. В крохотном жилище Торки тускло светит коптилка. Длинный Уап еще сидел в постели, вылезши наполовину из-под рваного одеяла, и кряхтел: усы его, тонкие и вислые, подрагивали концами, как и опущенные уголки рта, — признак того, что он сердится. Торка, не обращая на него внимания, подвела сына к огоньку, взглянула на его лицо и взвизгнула: нос у Козбагара разбит, брови — тоже, весь в синяках. Кровь из носа запачкала грудь. Она запричитала:

— Ах, язва бы тебя взяла со всем твоим родом, Азберген! Где ты, ойбай! — и устремилась к мотыге у порога, вдвое длиннее ее самой.

Уап, не выдержав, сполз с постели. Навис, длинный, над женой.

— Будет тебе, старуха, будет, кого думаешь там изничтожить?

Уголки его губ опять задергались. Он попытался преградить ей дорогу, но та отмахнулась:

---

[1] Жаулык — женский головной убор.

[2] Сабетски бласты — искаж. от «Советская власть».

— Сгинь с глаз!

Она направилась прямиком к Азбергену, таща сына за руку. Криками переполошила аул.

В юрте Азбергена не было света — легли, видно.

— Проклятье твоему роду, Азберген, выходи, коли мужик ты! Покажу я тебе, как бить-то надо! Выходи! — с этими словами Торка стала дубасить мотыгой по двустворчатой двери, запертой изнутри на крючок. — Что ж ты не убил его, мальца-то?! На, окаянный, убей! — и толкнула сына. Тот ударился о дверь. Заскрипела притолока.

— Уважаемые, эй, нельзя ль убраться, а? Дом развалите! — прогудел из юрты бас Азбергена.

— Развалю?.. Да я разгромлю твою кибитку! — взвизгнула старуха и давай бесноваться. Прыгает возле юрты, как козленок, и мотыгой по ней молотит.

— Гляди-ка, разнесла уже! — бросили зло из юрты.

Это распалило Торку:

— Да кто она такая, пропади пропадом, ханская дочь, что ли, и поцеловать ее нельзя?! Поцеловал. Ну и что? Надо будет, похлеще что сделает! Мизинчика моего Козбагара не стоит сучка ваша, а туда же — цену ломают!.. Выходи, басмач, выходи сюда, чтоб твоему отцу в могиле выть! Руки-ноги свяжу — и пошел! Если правда, что бласты есть, так закуну, учти, нет, чтобы батрака бить! Ойба-ай! Где ты, Шарип?!

Вопли Торки давно подняли аул на ноги. У юрты Азбергена собралась толпа, пришли и стар и млад. Подогретая вниманием, Торка продолжала бесноваться, колотя по юрте мотыгой; насилу две женщины остановили ее, взяли под руки.

— Успокойтесь! Да успокойтесь же, мать! — корили они ее. — Глядите, люди кругом!

Незнающие любопытствовали:

— Что за скандал? Объясните!

Вездесущие ребятишки и доложили, как все было. Из их сбивчивого рассказа люди поняли: сын кузнеца Уапа, батрак бия Пахраддина Козбагар насильно поцеловал дочь бия Хансулу, когда они играли в «слепого козла»; оскорбленная девушка отвесила невоспитанному джигиту пощечину, а потом дядя девушки — Азберген — поколотил Козбагара, разукрасил его в кровь...

К принародно утиравшей слезы Торке подобрался раздвигая плечами собравшийся люд, Пахраддин.

— Не сердитесь, женеше, — сказал он. — Видите, сколько нас? Как-нибудь найдем управу на одного буяна...

И тут же к юрте развернулся, прокричал:

— Эй, разбойник, что же ты лежишь, когда тут народ? Выйти бы надо, а?

— Дайте покой, уважаемые! Уходите! — последовало из юрты.

Женщины от возмущения защипали щеки — красноречивый жест: поведение Азбергена выходило за рамки приличий. С тех пор как существует аул, не было случая, чтобы кто-то возразил бию Пахраддину, да еще публично, не говоря уж о том, что он к тому же старший брат Азбергена.

Пахраддин разгневался и ушел. Не знали люди, что с ярмарки братья вернулись в ссоре.

Был в толпе и Шарип. Молчал, пощипывая кончик жидкой бородки. Люди переключились на него: что аулнай скажет, представитель власти? Но Шарип, обычно первым ввязывавшийся в скандалы, нынче был безгласен. Торка, притихшая было в руках женщин, опять начала биться — ее вывело из себя поведение Шарипа, брата, власти, наконец, которую он олицетворял.

— У тебя что, скулы свело, ойбай? Что мне от того, что ты аулнай, ойбай! Единственную сестру защитить не можешь, на поругание нечисти отдаешь, да зачем мне такая твоя бласты, ойбай! Пустите меня, помру я лучше скитаясь...

— Да будет тебе, старуха, пошли-ка лучше домой. — Длинный Уап навис над старухой, и усы его, тонкие и острые на концах, тоже повисли. Захватив жилистыми руками сухонькую Торку, он взвалил ее себе на плечо и отправился домой. Она, дрыгая руками и ногами, замолотила по его плечу, закричала:

— Пусти-и, богом проклятый!.. Пусти!

6

Утром, удобно разлегшись на мягких подушках и одеялах, Азберген пил чай, когда в юрту ввалился дебелый

милиционер с клинком на боку. Молодая жена Азбергена — Раш — испуганно вскочила с места, вскрикнув:

— Милиса[1]...

Азберген, еще удобнее подмяв под локоть пуховые подушки, пристально, в упор уставился на гостя. Не Базарбай — прежний волостной милиционер, которого он знал, но и этот наружностью знаком. Ба-а, насмешка судьбы... да он же на прислужника мажановского смахивает, того самого, что лошадей, помнится, привязывал, когда гости к баю наезжали.

— Эй, да ты, никак, Бухарбай?! — воскликнул сразу Азберген, будто родственника увидел, пряча страх под наигранной веселостью.

— Кончай, Азберген! Вставай! Одевайся! — приказал милиционер, узкоглазый черный крепыш с выдающимися скулами. Говорит — точно гром громыхает. Да и вид суровый.

Понял Азберген, что милиционера Шарип вызвал.

— Так чаю попьем, табарыш?[2] Садись! — предложил Азберген, указывая на место рядом.

— Кому сказал, вставай! Как раз туда пойдешь, где чаи гоняют! Такой порядок.

За плечом у милиционера винтовка, на поясе клинок, туго-натуго сыромятным ремнем подпоясан, пуговицы сверкают, даже в глазах стальной блеск. Помрачнел хозяин. С трудом, притопывая задниками, просунул ноги в сапоги. Встал. Милиционер будто ждал этого, завернул ему руки назад, сыромятным ремнем перетянул. Азберген не сопротивлялся. А вышел — перед домом Шарипа увидел толпу. Все заинтересованно к нему повернулись. К шариповской юрте и погнал его милиционер. Азберген клокотал от ярости. Вся аульная шваль да, бабы собрались, чтобы над ним покуражиться. О, позор! Не он ли, Азберген, весь этот сброд, как скотину, некогда хворостиной погонял?!

Солидные мужи аула, аксакалы, восседали в юрте Шарипа. Когда Азберген с закрученными назад руками, согнувшись в три погибели, переступил порог, первым, на кого он обратил внимание, был хозяин дома — Шарип...

---

[1] Милиса — искаж. от «милиция».

[2] Табарыш — искаж. от «товарищ».

Верещага Шарип с немигающими от важности момента круглыми совиными глазами. Довольно смехотворно выглядел он на торе в собственном доме — как прыщ на горе, можно и не заметить; по правую сторону от него — Пахраддин, сияющий ясным, открытым лбом; по левую — белый, как дух, Лабак-ахун, расчесывающий пальцами бороду. Среди женщин, расположившихся ближе к порогу, Азберген приметил Торку.

— А-а, головорез, явился? — оживился Шарип, смеясь. — Пусть-ка там и присаживается... на порожке... хе-хе...

Реплика Шарипа Азбергену — как удар хлыста по лбу. Но что он скажет? Униженный, обессиленный от унижения, он лишь прикусил губу. Все глаза — на нем. Милиционер ткнул его в спину. Еще больше помрачнев, отчего его мясистое лицо вспухло, Азберген опустился тяжело на колено. Глянул было на брата — тот, по-видимому, чувствовал себя не лучше, не поднимал от пола глаз.

— Пиши! — произнес Шарип торжественно и заерзал на месте. Приятная минута настала для него.

Кинул Азберген быстрый взгляд на аулная, а тот бумаги, которые перед ним лежали, передвинул к сыну — Шеге. Тот сидел уже наготове с ручкой. В рот, считай, заглядывает отцу, от напряжения губы облизывает. «Ах, не попался ты мне ночью, жаль!» — думал Азберген, задыхаясь от злости.

— Пиши! Пртокол[1]... Написал?

— Написал!

Народ притих. Снаружи громко галдели. Торка закричала:

— Эй, заткнитесь там, язва вас возьми!

Сразу стало тихо, будто аулчан окатили ледяной водой. Только чий на стенках юрт шелестел от ветра.

— Причина написания пртокола следующая: классовое столкновение, напиши, было вчера в ауле Пахраддина. Байский отпрыск Азберген Муса-улы при всем честном народе избил батрака Козбагара Уап-улы... да, пиши... Козбагара Уап-улы избил. А повод к избиению такой: батрак Козбагар, влюбленный в племянницу байского отпрыска Азбергена Хансулу, имел вчера неосторожность эту свою любовь показать...

---

[1] Пртокол — искаж. от «Протокол».

Шеге усмехнулся.

— Пиши! Это не единственный случай, когда Азберген над бедняками измывается. С приходом Сабетски бласты он спеси, правда, поубавил. А то ведь самый что ни на есть головорез был, ты ему — а, он тебе — на! Весь аул сыт проделками наглеца. Кто на годовых поминках по Ибраю велел выволочь меня из юрты, где сидели аксакалы? И ведь из-за того, что мне, сапожнику, место, видите ли, у очага, рядом с бабами. И еще поколотил меня. Он, этот Азберген, самая что ни на есть контра...

— Шарип! — заговорил Пахраддин, распрямляя грудь. — Ровесники мы с тобой, можем поговорить без обиняков. Дело это прошлое, да и не советом ли тех же аксакалов решилось? Зачем ворошить то, что забылось?

— Хорошо. Пусть так. Пошли дальше. Пиши. Бласты — бедняцкая. Кто бедняк? Бедняк — Козбагар. Раз Азберген поднял руку на Козбагара, он, значит, поднял руку на бласты! Пиши!

Тут многие забеспокоились, стали перешептываться.

— Пиши! Нет закуна, чтобы батрака били! Времена Мекалая[1], когда такой закун был, прошли, и не вернутся больше!

Люди расшумелись, разгалделись, как пчелиный рой.

— Пиши! Пусть Азбергена как бая за избиение батрака судят. Пусть туда его гонят, где на собаках ездят!

У Пахраддина глаза расширились от неожиданности, он поглядел на ахуна, сидящего рядом, который, захватив бороду в горсть, кажется, подремывал. Но нет — почувствовал, видно, святой человек пахраддиновский взгляд, молящий о помощи. Поднял голову. Расчесал пальцами бороду.

— Шарип, одумайся! — проговорил он жестко.

Но Шарип был на коне, не мог он прислушаться ни к чьим мольбам, даже к ахуновским; он и в лице-то потемнел от решимости, ровно пожар где тушил. Застыл на месте непоколебимо, как столб, врытый в землю. Жайбаскан, его жену, задела несговорчивость мужа:

— Зачем туда, где на собаках ездят? Других мест, что ли, нету?

---

[1] Мекалай — искаж. от «Николай».

— Конечно! Тащи печать, Шеге! — вскричал Шарип, зверея. — Пусть, — говорит, — топает головорез! Нашел с кем связываться!

Собаки, доконали Азбергена. Он поднял голову, оглядел всех, будто спрашивал: «Взаправду ли вы это, люди, или так... припугнуть хотите?»

Торка не преминула вставить:

— Пусть на псах поездит, туда ему и дорога, богом проклятому!

Круглая, со ступню верблюжонка печать — в руке Шарипа. Послышались испуганные женские возгласы. Пахраддин, качнувшись грузным телом, подал голос:

— Подумать надо сначала, а?

Глух Шарип. «Пртокол» перед собой разложил, печать ко рту поднес, начал на нее дуть. Затаился народ, со страхом наблюдает за ним. А Шарип не смотрит ни на кого, руку назад отвел и — с размаху — печать в бумагу и всадил! Люди вздрогнули, а некоторые женщины, не выдержав, вскрикнули:

— Ай!..

— О, бог-создатель!

Протягивая милиционеру бумагу с печатью, Шарип сказал:

— На, держи! Отдашь Дуке!

Дука, аулчане знали, — Дукенбай Исмаилов, председатель волостного совета. Милиционер Бухарбай неторопливо свернул документ и так же неторопливо сунул в нагрудный карман, а карман застегнул на пуговицу. Набычившись, посмотрел на Азбергена, приказал по-русски:

— Марш! — а по-казахски добавил: — Ступай!

Азберген неуклюже поднялся. Его мясистое лицо стало багровым. Направляясь к выходу, бросил взгляд на Пахраддина. Старший брат сидел вперив глаза в землю.

Народ хлынул наружу, чтобы проводить «арыстыбай» Азбергена — так в местном произношении звучало русское «арестованный».

— Эй, люди! Куда вы? Не расходитесь. А долг хозяина? А угощение? — разверещался Шарип. — Эй, Шеге, вставай! Разделай поскорее ягненочка!

— Сыты по горло, ровесничек, куда уж больше! — выдавил из себя Пахраддин, не скрывая обиды. Он тяжело поднимался с места, собираясь уходить.

— А ты на меня не серчай, сам говоришь — ровесники мы. Стало быть, понимать меня должен. Государственное дело — одно, а наши с тобой отношения — другое. Разве не так, ахун-ага? Пригласишь — не придете ведь, именитые больно, а раз под крышей моего дома оказались, так не брезгуйте, отведайте положенное!..

Шарип просил искренне. Пахраддин и Лабак-ахун переглянулись. Их взгляды говорили — надо принимать приглашение, ведь Шарип и в самом деле хозяин положения.

Был полдень. И стар и млад глядели на единственный в округе пыльный большак на востоке, взбиравшийся на перевал. По нему конник подгонял пешего. Подгонял безжалостно. Пыль высоко вздымалась из-под ног. Пешим был «арыстыбай» Азберген.

Солнце обложили тучи. И ветер, подувший с севера, набрал силу. Взяв в одну руку кумган для омовения, а другой захватив край чапана, степенно удалялись к зарослям полыни дородный Пахраддин и длинный и сухой, как шест, Лабак-ахун. Оба невеселы.

Пахраддин, прокашлявшись, спросил:

— Как вы думаете, ахун-ага, чем это закончится?

— Аллах знает, он всему очевидец... уж больно скоро времена меняются, брат мой. Если кто не напакостит вдогонку, если злоумыслия не будет — допросят-допросят, да и отпустят его.

— Ой ли? Как в воду вы глядели. Баев будут унижать, а рабов, напротив, возвышать... Сейчас несчастного в волостную управу доставят, а попал туда, считай, тюрьма...

— Время! Время! Холодным от тебя веет, времечко, — чуть ли не со стоном выдохнул Лабак-ахун. Пахраддин опять прокашлялся, прочищая горло.

— И Верещага, чувствуется, знает обо всем доподлинно и потому делает как надо. Знает — время нынче такое, что из мухи слона раздуть можно, вот и пользуется. Что делать, ахун-ага? Азберген — пес порядочный, но брат он мне, родная кровиночка, опора моя. Время, сами видите,

такое, миром можно было решить скандал, не вынося сор из аула... С детской игры, как говорится, пожар...

— С детской игры... Н-да... с детской игры. Бог свидетель...

Лабак-ахун, поставив кумган на землю, долго расчесывал руками длинную серебристую бороду.

— Бог свидетель, девочка — невеста, а парень — жених, а? — сказал он потом.

— Так-то оно так, — отозвался Пахраддин, вздохнув. Он выглядел подавленным.

— Гм-м, — промычал ахун и задумчиво поглядел на посеревшее небо.

Когда они вернулись в юрту, белый, как лебедь, Лабак-ахун, прошествовав на торь, обратился к хозяину:

— Уай, Шарип!

— Вечно к вашим услугам! — с готовностью откликнулся Шарип.

— Преклони колени! Торка-келин[1], и ты присядь! Уап, и ты послушай! Бог свидетель, всем известен скандал, случившийся в ауле. Чем он закончился, тоже знаете, своими глазами видели. Бог свидетель, между людьми одного аула произошла ссора. Вчера эти дела решались старейшинами, не оглашались. Ни в прежние, ни в нынешние времена не было в аулах случая, чтобы мы своего человека на осуждение злу отдавали. Другой стал аул, оскудел аул. О люди! Не могут родичи не пожалеть друг друга, если даже один из них в кровавой рубахе. Шарип! Пахраддин! Слушайте, Торка-келин, Уап-браток! Предназначение всякой тяжбы — соглашение, предназначение всякой дороги — отдохновение, предназначение всякой девушки — к своему гнездышку устремление. Если вы прислушиваетесь ко мне как к старшему, хочу я к согласию вас привесть, хочу породнить. У Торки-келин сын подрос, у тебя, Пахраддин, дочь расцвела. Посватайтесь! Верните человека! Если вы согласны, благословим их союз! — и Лабак-ахун первым совершил ритуальный жест — молитвенно раскинул ладони.

---

[1] Келин — невестка; обращение к младшей по возрасту замужней женщине.

Исход оказался неожиданным для обеих сторон — как, гром на голову. Все молчали. Пахраддин, качнувшись грузным телом, уставился в землю, не проронив ни слова. Шарип, прочищая запершившее вдруг горло, закашлялся, поглядел растерянно на Пахраддина, на ахуна, заерзал на месте, как будто под ним вода проступила. Старая Торка, вскинувшаяся было в самом начале разговора, теперь тоже умолкла, даже не дышала — выжидала, видно, чем закончится сделка. У Уапа вытянулось лицо, задвигались уголки рта. Шеге, который у порога обрабатывал шкуру прирезанного ягненка, посыпая на нее соль, посерел, услышав сказанное, метнул в сидящих настороженный взгляд.

Шарип в конце концов нашелся. Его круглые совиные глаза залучились искорками, он деланно рассмеялся, воскликнул:

— Уай, святой отец! Прекрасное решение! Какой тут разговор?! Уай, да быть мне жертвой в пользу благого дела, что значит мудрый человек! Вот так совет! Торка! Ты не ослепла еще от такой радости? Счастливчик твой сопляк! Давай благословение, чего ты?! — и возбужденно раскинул руки.

Торка, фыркнув, подтолкнула в бок своего старика и быстро раскрыла ладони. Пахраддин с ответом медлил.

Старый ахун повернулся к нему:

— Ну, браток Пахраддин, благословляй! Освящу ваш союз! — и, вскинув серповидный нос, глядя куда-то вдаль поверх голов, выбросил вперед сухую костистую руку. Пахраддин, тяжело качнувшись, исполнил желание ахуна. Последним исполнил. Шеге выбежал за порог.

— Уай, дикарь! — бросил ему вслед Шарип.

Прочувствованным голосом Лабак-ахун стал читать торжественные слова освящения:

— Агуз-зи бил-лахи...

Народ в юрте почтительно притих.

7

Весть о том, что Пахраддин отдает дочь за Козбагара и тем спасает Азбергена, мигом облетела аул. Перед большой белой юртой Хансулу подбрасывала дровишек в топку желтого никелированного самовара, когда от пробегающих

мимо ребятишек услышала о новости в доме Шарипа. Путаясь в длинном подоле платья, вбежала в дом:

— Апа![1]

Мать взбивала кумыс в сабе — кожаном бурдюке. О происшедшем узнала из выкриков тех же мальчишек да так и застыла на месте, побледнев, с мешалкой в руке. Обняла прибежавшую со двора дочь:

— О создатель, не посоветовался... Что с ним? Пойдем, пойдем, доченька, к твоему сумасшедшему отцу!

— Не пойду! — отрезала Хансулу. Глаза ее зло полыхнули.

Мать поняла, что уговаривать дочь бесполезно.

— Хорошо, сама пойду, — сказала она.

Поправила на голове жаулык — и пошла. Неторопливо. Мягко ступая. Как всегда. Такая уж мать у Хансулу — мир кругом гореть-полыхать будет, а она себе не изменит: такой же степенной останется...

Хансулу знала, что если уж отец что решит, так то наверняка и будет. Будто небо на нее обрушилось, будто все вокруг — сгорело.

Камча висела за кереге — деревянными решетчатыми переплетениями юрты; выхватив ее, Хансулу побежала к Каракеру и, уже садясь, ухватилась за мысль, которая пришла вдруг: повернула коня к дому Козбагара.

Козбагар, не оправившийся еще от побоев Азбергена, был в постели. Синяки не сошли ни с тела, ни с лица. Только что его навестил Шеге, страху нагнал, дурень. Ни за что ни про что за шею его да с постели! Зачем, говорит, тебе, собачий сын, Хансулу — и давай душить, А сам... чуть не плачет. Испугался Козбагар, ой, Шеге, говорит, ты чего? А тот — ну прямо свихнулся— швырнул его снова на постель и был таков. Уж так топал, когда бежал, что можно было подумать, Азраил, ангел смерти, за ним гонится... Пока Козбагар, потрясенный, приходил в себя, с криками мимо дома пробежала ребятня. Понял Козбагар, почему Шеге сходит с ума. А что ему оставалось? Немыслимо! Хансулу — жена Козбагара?! Чудно! И тут с треском распахнулась дверь, и вошла... Хансулу! И впрямь, как у офицера русского, выправка у нее! В смородиновых глазах — блеск. О, как она прекрасна! Камчу в ее руке он заметил потом.

---

[1] Апа — обращение к матери.

Юркнул под одеяло. С макушкой. Но девушка сорвала с него одеяло.

— Это ты-то меня берешь? — спросила она.

— Не я, ойбай, не я! — завопил Козбагар, не сводя глаз с занесенной над ним камчи. Но Хансулу полоснула хлестко по правому боку. — Ойбай-ай-й-й!..

Неприступная, несгибаемая, вышла девушка, громко хлопнув за собой дверью. А за домом Шарипа в это время встретились Пахраддин и его байбише.

— Что же это ты, мой сокол? — спросила она, не называя по степному этикету мужа по имени. — Что с тобой? Ты думаешь, что делаешь?

Ветер шевелил тронутые сединой усы, бороду Пахраддина, на красивом мужественном лице яснее проступали морщины, осунулся он. Долго молчал, нахмурившись.

— Пойми... — сказал он тихо жене. — Сегодня на мир с раскрытыми глазами глядеть надо. Нынче батрак грошовый заткнет за пояс бая и мырзу. Это надо видеть, надо чувствовать... Вот я и подумал— у твоей дочери должно быть будущее... Это надо понять, байбише...

Эхо этого события, случившегося поздней осенью 1927 года у Таскудыка, отдалось по всем аулам в Ушоймауте и Донызтау по южную сторону реки Жем. Не богатством славился Пахраддин, люди ценили его как бия за ум, красноречие, и весть о том, что такой почитаемый в народе человек по своей воле отдает единственную дочь за батрака, обивающего его порог, показалась несколько странной и неожиданной.

КОЧЕВЬЕ НА УСТЮРТЕ

1

Всю ночь сыплет снег. Люди в ауле, намеревавшиеся отправиться к теплому зимовью в далеком отсюда Саме через неделю, а может, и через две, встревожились. Рано пошедший снег осложнил откочевку.

Хансулу не может уснуть. Собравшись в комочек на теплой постели, зовет к себе сон, но — тщетно; от мыслей, преследующих ее, ворочается и ворочается с боку на бок.

Будто одна она на всем свете — лицом к лицу с непогодой и ночью. Беснуется снаружи буран, пляшет вокруг юрты, царапает стены, норовит сунуться внутрь. Она ощущает его ледяное дыхание. Содрогается даже под теплым одеялом. Чиевый занавес перед юртой стонет, присоединяя свой голос к ветру. Заунывный это голос, он наводит тоску, звучит беспрестанно. Кажется, что он, этот воющий звук, никогда не оборвется. Кажется, что и ночь, окутавшая вселенную, тоже не рассеется никогда.

Только перед рассветом и уснула утомленная Хансулу.

Проснулась от тепла очага, жарко полыхавшего в самом центре юрты. Через откинутый тундик[1] виднелось светлеющее небо. Мать с женщинами, помогавшими ей, увязывала в тюки постель, одежду, ковры и другую домашнюю утварь.

— Сулутай, вставай! Аул откочевывает, — сказала она.

Сами женщины уже одеты, туго-туго подпоясаны кушаками. Хансулу вышла из юрты и зажмурилась— даль ослепительно бела. Вокруг, насколько хватает глаз, снег. Перед столовой юртой — мужчины, среди них ее отец Пахраддин, дядя Азберген, Булыш, Верещага Шарип, свежуют только что заколотую ими жирную кобылицу. От туши идет пар.

— Ойхой, жирна-а лошадка! Жир-то в пять пальцев, с ладонь! Ох-хо-хой! — верещит Шарип.

Азберген с засученными рукавами разделывает мясо топором и частями кидает его на подставляемые подносы.

— Берите! — приговаривает Пахраддин звонким на утреннем воздухе голосом. — Берите! Угощайтесь на здоровье! Пусть наша дорога будет удачной!

В столовой юрте на треноге — огромный казан. Под ним — буйно пылающий огонь. Всю оставшуюся конину отец велел заложить в этот казан. А до тех пор, пока будет вариться мясо, мужчины разберут юрты. Вещи укладываются в тюки, тюки перетягиваются канатами — все для того, чтобы сподручнее было погружать домашний скарб на верблюдов.

---

[1] Тундик — квадратная кошма. Покрывающая верхний, сквозной круг юрты.

Булыш и Козбагар связывают в кучу оставшееся в сараях топливо: жерди, обрезки досок и бревен, сами бревна. Возле них толпятся любопытные.

— Аркан тащите! — велит Пахраддин.

Арканы принесли, толстые, витые из конопли.

— Нара давай, Булыш!

Связанные древесные обрезки и бревна образовали кучу внушительных размеров, напоминающую гигантский сундук.

— Обвяжите!

Булыш привел размеренно вышагивающего Шойынкару. Огромный черный нар, шумно дыша, свысока оглядел людей. Под волосатыми веками верблюда поблескивают серые глаза. Булыш направил его к куче, заставил опуститься на колени. Верблюд повиновался, заскрипел зубами. На спину животному положили седелку, двое джигитов с двух сторон подтянули подпруги. Два конца арканов с кучи крепко-накрепко привязали к двум сторонам седелки.

— Ну-ка, подыми его теперь! Чу, животина!

Шойынкара, раскорячившись, встал. Булыш взял его за повод. Снег верблюду по колено. Разве что крупной скотине — верблюдам да лошадям — под силу переход по глубокому, не слежавшемуся еще снегу, а овцы и козы, к примеру, не сделают по нему и шага.

— Гони-ка! Поглядим!

Шойынкара сорвал кучу с места. Она поплыла, вспахивая пушистый снег. Позади открылся путь шириной в размах вытянутых в стороны рук. Шарип, не сдержавшись, заклекотал по обыкновению:

— Ойхой! Умереть за тебя не жаль, животина!

— Вот так и будем откочевывать с милостью аллаха! — заключил Пахраддин, довольный, и подкрутил кончик уса.

Люди, с рассвета готовившиеся к откочевке, успели и упаковаться, и верблюдов перед дальней дорогой размять. Не разобранной оставалась лишь столовая юрта Пахраддина. Аулчане собрались в ней. Принесли первое блюдо с мясом, поставили в центр. Жирное мясо яловой кобылицы исходит паром. До самого Масаты — а до него день пути, да и то, если двинуться засветло, — остановок не предвидится. Люди об этом знают, и потому от гор мяса на нескольких

блюдах, водруженных на дастархан вслед за первым, вскоре не осталось ни кусочка. Вкусное мясо запили чашкой горячего наваристого бульона. Джигиты — а от сытости у них на лбу капельки пота проступили, на щеках румянец, — покинули гостеприимную юрту. Теперь им нипочем и студеный ветер, и крепкий мороз. Веселые, захватывали они пригоршнями снег и растирали им руки.

Плотный завтрак прибавил сил, люди взялись за верблюдов, подгоняя их, ревущих, к поклаже — надо поскорее загружать увязанный в тюки домашний скарб, разбросанные на части юрты: уыки, кереге, кошмы. Вот где испытываются женская сноровка и мужская сила! Кто не сумеет быстро и аккуратно навьючить животных, тот осрамится. У нерасторопных поклажа до первого привала расползается.

Тонкий визгливый голос Шарипа пробивает общий шум. Паникует бедняга. Больше крику, чем дела. С утра Шарип кидается на Шеге. Правая рука отца, всегда такой безотказный, исполнительный, сын сегодня и пальцем не пошевелил — более того, и не намерен был, как видно, что-либо делать. Охрип Шарип, дозываясь его. Невезучий он на детей: все недотепы. Вон девчонки, большие уже. И что же? В золе копаются на месте старого очага. Старшей четырнадцать, а туда же. Что поделаешь, ребенок все же.

— Эй, Балжан! Наржан! Калжай! Айжан! Гульжан! Уай, черт бы побрал ваши «жан»[1]. Что там застряли, когда народ, понимаешь, колготится... у, твердолобые!

Молодой верблюд, такой же крикун, как он сам, опустившийся было на колени, взял да и вскочил на ноги, заслышав вопль.

— Уай, чтоб тебе околеть! На колени! На колени, говорю! — напустился теперь на верблюда Шарип. Бедное животное закружилось на месте, а вместе с ним забегал, пытаясь ухватить его за узду, Шарип.

— О-о, сатана! О, искуситель, дьявола-соблазнителя порождение! Ты кого это искушаешь?

Кое-как удалось Шарипу до головы верблюда добраться, заставил он его опуститься на колени. Ну скотина чертова,

---

[1] Здесь: игра слов.

уши бы ей ободрать, сколько с ней хлопот-то! Раньше у Шарипа верблюдица была, смирная, покорная, хоть кол на голове теши. В прошлом году околела от старости, так он этого, молодого, у бая Мажана взял. Строптивым, черт, оказался, такой, видать, уродился, подобие сатанинское.

— Шеге, где ты, ойбай! Вяжи заднюю ногу!

Сам он успел привязать лишь переднюю. А Шеге, как назло, и веревки не найдет.

— Ойбай-ай, да скорей же!

Этого было достаточно, чтобы верблюд опять вскочил.

— Уай, собачье отродье! Шеге, где ты?! Кабан... свинья!

Вскипела кровь в Шарипе, давай верблюда поводом промеж глаз лупить.

— Эй! — не вытерпела жена Жайбаскан. — Закроешь ты сегодня свой рот или не закроешь?! Постеснялся бы, аулнай!

— Ну, съешь меня! Ну, изничтожь! — напустился на нее Шарип. — Ты его вразуми сначала, — он кивнул на верблюда, — если умная такая! Ему начхать, что я аулнай! Ойхой! Баба еще вразумлять будет...

Девчонки Шарипа, возившиеся на месте старого очага, рассыпали звонкий переливчатый смех.

Пока подоспел сильный Булыш и помог справиться с диким животным, пока Шарип нагружал барахло на двух верблюдов и лошадь, аул, вытянувшись цепочкой, ждал их на дороге.

— Ой, свинячье отродье! — ворчал Шарип.

Время полуденное. День пасмурный. Тусклое сероватое небо сливается с равнодушной, покрытой снегом степью. Посередине белого безмолвия — пестрое, застывшее на месте в своих извивах кочевье. Не может оно двинуться. Не может, потому что Шойынкара, который с дровяной кучей должен был идти впереди, не стал слушаться повода. Булыш, злой, даже камчой его стеганул, но тот лишь головой помотал.

— Не бей! — заступился за верблюда Пахраддин, подъезжая на коне.

— Презрели, их высочество нас... — проговорил Булыш в характерной для него манере изъясняться вычурно, когда ему было не по себе.

Шойынкара, который должен торить путь, не перестал упрямиться. Иногда делал шаг-другой вперед, а затем, скрежеща зубами, оборачивался назад и — застывал на месте. Люди растерялись. Старики на верблюдах— их головы рядом с горбами темнеют — и дети поносят почем зря Шойынкару. И без того их нынешняя ранняя зима напугала: трава на выгоне, которой еще мог бы питаться скот, осталась под снегом; если не уйти поскорее в теплые пески, пропадут животные.

— Ах ты, напасть! — послышался голос Пахраддина. Веселый голос. — Понял я, что хрычу-то моему надо! — Пахраддин смеется, аж плечи трясутся. — Уай, джигиты! Табун вперед, выводите! Вон тот... все дело в нем...

Джигиты быстро вывели вперед табунок, который был в хвосте кочевья. Шойынкара, обросший шерстью так, что она свисала и с морды, тотчас ощетинился, пристально, в упор разглядывая замелькавших перед глазами тонконогих верблюдиц одногорбых и двугорбых, молодых и не совсем молодых. Это и было его стадо, над которым все лето он был единоличным хозяином. Ноздри уловили мягкий, знакомый запах аруаны[1]. В одном из потаенных закоулков верблюжьей души поднялся зов, могучий, неподвластный. Заскрежетал Шойынкара зубами. Из глаз, злых, зорких, как у беркута, посыпались искорки, захлестал себя хвостом по мощному бедру. Тотчас рванулся он вслед за табуном. Дровяную гору, которая по размерам не уступала, пожалуй, ему самому, волок с места без особого напряжения. Пушистый снег разверзся и стал укладываться волнами по обе стороны торной дороги. Кочевью открылся столбовой путь.

Расшумелись, разгалделись люди, смеяться стали, посыпались шутки:

— Разрази тебя гром, Шойынкара! Ну и хоро-ош!

— Вы только подумайте, каков пес!

— Постыдился бы на старости-то, а?

Последнюю реплику бросила женщина и провела пальцем по щеке, выражая тем свое возмущение.

Кочевье, выровнявшись, двинулось по следу Шойынкары. За кочевьем косяками пошли лошади, отарами шумно

---

[1] Аруана — одногорбая верблюдица.

блеющие овцы, ведомые лунорогими козлами с колокольчиками на шеях. Так начал свой полумесячный переход к дальним благодатным, щедрым на тепло и саксаул пескам в Великом Саме аул, за которым шумно подтягивалась на ходу вся его многочисленная живность.

2

Группа всадников с притороченными к лукам седел мотыгами, лопатами, кетменями еще в полдень ушла вперед, оставив далеко позади караван. Наступило послеобеденное время. Конники торопились, запалили лошадей. Куцый гнедой Шеге едва успевал за всадниками, да Шеге не очень-то его и подгонял — не до веселья ему, хотя охочие до пересудов спутники закатываются от смеха. Не то у него настроение. Хмур Шеге. И голоса не подает.

...Пятнадцать джигитов отобрал Пахраддин вместе с Бувашем и Азбергеном и отправил их вперед, чтобы они приготовили аулу место для привала: расчистили снег, чтобы было где крышу возвести и скот разместить. Пока Пахраддин отдавал распоряжения, из кочевья Мажана прискакал запыхавшийся Ждахай. Сразу — к Шеге.

— Это правда, парень? — спросил он напрямик и подбородком показал на Козбагара.

— Правда, — ответил Шеге и отвернулся. Он не хотел говорить на эту тему.

— Вот так убил! — Ждахай сочувственно посмотрел на товарища.

А тот, поддав коню в бока, ускакал прочь.

Ждахай прокричал вслед:

— Беги с ней, слышишь, отца ее в душу... помогу-у!

«Беги с ней...» Легко сказать. Та ли это девушка?!

Среди рысящих всадников и Козбагар. Под ним — пахраддиновский рыжий скакун. Вчера был ему прислужник, сегодня — зять. Человек! Свадьбы, правда, не было, но будет она, будет!..

Пронизывающий студеный ветер путается в конских ногах, сбивает с хода. Тех, кто отстает, он еще пуще треплет, умудряется даже за пазуху пролезть. У Шеге начали мерзнуть руки и ноги. Злой на гнедого, подстегивает его

камчой. Но конь, взмахнув хвостом, лишь на короткое время пускается галопом, а потом опять сбивается на свою обычную собачью трусцу.

Назначенного места джигиты достигли до заката. Южная, защищенная от ветра сторона круглого, заметного посреди равнинной местности холма испокон веку служила надежной стоянкой для кочующих аулов. Джигиты не мешкая принялись за дело. Самая тяжелая работа — расчищать место для юрт и для крупной скотины. За нее взялись физически крепкие, опытные джигиты, подобные Булышу и Азбергену, а Шеге, Козбагар и другие, что помоложе, стали разгребать снег для овец. До самого заката звенели ломы, посверкивали на солнце лопаты. А как солнце зашло, на северном горизонте показалось позванивающее колокольцами кочевье. Впереди — Шойынкара, его черная холка видна и на расстоянии.

Скованная холодом глушь разом ожила. В самом центре расчищенного пространства, исходя паром, возвышался Шойынкара. Джигиты спешно освобождали его от арканов. Широко расставив ноги, он шумно дышал, с высоты своего роста обозревая округу, с груди и паха животного клочьями свисала пена, по длинным волосам на шее и на ногах стекал пот.

Пахраддин, не сходя с вороного с белой отметиной во лбу жеребца, отдал распоряжение:

— Кошмой его накройте, кошмой! Не давайте стоять! Прогуливайте, прогуливайте!

Люди, стараясь с толком использовать последний солнечный свет, спешно возвели шалаши на освобожденных от снега участках. Скотину привязали, подоили. Разожгли захваченный в дорогу кизяк — он запылал в очагах; над огнем повесили казаны. В шалашах из стенок юрт, не сетуя на тесноту, поужинали. Шарип, повеселевший после чая, умудрился даже растянуться на спине и посадить себе на грудь маленькую Гульжан, от удовольствия он и мурлыкнул что-то. А потом его взгляд упал на Шеге, ко всему безразличного, и он поднял голову. Жидкие рыжие усы встопорщились.

— Эй! — окликнул он сына. — Эй, бородатый пес! Глянька сюда! Я тебе говорю!

Пять дочерей Шарипа рассыпались звонким переливчатым смехом. Шеге повернулся к отцу. Молчит. В небольших острых глазах — неприязнь.

— Ты, собачий сын! Чего это как в воду опущенный ходишь? Что случилось? Говори!

— Ничего не случилось, — отделался Шеге.

— Ой, болван! Нас, что ли, обмануть хочешь? Говори! Послушаем.

— Лежал бы уж! Дался тебе мальчишка, что пристал? — вмешалась Жайбаскан. Она возилась с казаном у очага.

— Пристал — стало быть, надо! Люди-то что? Джигит Шеге, говорят. Так вот, послушаем джигита, пусть выскажется. Почему он такой смурной?

С ответом нашлась маленькая Гульжан.

— Плохой ты! — заявила она, тыча указательным пальчиком в отца. — Зачем Хансулу Козбагару отдаешь? Шеге-ага Хансулу любит... Понял?

— Заткнись! — рявкнул на сестренку Шеге.

Гульжан крохотной ладошкой послушно прикрыла рот. Жайбаскан от неожиданности выронила скребок. Балжан, разливавшая чай, испуганно, замерла. Совиные глаза Шарипа стали и вовсе круглые. Теребя жидкую бородку, посмотрел на жену и закивал головой, как будто говорил: «Видала?..»

Некоторое время спустя, повернувшись к Шеге, сказал:

— Вот те на-а! Узнали, значит, отчего ты смурной, — и снова закивал-закивал.

— Что ты узнал? Что ты узнал? — взвился Шеге, вскакивая с места. — Ничего не узнал? Сводничаешь, преступление против закуна делаешь, вот что!

— Ой, собачье отродье, свиньей вскормленное? Ты сядь, ты не ори! — рассердился, Шарип. Но он не такой грозный, как обычно. Весть, видать, для него неожиданная.

Шеге посмотрел ему в глаза. А ведь он и впрямь джигит, подумалось Шарипу...

— Сядь? — тихо попросил он.

— Не сяду! Уйду! Не нужна мне т... — и, захлебнувшись словами, Шеге ринулся было к двери, да мать преградила дорогу:

— Сядь! Раскипятился. Отца впервой видишь?!

— Закун, говорит, нарушаешь. Ну, изничтожь! Ну, убей! Ой пе-ес! Тогда что — ты поболее меня закуны знаешь, а? Ой-хой, срамное время, сын отца вразумляет, ой-хой, — Шарип, зажмурившись, закачал годовой.

Поднялся ветер. Послышались возбужденные мужские голоса. В ту ночь люди не спали. С подветренной стороны привала, где были овцы, пришлось наспех сооружать чиевые стены, а верблюдов ограждать снеговыми заборами — от ветра. А как забрезжил рассвет, из всех шалашей разом, как по команде, повалил дым, люди наскоро позавтракали. Невзирая на предутренний свежий морозец, управились с поклажей. Тут и солнце показалось, холодное, равнодушное.

Поскрипывая схваченным морозцем снегом, движется кочевье. Тяжело навьюченным могучим нарам всякие зимние неприятности вроде стужи и свистящего ветра нипочем. Они ступают размашисто. В кошемной загороди на их спинах белеют жаулыки старых матерей, что тихо покачиваются из стороны в сторону под ритмичный верблюжий шаг. А там, где на резвых конях гарцуют тепло одетые джигиты и молодые женщины, — шутки и пересмешки, весёлый гвалт.

Впереди кочевья рысит верблюжий табун. За ним громадный Шойынкара волоком тащит по снежному простору не менее громадную деревянную кучу. Снег слежался, по плотности не уступает, пожалуй, и насту, и все же Шойынкара вспарывает его, как и прежде, легко прокладывая путь кочевью; отваливающиеся в обе стороны снежные глыбы — как ледяные на реке в ледоход. Серебристая снежная пыль, взметываясь из-под ног, облепляет ему брюхо. Джигиты по пути находят под снегом баялыш и полынь, срезают траву и скармливают ее на ходу нару. Голодный, он охотно все уплетает.

Еще через три ночевки, на четвертый день, кочевье через Кольтабан взошло на Устюрт. Слабые овцы и козы, подохшие с голоду, остались на дороге. Двигаясь безостановочно по гладкой равнине плато, кочевье через неделю спустилось к водяному озеру Оким-Киык, а к концу следующей достигло песков Сама. Снег в песках лежал тонким слоем, трава в изобилии. Скотина, оголодавшая за

дительный переход, с волчьей жадностью накинулась на все, что темнело на снегу, даже на голые сухие кустарники. Аул вклинился в густую саксаульную чащу, люди обосновались на теплом кыстау-зимовье, на привычном становище, куда они возвращались каждую зиму.

3

Для Хансулу начались безрадостные серые дни зимы. Изнеженная родительскими ласками девушка, за всю свою жизнь не слышавшая ни окрика, ни грубого слова, стойко, без жалоб и сетований, переносила выпавшее на ее долю испытание. Отцу она слова не проронила, зачем, мол, вот так, за нелюбимого отдаешь, но и обращаться к нему, как прежде, с нежным «коке» перестала. Пахраддина, правда, в ту пору ее состояние не очень-то и занимало — не до нее. Как вечер, сходились они с Азбергеном и спорили, спорили... Афганистан и Иран часто поминали...

И сегодня зимний вечер опустился рано. Не зажгли еще лампу в доме. Полумрак. На железной треноге в самом центре юрты булькает казан. Аромат варящегося мяса заполнил помещение. Жарко вспыхивают под казаном горящие угольки. Не отрывая глаз от огня, Хансулу негромко перебирает струны домбры; она — единственная сострадалица больной девичьей души; стонет, вздыхает домбра.

Сырга-байбише дала наконец покой швейной машинке, тихо поднялась, зажгла лампу, висевшую над порогом. Ладная, незлобивая нравом, она бесшумно, как тень, передвигается по юрте. Не хочется ей беспокоить дочь. Но — и домбра умолкла вскоре.

Тишина в юрте. Тяжелая тишина. Она как будто и аул придавила. Не вернулась еще скотина с пастбища. Потому и ауле тихо. Чей-то крик. Сырга-байбише вздрогнула, Хансулу выскочила за дверь.

В самом центре аула, с подветренной стороны большой снежной горы, пылает костер; тающий снег собирают в подготовленную посуду — так здесь добывают воду. Но не в костре дело — обычная для зимовья картина. Неподалеку от огня на стригуне бесновался Ждахай, он кружил вокруг аулная, который бежал в сторону выгона. Шарип и

кричал. Люди, что были у костра, метнулись за Шарипом. Хансулу — тоже. Сначала они увидели бегущую от зимовья Мажана женщину, ее преследовал, стегая камчой, бегущий по пятам мужчина в лисьем малахае. В бегущей признали Балкию, а в преследователе — Мажана. Так вот почему Шарип кричал!

У бедняжки Балкии волосы рассыпались по спине и плечам, полы полушубка разлетелись по ветру, руками она заслоняла голову от ударов. А Мажан машет камчой, машет...

Люди расшумелись:

— Он же убьет ее!

— Сдурел, что ли, старина?

— Нечего было молоденькую брать, коли так, ишь!

Лошадь Мажана сбила женщину с ног, упала она. К ней на выручку кинулся на своем стригунке Ждахай, за ним пешим — Булыш. Мажан и на Булыша замахнулся, который, добежав, помог Балкие подняться.

— Бросьте! Хватану-ули! — взревел почерневший Булыш и, вырвав из рук старика камчу, сломал пополам рукоять и отшвырнул прочь.

У Мажана от неожиданности встопорщился единственный волосок на черном родимом пятне на щеке. Напустился на жену:

— Иди жалуйся теперь своей власти! У-ух, околела бы ты, распутница!

Развернув светло-рыжего иноходца, погнал его обратно. Низина между двумя аулами запестрела от возвращавшейся с пастбища скотины. Пастухи и табунщики поспешили к месту происшествия. Балкию, едва переступающую ногами, всхлипывающую, вели под руки Булыш и Хансулу. Шарип не кричал, расчесывая руками козлиную бородку, стоял неподалеку и о чем-то сосредоточенно размышлял. Ждахай подоспел к нему на своем стригунке.

— Шарип-ага! — вскричал он. — Что же вы стоите? Покажите этому баю власть, если вы власть, отца его в душу!..

Шарип, все так же поглаживая козлиную бородку, стал размышлять вслух, чтобы все слышали:

— Ау, я власть... власть, это верно... но кто же, скажите, не бьет жену?! Надо подумать... Н-да. Если мы всех, кто на

жену камчой замахивается, наказывать будем, куда-то отсылать, ау, мужиков ведь в ауле не останется. Верно я говорю?..

Камча в двух местах оставила след на прекрасном, бледном лице Балкии. Опустив голову, она беззвучно плакала. Красавица Балкия представлялась Хансулу женщиной гордой, свободной, но вот сейчас она эту Балкию видит униженной, посрамленной. Ах, как же ей, наверное, тяжело!.. От жалости прослезилась и Хансулу.

Дом Булыша был уже близко, когда послышался ясный, сильный голос Дау-апы:

— Сынок, ты меня слышишь? Мне и своих-то несчастий хватает. А власть — так она вон, за тобой, — и показала на Шарипа, — она и решает споры. Вот туда ее и веди, слышишь?

Сухощавая черная старуха с палкой в руке стояла перед зимовкой Булыша, возвышаясь во весь рост. Оттого и звали ее Дау, что означает Большая.

— Апа-ау, — запротестовал Булыш, но старуха замахнулась на него палкой.

— Кончай прекословить! Делай что говорят!

— Булыш! — подала голос Балкия, собралась, видно, с духом. — Ни власти твоей, ни чего другого не надо. Найди лучше, на чем мне до аула добраться...

— Но ведь ночь... Балым! — взмолился черный, как уголь, Булыш, беспомощно озираясь по сторонам.

В эту минуту Хансулу пожалела Булыша. Покойная его жена была в дальнем родстве с Пахраддином, он ее сестрой называл, так что Хансулу обращалась к Булышу традиционно, как к зятю: «жезде». Подобное обращение несколько упрощало их отношения, жезде, как водится, снисходителен к просьбам, вот она и решилась:

— Пусть, — сказала, — Балкия к нам пойдет, у нас переночует.

Мгла сгустилась, стало темно, в ауле суета: хозяева овец в кошарах запирают, верблюдов на ночь к арканам привязывают — время позднее. Да и Пахраддина, как оказалось, дома не было — уехал на могилу святого Барака, память предка почтить да долг сыновний исполнить.

Булыш Балкию до самого жилища Пахраддина и довел, что-то шепнул ей у порога. Та молча кивнула. Не

услышала Хансулу, о чем они перемолвились. А потом Булыш и ушел. Стреножив коня, пустил пастись за аулом и затем переступил порог собственной юрты. В дыму тускло коптит над порогам керосинка. Дым свет забивает, и без того слабый. Рослая мать, склонившись к очагу, дует на угольки, жаулык неясно белеет на голове. Но не горит саксаул. Чадит. Дым ест глаза.

— Пропади все пропадом — бросила она, заметив сына. — Взяла у Сырги, дай ей бог здоровья, угольков, а они, вишь, подзатухли, пока мы с этой... с токал... канителились.

— Отойди-ка! — попросил Булыш и, пригнувшись к очагу, подул на угольки.

Легкие у Булыша посильнее кузнечных мехов. Очаг озарился пламенем.

— Ай, апа, огня развести не можешь, а невестку которая сама к нам шла, с порога развернула, а? — пошутил Булыш.

— Не надо, брось! — не приняла шутки мать. — Не неси вздора! Девчонку вон за тебя отдают, свеженькую как молозиво, что тебе чья-то баба?! Уймись!

— Ой, апа-а! — простонал Булыш, опускаясь на выделанную козлиную шкуру на полу.

— Дочку жаулыбаевскую приводи, слышишь? Цветок нераспустившийся. Ребенок еще!

— О-ой, апа, оставь!..

Чай они пили в молчании.

Не замедлив, из-за барханов и луна показалась. Задул, подвывая, северный ветер, закачал верхушки саксаула. Лохматые псы, стражи кочевников, бдительно подававшие голос, разбрелись по теплым, защищенным от ветра уголкам. Заснул аул.

Саксауловая чаща перед зимовьем густа, верблюда туда загони — не найдешь. У входа в этот девственный экзотический лес, в потайном укрытии между стволами деревьев схоронился Булыш. И вот приоткрылась дверь большой белой юрты в центре аула, и от нее отдалилась тень, заскользила в сторону чащи. У Булыша замерло дыхание. Маленький женский силуэт неспешно приближался. Поверх плеч на женщине — полушубок, на голове — белый шелковый полушалок с кистями. Балкия...

Булыш, вышел из-за укрытия. Балкия приближалась к нему по белой, снежной, освещенной луной полосе. Улыбалась. Знакомая ему улыбка — легкая, лучезарная. Он неловко обнял бросившуюся к нему на грудь женщину, приник жадно к тяжелому прохладному полушалку на ее голове, поцеловал в висок.

— Уйдем подальше!.. — прошептала она.

Кругом — саксаул. Надежнейшее укрытие для влюбленных. Под стволами густо скопившиеся тени. Множество маленьких полянок, на которые луна изливает свет. На одной из них крохотной, с ладошку, со всех сторон загороженной саксаулом, они и остановились.

— Ну-ка, покажи? — попросил Булыш, поворачивая к луне лицо женщины. Вгляделся в него.

Балкия зажмурилась, покорно подставила луне свое омытое слезами круглое личико. След от камчи шел наискосок через белый открытый лоб, захватывая левую часть лица, а второй, придясь на красивый, чуть коротковатый нос, тянулся к правому уголку маленького, с наперсток, рта.

— Хоть не до крови... Ничего... Пройдет, — Булыш страстно, нетерпеливо стал осыпать поцелуями глаза и лицо молодой женщины, особенно те места, которых коснулась камча.

Балкия, так и не открывая глаз, прильнула к нему, прижалась намертво.

— Супруг мой... — шептала она, и ее горячее дыхание опаляло ему лицо.

Их объятия встретились; слившись воедино, стояли они под луной. Морозец крепкий. Снег скрипучий под ногами. Но не ощущается холод влюбленными, для них зима как жаркое лето.

— Чем же он попрекнул, узнать можно? Зачем побил?

— Ой, не надо... не вспоминай про него! — взмолилась Балкия.

— Может, отпустит тебя старый черт?

— А тебе что? Женишься? Через порог провести не можешь...

Смешался Булыш, поверженный.

— Балым, — сказал он. — Не суди строго. Что бы ни было, молись, чтобы другие тебя не кинули... С тобой я...

— Не надо, чтобы вот так... со мной! — Балкия отбросила руку, обнимающую ее.

— Что прикажешь делать? Мать ты видела. Сказать что против — бога боюсь. Двух сыновей похоронила. Сиротство видела. Вдовство. Нет, наверное, никого, кто бы мучился больше. И кое-кого при этом в люди за макушку вытянула...

— Упрямая старуха, — Балкия смахнула слезы. — Я-то при чем?

— Самое верное в таких случаях... ну погляди на меня, Балкия... психанули мы и — успокоились. Понимаешь?

— Т-ты... ты успокоишься, а я... я на весь аул... — Балкия разрыдалась. Она упала бы, ноги подкосились, если бы сильные руки Булыша не подхватили вовремя. Держа ее на весу, снова стал целовать большие, полные слез прекрасные глаза.

— Булыш-ш мой! — выдохнула она в какой-то момент сквозь всхлипывания и, с безумным отчаянием повиснув у него на шее, опрокинулась навзничь. Оба повалились на снег. Как два пала, столкнувшись друг с другом при встречном движении, сошлись они, опаляя своим дыханием холодный мир...

Хансулу вздремнула. Проснулась, почувствовав холод в боку, и обнаружила, что Балкии, которая была рядом, нет. Пусто ее место. Разошелся сон, сердце в груди расстучалось. Вспомнилось, как Булыш обмолвился о чем-то с Балкией, уходя... Просторный мир в ее глазах разом сузился, стал с горсточку. Хансулу чтила Булыша как святого. Не раз длинные языки связывали воедино Балкию и ее жезде, много досужих вымыслов распространялось — никому ведь рта не закроешь. Хансулу после каждой такой сплетни несколько охладевала к жезде. Но проходило время и, видя потом Булыша, как ни, в чем не бывало отправляющегося на охоту в сопровождении неизменной гончей, она успокаивалась, забывая про услышанное, и опять откровенно любовалась его богатырским обликом. Такой уж Булыш. Им нельзя не залюбоваться. Он ей представлялся легендарным батыром Камбаром...

Дверь бесшумно приотворилась, и вошла Балкия. Шолпы звякнули в ее косах и смолкли, тихо ступая, прокра-

лась к постели. В темноте слышалось ее дыхание, она раздевалась. Хансулу осталась недвижна, притворяясь, что спит. Вместе с Балкией под теплое одеяло прополз холод. Запах снежной ночи, запах саксаульной коры, запах, наконец, Булыша уловила Хансулу, в дыхании женщины. Только коснулась Балкия подушки головой, как тут же уснула. Спала она глубоко, покойно...

Не успели утром в доме Булыша собрать дастархан, как объявился человек, кругленький и подвижный. Сладко с самого порога улыбнулся. Голос у гостя вкрадчивый. Курен это, от Мажана он пришел. Булыш, вскочив, руку, как положено, протянул — постарше гость. Курен, как положено гостю, на торь прошествовал.

Курен — дальний родственник Мажану. И еще — его правая рука. Понемногу в грамоте разумеет, понемногу город знает, свой взгляд на жизнь имеет, потому он баю — первый советчик. Торговые дела Мажана в городе опять же он ведет, Курен. Понятно, что и живет безбедно. Со всеми в обращении одинаков — и с друзьями, и с недругами; одинаково сладко всем улыбается, потому и прозвище у него — Лис Курен.

— Итак, женешетай, — начал гость, глянув на Дау-апу, — аулы наши, считай, рядом, а видимся раз в месяц, а то и в год. Как живете-благоденствуете? Как скотина? Как люди?

— Да слава богу, — бросила мать небрежно, взбалтывая поварешкой закипающее в казане молоко.

Она не явила особой расположенности к гостю, и тот, так же притворно улыбаясь, повернулся к Булышу:

— Ну, Булышжан, удачлив ли ты на охоте? Нынче, говорят, сайгаков в песках полно. Слышали мы, метко стреляешь, а то и так — с коня камчой бьешь.

Булыш не ахти какой собеседник, а с Куреном-то и уметь еще надо вести разговор. Каждое слово тот произносит медленно, как бы смакуя, как бы прощупывая им человека, а Булыша подобная манера разговора раздражает; теряется он, не находится с ответом. Вот и сейчас заерзал, явно не зная, куда свои огромные ручищи девать. Дау-апа почувствовала состояние сына, с ходу отрубила:

— Ты, Лис, не виляй, выкладывай, зачем пожаловал.

— О-ой, женеше, а ведь обидеться можно, а?.. Итак, по такому я к вам делу. Вчера моя капризная женге из дома Мажана изволила, говорят, в вашем ауле остановиться.

— И что, по-твоему? Мой дом — пристанище для сумасбродных баб, которые от мужей бегают, а?

— Ойбай, женеше, кончил. Кончил я...

Вчера в ауле Мажана был совет, на котором солидные мужи во главе с Лисом Куреном имели с баем крутой, обстоятельный разговор: зачем, дескать, на молоденькой женился — у тебя вон и дети постарше, — если чьих-то дурных наветов простить ей не можешь?! Старик расчувствовался, не хотел он расставаться с Балкией. Только из-за детей, ими подстрекаемый, прогнал он красивую токал со двора, но сам-то переживал случившееся мучительно. Сказать, верните токал, он не мог, самолюбие не позволяло. Потому-то он, в общем, обрадовался, когда Лис Курен предложил ему свои услуги, беру, мол, на себя возвращение красавицы. Токал-то нравом крутовата, вот и подумал старик: если что и разжалобит ее, так только сладкая речь Курена...

Мажан как в воду глядел: где-то к полудню Лис Курен, ведя Балкию, уже спускался к его юрте с песчаного кургана между двумя аулами.

4

Родители Хансулу вплотную занялись приготовлениями к свадьбе: мать была поглощена приданым, день-деньской строчила на машинке; отец во второй половине зимы намеревался поехать на базар в Бескалу — по полкосяка жеребцов и верблюдов сбывал он там, чтобы на вырученные деньги приобрести у каракалпаков все необходимое для свадьбы, в том числе и юрту-отау для молодых.

...Зимнее утро выдалось трескучее. Пахраддину сегодня в дорогу. С ним едут крепкие джигиты аула — Азберген и Булыш. Хансулу, тепло одетая, крутится возле матери, помогая ей заталкивать в коржуны дорожную провизию. Крик раздался неожиданно — с тыльной стороны аула. Пронзительный, леденящий душу крик.

— Что это?

— О алла?

Пахраддин и его джигиты выскочили из юрты.

— Ойбай! Умира-аю! — ревел кто-то не хуже горного барана. Голос доносился с выгона.

В следующее мгновение из юрт высыпали все, кто был на ногах. Шарип и одеться не успел, в подштанниках выскочил.

— Ой, это Козбагар!

— Точно! Его голос! Ойбай, да кто же это за ним? Братцы, да верблюд никак! Шойынкара!

— Шойынкара?! — взвизгнул Шарип. — Ау, будь проклят, Шойынкара! Куруки, палки берите, что стоите? — Сам в дом обратно нырнул. Видно, одеться.

Торка с дубиной, вдвое большей ее самой, уже ковыляла к выгону.

— Убил ведь единственного! Убил, вражина! Уап, где ты, ойбай?! — верещала она на ходу.

— Умира-аю! — раздалось вновь, и на подъем, нахлестывая коня, выметнулся обезумевший Козбагар. Одежда разметалась по ветру. Головного убора нет. А следом, точно дьявол, — Шойынкара! Остановился на подъеме, ногами затопотал, вздымая вокруг себя снежную пыль. Головой туда-сюда мотает.

— Айт! Кайт!

Верблюд увидел группу воинственно настроенных людей с палками и дубинами — они подступались к нему. Он пришел в еще большее неистовство, стал бить себя по бедрам хвостом и прыгать — ни дать ни взять бахсы[1] в обличье верблюда. Страшен сатана, очень страшен. «Вояки» с палками и дубинами перепугались, отхлынули назад. Даже Торка отступила, крича на ходу:

— Ой, разрази тебя гром!

И оружие свое где-то выронила, бедняжка. Шарип улепетывал первый, только у порога своего и опомнился, обернувшись, погрозил кулаком верблюду, который, теперь был далеко. Самец в ответ, широко расставив задние ноги, раскрыл пасть, да так, что красная глотка обнажилась, и низко, утробно изрыгнул из себя:

— Лок-лок!

— Понятно, — заговорили люди, — табун приревновал.

— Не видишь, что ли, постройнел, собака, и брюха-то нет!

---

[1] Бахсы — знахарь, колдун.

— Ах, во-он что!..

— Теперь он никого к табуну не подпустит!

Пахраддин, покрутив кончик уса, призадумался.

— Связать тогда надо дьявола, — заключил он.

Что ж — вязать так вязать! Хозяин велит. Азберген с ломом в одной руке, с путами в другой боком-боком подошел к Шойынкаре, приговаривая:

— Шок! Шок! На колени!

Грозно покачивающийся на вершине огромный нар свысока обозрел толпу покрасневшими злыми глазами и, конечно же, не мог не обратить внимания на Азбергена, подбирающегося к нему по-кошачьи.

— Лок-лок! — изверг он из себя опять.

Разумное существо должно было, наверное, понять это так: «Убирайся, пока цел!» Но двуногий в образе Азбергена пренебрег этим предостережением. В коварном желании обмануть и поймать его — Шойынкару! — приближался, выставив вперед руки и, что-то бормоча. Нар застонал от ярости, заскрежетал челюстями — это было слишком, — всем корпусом метнулся к непонятливому человеку. Опередить... схватить... искрошить его зубами — вот что было в стремительном рывке. Люди вскрикнули. Опомнился двуногий. Как ветром его сдуло — исчез среди своих. Безудержная сила, распиравшая нутро, всплеснулась было в Шойынкаре, но он сумел ее подавить, молча отступил к табуну. Он отходил с достоинством, не спеша, едва отрывая от земли мощные, как саксаульные стволы, ноги, издавая громоподобный победный рык.

Но — недолго продержалась эта его победа. Обернулся он в какой-то миг и увидел: темная людская масса, потрясая проклятыми палками, вновь неслась к нему по его же следам. Скотина Шойынкара, а уяснил в ту минуту, что дело оборачивается бедой — стаду грозит опасность. Пропустил он его вперед, а сам развернулся навстречу зловещей толпе на конях. Праведен был его гнев: шея выгнулась угрожающе, в глазах зажегся огонь мести. Но конники, мчавшиеся лавиной, проскакали мимо... Они держали путь к табуну. К его табуну! Любой противник, когда на пути самец, готовый к поединку, принимает бой; только он вправе притязать на стадо, когда в единоборстве с самцом

вырывает у того победу. Люди им пренебрегли, полезли напролом.

— Айт! Шайт! — стояло в воздухе. — Чу, айт!

Перепуганный табун люди погнали к аулу — опять мимо Шойынкары!

Затопотав на месте широченными ступнями, пустился он, ослепленный возмущением, за последним всадником. Как козлёнок верещит двуногий, лошадь под собой нахлестывает. Пасть у разгневанного самца — что пропасть, еще прыжок — и коснутся зубы круглого, лоснящегося от пота конского крупа. Сбоку Шойынкара еще всадника приметил, тот скакал почти рядом и что-то кричал. Но злость, распиравшая грудь, вынуждала Шойынкару сосредоточиться только на конском крупе, круглом, заманчиво лоснящемся, и он вонзил-таки в него зубы. Однако конь оказался ловким. Как собака, увертывающаяся от палки, скакнул на ходу в сторону, спасая себя от ужасающих резцов, так что они лишь чиркнули по крупу. Тем временем дубина, которой замахнулся пролетевший мимо черный всадник, опустилась прямо на висок Шойынкаре. Искры из глаз посыпались.

— Айт! Шок! — прокричал черный.

Когда Шойынкара, придя в себя, посмотрел, то увидел, что черный, подняв дубину, опять несется к нему. Он признал в нем Булыша. Шойынкару пугал окрик этого человека. И сейчас сердце его сжалось от страха. Присмирел он, хотя внешне и держался еще независимо. Пошел за табуном, шумно выдыхая воздух из запалившихся широких, ноздрей. Что ему еще оставалось?

Первые верблюды из табуна вошли в аул. Женщины, дети, старики повылезали из юрт, чтобы поглазеть на возвращение Шойынкары, угрожающе рыкающего, подметавшего землю длинной шерстью ног. Толпа зевак вызывала в верблюде глухое раздражение. Запрокинув голову, затопал ногами; из пасти потянулась пена, длинная, как его собственный волос. Толпа разом рассеялась по домам.

Табун укрылся в густом саксаульнике перед аулом. Шойынкара был настороже, чувствовал, что-то люди задумали еще, не сходили они с коней; по-прежнему в руках у них были палки, некоторые с петлей на конце.

Крики раздались неожиданно:

— Бросай!

— Аркан бросай!

Вмиг окружили его двуногие, разгорланились до звона в ушах, являя непонятное ему, а потому и раздражающее действо. Все в нем восстало против насилия, но — много их было, людей, он видел. Закрутился веретеном на месте от беспомощности, злой, страшный в желании сохранить суверенность. Кося глазами, фыркая, брызгая слюной, отгонял он от себя всех приближавшихся. Но аркан, кем-то удачно брошенный, обвил ему шею.

— Уай! Вяжите конец к пню! Так ему...

Разве что время гона вышибало Шойынкару из колеи, а так, по природе своей, он не был строптив. Обыкновенной рабочей скотиной был, знакомой и с поводом, и с арканом. И потому, когда его заарканили, он не стал брыкаться и лягаться, как дикий, а дал привязать голову к саксауловому пню, спутать передние ноги.

Заарканенному, Шойынкаре только и оставалось биться запоздало о саксауловый ствол. Табун разбили надвое и одну его половину куда-то погнали, тех животных, что упрямились и не желали идти, били палками, уводили куда-то на восток. Скрежетал зубами и бился Шойынкара, шею себе едва не свернул. Аркан протер левую голень до крови...

Утром следующего дня оставшиеся в ауле женщины, дети да старики имели возможность увидеть продолжение скандальной истории Шойынкары...

Молодые самцы, убедившись, что Шойынкара не сможет их преследовать, если даже и захочет, вздыбили загривки, стали домогаться подруг прямо под носом у нара...

Была среди верблюдиц одна — золотисто-рыжая, с вызывающей мордочкой, глазами с поволокой, опушенными длинными густыми ресницами. Она, кстати, и была одной из тех ветрениц, что пробудили в злосчастный день, когда пошел крупными хлопьями снег, дьявола в Шойынкаре. Кавалеры откровенно сбивали золотистую с ног, нанося ощутимый удар по голени, и бедной красавице не оставалось ничего, как, задрав хвост, бежать к нару, бесновавшемуся на привязи; добежав, она плюхнулась перед ним на землю. Тут-то и взыграла в наре необъяснимо откуда

появившаяся чудовищная сила, заставившая его, несмотря на плен, ринуться с остервенелостью леопарда на молодых соперников. Толстый, со стан человека, отвод саксаула выдернулся с корнем. Жутким был хруст саксауловых корней — как будто лед на реке раскололся; он и пробудил аул, пребывавший во сне. Первым из дому выскочил Шарип.

Когда старый самец с яростью, которой хватило бы на всех животных на земле, обрушился на молодого верблюда, уже было вскарабкавшегося на золотистую, тот, несчастный, и убежать не успел.

Острые, беспощадные зубы вонзились ему в бедро, в следующую секунду, взбрыкнув ногами, верблюд подлетел вверх; пока он поднимался, Шойынкара грудью сбил его снова и покатил по земле, кусая за голень и за что придется. Верблюд отчаянно вопил. В конце концов с пронзительным «бак-бак» он бежал. Другие молодые верблюды, наблюдавшие за поединком, не замедлили скрыться. Шойынкара с выдернутым пнем — он волочился за ним — недолго преследовал орущего от страха и боли соперника, пошел обратно, печатая каждый свой шаг. Это была поступь победителя — повергшего врага, возвращающегося с поля боя с триумфом.

— Ой-хой, старый развратник! — покачал головой Шарип. — Кого ты одолел? Сопляка-верблюжонка?! Тьфу пять слоев сажи на твою бесстыжую морду, глаза бы тебя не видели!

Шойынкаре не было дела до Шарипа. Издав высокий горловой звук, он горделиво пошел к золотисто-рыжей верблюдице; приблизившись, неистово захлестал себя хвостом по бокам. Та, тоненько, протяжно застонав, засуетилась и шлепнулась плашмя оземь. Старый самец поломался еще, входя в раж. Пена из его пасти, сочась, потянулась длинными нитями; раз и другой он рыкнул — коротко, глухо. И только потом шагнул к верблюдице — важный, исполненный достоинства.

5

По возвращении мужчин из Бескалы в ауле произошла еще одна история. С рассветом Верещага Шарип вышел с

кумганом в руке, как обычно, из дому по нужде. Смотрит, а на месте Азбергенова дома, который стоял впритык к столовой юрте Пахраддина, пусто. От юрты только круг остался. Вчера, значит, юрта была, а сегодня утром ее нет. Исчезла. Съехал, подлец. Убежал. Шарип, отвечающий перед властями за аул, застыл на месте, не веря глазам. Только тогда и опомнился, когда кумган, полный воды, уронил. Вздрогнул.

— Ах, головорез! Ах, контра! Ну, погоди? — заверещал он и помчался что есть силы в сторону выгона. По сторонам зазирался. В предутренних потемках саксауловые кусты там и тут представлялись ему кочевьем Азбергена.

Весь аул поднял Шарип на ноги, а потом, вскочив на лошадь, куда-то поскакал. Второпях сел на лошадь без седла, а потому, не доехав еще и до перевала, боль в заду почувствовал, поскольку худой был. Вернулся, держа коня в поводу. Растолкал спящего Шеге, отправил в волостную контору в Коксенгире. После обеда оттуда явился толстый Бухарбай, милиционер с клинком. Тоже аул обскакал, по окрестностям пошарил, а потом сказал:

— В тот раз следовало его шлепнуть, а теперь ушел, бандит!

Туча тучей стоял милиционер. Все ему в рот смотрели, что он дальше скажет, а он возьми да к Пахраддину прицепись: это ты, мол, брата сплавил, ты ему помог; в угол, можно сказать, бия загнал, да хорошо — Шарип вмешался, не дал Пахраддину ни за что ни про что пострадать...

Несколько дней прошло — и задул с севера теплый ветер, солнышко пригрело землю, снег местами прорвался, стал таять. Потекли-побежали змейками, скатываясь в лощины и овраги, ручьи. После марта солнце и вовсе высоко поднялось, буйно проросла в песках зелень. Аул, оставив старое, обжитое становище, перебрался на новое, где было зелено и привольно. После майской прохлады начался окот. Для скотоводческого аула появление молодняка — самая суетная пора, когда, считай, все на ногах, только успевай принимать новорожденных! Как только овцы разрешились от бремени и поднялись ягнятки, народ, перезимовавший в Саме стал потихоньку сниматься с мест, держа курс к летним пастбищам на далеких берегах реки Жем. Другое

теперь кочевье, не такое, как в начале зимы; не друг за другом, не длинной унылой вереницей тянулись люди; свободное кочевье, широко раскинувшее крыла по степи. И не спешили, как зимой. Неторопливо перемещалось кочевье, разумно используя на пути естественные угодья, давая возможность овцам с ягнятами и лошадям да верблюдам полакомиться свежей зеленью.

Этого лета, первого в ее жизни лета, которое для нее тягостно, не ждет Хансулу. Каракер под ней нет-нет да взбрыкнет испуганно, всякий звук тревожит. Одна-то и радость для Хансулу — Каракер. Отпусти поводья — натянет конь удила и помчится, уж так помчится, что держись, горизонт! Одно удовольствие седоку от такого коня, и в черных смородиновых глазах юной красавицы — печаль; осунулась она, на маленьком овальном личике один носик и остался. Всякий раз, слыша хохот придурковатого Козбагара, ежится она. Доверили парню лошадей, вот и старается. За скотину Пахраддина бедняга Козбагар готов нынче кверху ногами встать, лишь бы невесте самолюбивой угодить, ее отцу-бию и матери высокородной. Но не теплеет Хансулу, напротив, что ни день, то все более холодна. Хансулу умереть зареклась, чтобы только за Козбагара замуж не выходить. Вот только кто помог бы ей в этом...

Через неделю кочевье спустилось в долину Балга. С утра без перерыва моросил белесый дождик. Полынная степь, омытая дождем, очистилась, стала похожа на пышный зеленый ковер. И караван оживился, пестрый, разноголосый: овцы и козы разблеялись, ягнята и козлята заверещались, верблюжата разыгрались, позванивая колокольцами, наслаждаясь привольем. Этой красоты не замечала еще одна невеселая душа — Шеге. В самом хвосте гонят они с отцом живность в сорок голов. Парень за нынешнюю зиму повзрослел. Днем и ночью думал о Хансулу. О том, как ее спасти. В уезд хотелось ему поехать. Там власть почище отцовской. Но что он скажет, если и поедет? Байскую дочь, скажет, выручать приехал?.. Нет, не выход это. Байскую дочь выручать не станут. Но что тогда? Свяжут по рукам и ногам бедную Хансулу... вон ту Хансулу... гибкую, как лоза... неповторимую, которая сейчас на Каракере своем

вытанцовывает, не подозревая ничего о том, что кто-то о ней думает... И отдадут против воли за табунщика, вон за того, что по полю скачет и гогочет, как полоумный?! Спроси этого обалдуя, чего гогочет, не скажет ведь.

Пухнет от подобных мыслей голова, уже такая она тяжелая стала, что и поднимать-то ее порой не хочется. Отец в таких случаях орет:

— Разиня, эй! Ты на кого это скотину оставил?

Голос Шарипа выведет из себя кого угодно. Уносится Шеге прочь, за отбившимися матками с ягнятами.

Идет кочевье, позванивая колокольцами, делая ночами привалы, а днем давая возможность скотине попастись. Такая она, кочевая жизнь, всего в ней вперемешку — и радостей, и горестей. Радостей, может быть, побольше, ведь само существование на природе — радость. Длинная степная дорога. С давних пор привычная. Долгое степное существование — тоже привычное. Земля — как одна большая юрта, купол которой сливается с небом; вон она, широченная, раскинулась окрест; она, земля, и пастбище, зелени — ешь не хочу, воды — вдоволь, на каждом шагу, считай, озерца.

Близость лета, долгожданного райского лета, и Козбагар, бедняга, ощущает. Каждую минуту. А сердце, будь оно неладно, как жаворонок, который во-он под небеса взлетел и разливается. Поет-трещит сердце. От радости. Не замечает он порой, как коня подгоняет, пускает вскачь. И юродивому, говорят, мечтать не заказано. Давно он к Хансулу неравнодушен, с тех пор, считай, как у Пахраддина служит. Но Хансулу — луна недосягаемая на небе, а он, Козбагар, — прислужник презренный у Пахраддина. Вон она на Каракере, как сказочная девушка на сказочном тулпаре, несравненная Кыз-Жибек[1]. Сердце от страха екает: как взглянет-то. Не верит, что жена его будущая скачет. Случается, сталкиваются лицом к лицу, и, что скрывать, робеет Козбагар под взглядом Хансулу, готов бежать, но и — при всей своей робости — не думает от нее отступаться. А что? Девушка, говорят, пока она девушка, артачится. А станет женой — детей нарожает, там и портянки тебе состирнет, и в глаза угодливо заглядывать станет. Такого дня и ждет Козбагар. Говорили ему, не надейся, мол, не будет

[1] Кыз-Жибек — героиня одноименного народного эпоса.

эта девчонка тебе бабой, с носом останешься... Шеге, например. С прошлой осени дружба у них врозь. Но его-то словам Козбагар значения не придает. Ревнует, думает.

...Через две недели кочевье остановилось на летнем джайляу на южном берегу озера Тугискен. Такого веселого кочевья, растянувшегося почти на месяц, Козбагар, с тех пор как он Козбагар, не помнит. Увлекательным было месячное путешествие — всем аулом, со всей скотиной; взбодрило оно людей, придало им силы.

Озеро — в центре равнины, его южный берег — густой зеленый луг с полынью, изенью, зверобоем. Аул и обосновывается на этом месте. После обеда разгрузили люди поклажу да остовы юрт возвели, а к вечеру, когда солнце в своем гнезде за далекой сопкой Ханторткил скрылось, вырос на лугу аул, рядом выстроились юрты. В центре — большая, белая, она как перевернутая пиала, юрта Пахрардина; поправую сторону от нее — белая юрта-отау Хансулу, та самая, которую отец для дочери привез из Бескалы.

Перед юртами — очаги, в них уже весело потрескивает огонь. Врыты в землю столба, между ними натянуты канаты для привязи скотины. Женщины доят верблюдиц и кобылиц. Эта обычная для вечернего аула суета продлится до тех пор, пока сумерки не уступят место ночи.

...Был полдень. Ждахай и Шеге, вспугнув на озере птиц, отстреливали уток в тамарисковых зарослях. Это их первая уединенная встреча с тех пор, как аул осел на джайляу. Шеге испугался, когда увидел шишку на правом виске Ждахая.

— Век бы их не видал, дурней мажановсжих, — объяснил Ждахай. — Из-за Балкии. Этот, как его, Шотан-сатана, знает, что неравнодушен, повод искал, как бы придраться. На пастбище вчера и сцепились. Хорошо бы, один был, разве бы я ему дался? А то еще и Мотан как с неба свалился. Вот и побили вдвоем... Скажи, Шеге, это верно, что район приезжает? Баев, говорят, с корнем изничтожать будут.

— Не приезжает, а создается район, — исправил Ждахая Шеге. — Вместо уезда он. Уезд, говорят, ничего с баями поделать не может вот его и — тю-тю! Заместо него — район. А с районом, я слышал, не шути; возьмутся теперь за баев, хватит, мол, катались как сыр в масле десять лет, а теперь сверкайте пятками отседова!

— Давно бы так! А то: новая жизнь, новая жизнь... А где она, эта новая жизнь? Сдохнешь, пока эта новая жизнь придет.

— Это у нас только. А у других, говорят, давно новая жизнь, — заверил Шеге с видом сведущего человека.

Ждахай оживился:

— Послушай, отец у тебя — власть. Может, знаешь, когда к нам айырпланы и машены[1] придут?

Шеге усмехнулся:

— Скажешь тоже! Айырплан... чего захотел. Нам бы шайтан-арбу сначала увидать...

— Эх, если б я был власть! — мечтательно вздохнул Ждахай и повалился спиной на траву.

Шеге рассмеялся:

— И что б ты сделал, если б стал властью?

— Чудик, без шуток я. То бы и сделал — я бы этих баев тырс-тырс из ружья! Я бы не допустил, чтобы они до самого до района вот так расхаживали!..

И про уток приятели забыли, так увлеклись разговором. Даже Хансулу не заметили, которая приблизилась к ним на своем Каракере. В уголках миндалевидных девичьих глаз застыли слезы. Только что к Пахраддину пожаловали уважаемые люди аула. Среди них — Верещага Шарип, длинный Уап, Дау-апа, Булыш. И Лабак-ахун примчался из Жылыбулака на белом верблюде. Гостевая юрта Пахраддина заполнилась.

Мать знаком подозвала Хансулу.

— Сулутай, — сказала она, — ты бы проветрилась...

Печальна мать, девичье сердце почуяло недоброе. Каракер, как всегда, нетерпеливо ждал ее; взлетев на него, она безоглядно поскакала. А следом и мальчишка на рыжем жеребце из аула вернулся. Как вихрь мимо озера пронесся.

— Чудак божий, эй, постой! — заорал Ждахай ему вслед, все также валяясь на земле. — Давай сюда!

Мальчишке больших трудов стоило остановить разгорячившегося коня.

— Чего вам? — спросил он недовольно. Рыжий жеребец шумно дышал.

---

[1] Айырплан, машена — искаж. от «аэроплан» и «машина».

— Куда, мой свет, скачешь? Про это и скажи.

— На свадьбу звать! В следующую среду свадьба! Пахраддин дочку замуж выдает! — прокричал мальчик и хлестнул лошадь.

— Вот, ей-богу, подарочек! — воскликнул Ждахай. Глаза его разгорелись как угольки. Смотрит то на Хансулу — она Каракера в озере поила, то на Шеге, посеревшего разом. В землю уставился приятель. — Что молчишь, чудак? Да неужели Хансулу Козбагару достанется? Давай выкрадем ее! Согласится она, а? Любит она тебя? — Ждахай, бедняга, в возбуждении вскочил с места.

Шеге молчал. Сжал зубы. По-прежнему не отрывал глаз от земли. В них — слезы.

Вестник на рыжем жеребце мчался между тем, пыля, по ковыльной равнине, и бег его коня был как полет звезды, прочерчивающей небосвод...

НЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО

1

До свадьбы оставались считанные дни, когда начался мусульманский, праздник курбан-айт, отмечаемый в степи очень пышно. Люди встали спозаранок, привязали каждый в своем дворе приготовленную в жертву всевышнему живность. С восходом солнца задымились очаги, стал забиваться скот. Женщины утонули в хлопотах, выдраивая до блеска казаны, опаливая на очаге бараньи головы и ножки. Дети шумно делили между собой асыки. Собаки в стороне грызлись из-за требухи.

Раз в году приходит курбан-айт, и скотоводческий люд, с трудом выбирающийся из зимы, встречает его с большой радостью.

— Пусть айт будет в радость! — поздравляют люди друг друга, и в ответ традиционно слышится:

— Да сбудутся ваши слова!

Во всех домах двери — настежь, в юртах — богато накрытые дастарханы, они не будут убираться три дня. И три дня — нескончаемый поток поздравляющих с праздником. Кто войдет в дверь — тот и гость. Люди обряжаются во все

лучшее. Раскрывают сундуки и тюки, их содержимое — запасное убранство юрт, одежда, ювелирные изделия — развешивается на аркане, натягиваемом поперек юрты. Все напоказ, даже то, что годами про черный день хранится. Таков праздник. Каждый чист перед богом, перед соседями.

Сплошь веселье. Особенно у молодежи, да и родители радуются, не мешают обходить дома, аулы, водить затейливые игры; им приятно наблюдать за ними, ведь получается, их юность продолжают молодые: будь то ночь или день, не сходят юноши и девушки с коней, поют песни, устраивают айтысы, скачки, далеко окрест разносятся их звонкие голоса. Сноровистый джигит и счастье в такие праздники пытает — пробует платком любимой заручиться. Тот, кто обзаводится им, может считать, что его звезда зажглась.

И так — каждый год.

Нынешний год в ауле Пахраддина стал особенным. К полудню заклубилась пыль у речки Жем — и показался всадник. Посыльный от председателя волсовета. Конь в белой пене остановился перед юртой Шарипа. Аул мгновенно наполнился слухами: «Представитель едет... Начальник района едет...»

Не успел посыльный ускакать, Шарип забегал из юрты в юрту, маленький, на подгибающихся ножках, передавая приказ волостного управителя:

— Наведите в домах порядок, уважаемые! Голова района едет! — Слово «секретарь» он забыл начисто. — С жизнью нашей познакомиться хочет. Готовьтесь, милые мои...

— Да что готовиться? Или не айт у нас, а? — разворчалась Торка. — Как лето, так прут всякие, ровно сурки из нор!

— Эй! Не сметь такое говорить! — оборвал ее Шарип. — Не всякие это!

Ох, бабы!.. Тобанияз-управляющий в прошлом году приезжал, так Шарип ему и его свите с помощью Пахраддина с десяток новеньких юрт поставил, кобылицу в честь гостей прирезал — короче, расстилался как мог перед начальством; так эти его старания одна старуха, помнится, вроде Торки, одной репликой, не к месту оброненной, чуть по ветру не пустила. Кто, скажете, эта старуха? Да мать

Кульша — Дау-апа. Высмотрела она среди гостей, блаженствовавших в десяти юртах на лугу, Тобанияза да и спроси у кого-то из свиты: «Это он-то государственный человек?»

— «Он», — ответил тот. А она, усмехнувшись, сказала: «Надо все, все государственные одинаковы. И этот ни дать ни взять хан...» Дошли ее слова до Тобанияза, разгневался, говорят, он, готов был аул разнести, а его, Шарипа, с аулнаев скинуть, да — слава богу! — Дукенбай-волостной вмешался, остался Шарип в аулнаях.

— Ой, ведь куда хоть зайдет новый начальник, любую дверь откроет. Слышите вы меня, эй?

Всех всполошил Шарип, у Пахраддина задержался:

— Сват, ты готовься! Кто знает, может у тебя остановиться... Другой приличной юрты, сам знаешь, в ауле нет.

— О, сват, не волнуйся! — откликнулся Пахраддин, откидываясь крупным телом на подушки и поглаживая усы. — Был бы гость, а уж принять — сумеем.

— Русский, говорят.

— Не тужи, сват!

Шарип ушел успокоенный.

Хансулу дома не было. Ускакала с молодежью к Колкудыку — айт. «Хорошо, что ее нет», — успел подумать Пахраддин, провожая Шарипа глазами. Строптива стала дочь. Слышал, что она матери сказала: на отца, дескать, обижена, пусть делает что хочет, пусть за Козбагара выдает, но женой этому увальню она не станет... Мать, бедняжка, меж двух огней: тут — дочь, там — муж; тоже чувствуется, предстоящей свадьбе не рада, не ждет она ее. Малоразговорчивая, в последнее время и вовсе ушла в себя, похудела. Не может Пахраддин сказать, что не замечает происходящего. Но что делать? Время к ним спиной повернулось, — что он в силах переменить? Мало ли сейчас баев и биев, оставшихся без крова, скитающихся где попало, да еще с детьми. Рушится шанырак[1] жизни, некогда прочный, надежный...

Гости, которых ждали, спешились на краю аула в самый полдень, двое милиционеров с винтовками наперевес

---

[1] Шанырак — верхний купол юрты; здесь — в значении символа благополучия.

сопровождали их. Ранее людей поспели к ним разлаявшиеся собаки, но Шарип вовремя разогнал палкой безмозглых. Подкатился, семеня, к высокому русскому начальнику в кожаной кепке и сером кителе, очень уж устало и прохладно обозревавшему аул, и протянул для приветствия руку:

— Здрасти!

— Здравствуйте! — густым баритоном откликнулся русский, опять же довольно прохладно.

Шарип слышал, что начальник приезжает молодой и не из здешних мест. Шарипа он, естественно, не знал и посмотрел на пожилого худого Апанаса в очках, будто спрашивал у него: «Кто это?» Афанасия Васильевича Гринина, или Апанаса, как звали его по-свойски казахи, еще со времен царя Николая сослали сюда, в казахскую степь; в Темире до Советской власти он преподавал в школе, а потом перешел на службу в уезд; в прошлом году стал заведовать губоно, а сейчас — председатель районного исполнительного комитета. По-казахски Апанас как на своем говорит. Похлопав Шарипа по спине, не замедлил представить его начальнику:

— Это и есть товарищ Каспаков, а если по-казахски, Шарип-ага!

— Да, Каспаков, Каспаков, — подобострастно заулыбался Шарип, кивая.

Хмурое лицо начальника потеплело, он тоже кивнул.

Апанас по-казахски поздравил Шарипа:

— С новосельем, Шарип-ага! — Он, конечно же, имел в виду прибытие аула на джайляу. — Пусть полнится радостью айт!

— Да сбудутся твои слова, Апанас! — растрогался Шарип.

С гостями — председатель волсовета Дукенбай Исмаилов, член волсовета Асан Айтжанов (это он некогда способствовал выдвижению Шарипа на должность аулная) и два милиционера; один из них — громила Бухарбай, тот самый, который Азбергена под конвоем угонял, а второй — незнакомый Шарипу, худой, с серым оттенком лица джигит.

— Жекей, — представил его Апанас.

В это время подоспели к гостям и люди аула во главе с Пахраддином. Апанас продолжил знакомство:

— Семен Харитонович, вот этот человек, — сказал он, указывая на Пахраддина, — всеми уважаемый Пахраддин-мырза, о котором я вам по дороге рассказывал. Аксакал этого аула. Помощь Советской власти оказал и оказывает неоценимую... А это... — он обратил теперь внимание собравшихся на главного гостя: — Это — первый секретарь создаваемого районного комитета партии товарищ Калашников Семен Харитонович. Прошу любить и жаловать, как говорится. Вот — по аулам ездим. Семен Харитонович желает с жизнью края познакомиться, с деятельностью Советов на местах, в частности в аулах. Впервые он на казахской земле...

— О, добро пожаловать! Знакомьтесь! Будьте гостем! — отвечал Пахраддин по-русски.

Калашников не без любопытства посмотрел на него, мырза производил впечатление: крупен, пропорционально сложен, широкоплеч, высокий лоб с одного боку закрывает дорогая, тонкой работы тюбетейка, красивая ухоженная борода и усы тронуты проседью, внимательные глубокие глаза смотрят открыто. Еще более удивляло то, что бай говорит по-русски.

— Пахраддин-мырза, вы владеете русским? — спросил Калашников, усмехаясь.

— Хлеба по-русски попросить можем, товарищ секретарь, — сказал Пахраддин, покручивая ус.

— Дастархан Пахраддина-мырзы ждет вас, — счел нужным вставить Шарип.

Афанасий Васильевич перевел предложение Шарипа Калашникову, но тот пожелал поначалу обойти аул. В какой бы дом ни заглядывал секретарь, повсюду его ждали выставленные напоказ по случаю праздника оригинальные изделия прикладного искусства, тонко выделанные овечьи, волчьи, лисьи шкурки, женские украшения. На полу он видел узорчатые войлочные текеметы. Сияли всеми цветами радуги ковры. Возвышались лари из кости, по лицевой части украшенные резьбой. Ковровые ленты свисали с потолка. Шелковые занавеси на шнурах скрывали часть юрт. Гостей встречали молодые женщины и девушки в красочных платьях, в расписных полушалках и платках — как степные цветы; женские руки, пальцы, уши унизаны браслетами, кольцами, серьгами...

На накрытых дастарханах — баурсаки, курт, иримшик, жент и другие яства национальной кухни...

— А покажите-ка мне дом бедняка, — попросил Калашников.

— Но вы только что были в доме бедняка! — ответствовал Шарип. Они как раз выходили из дома Булыша.

— Сколько же у него скотины?

— Ойбай, бедняк он, голый бедняк! Двадцать коз, три верблюда, если верблюжонка считать, одна лошадь.

— А сколько скота у мырзы?

— О, мырза когда-то состоятельный был! Сейчас скота поменьше. Государству на мясо сдал. Короче, сейчас, считай, ничего.

— Хорошо. Сколько осталось?

— Овец около двухсот, лошадей — голов пятьдесят да верблюдов с десяток.

Усмехнулся гость. Холодная была усмешка.

Пахраддин сам распахнул дверцы своей юрты, приглашая гостей пройти. Бухарбай-милиционер остался снаружи. Калашников, пройдя на торь, был поражен увиденным и не скрывал этого. «Богатство» недавних юрт, в которых он побывал, померкло рядом с великолепием, которое открылось ему в доме мырзы. Изумляла не столько роскошь, сколько вкус, угадывавшийся, во всем, что его окружало, вкус тонкий, непритязательный и вместе с тем изысканный. «Откуда эта красота здесь, в глухомани?» — подумалось ему. Вспомнились напутственные слова Филиппа Исаевича, секретаря Казкрайкома: «Район, куда вы направляетесь, — самый отсталый в Степи. Глушь, куда Советская власть еще не добралась. С нуля начинать надо...»

Сырга-байбише налила из большой черной сабы гостям душистый, отливающий желтым кумыс. Круглый низенький столик в центре мгновенно заполнился несколькими большими чашами с ароматным напитком. Пахраддин в довершение ко всему водрузил на стол две «четушки» водки.

Восседая на мягком персидском ковре, гости смаковали кумыс.

— Чудесно! — произнес Калашников и качнул головой. На лбу у него выступили капельки пота. Кумыс он пробовал впервые. Пошутил, захмелев: — Всего у вас, Пахрад-

ин-мырза, много — и достатка, и угощения, но женщин почему-то маловато, а? Почему?

Афанасий Васильевич перевел. Шарип, ухаживающий за гостем — он передавал тостаганы с кумысом, — не выдержал, раскатился в мелком заливистом смехе:

— Так зря его, что ли, «примерным мырзой» зовем? Это что-о!.. — Шарипа прорвало, не остановить: — Он дочь, свою собственную дочь, за прислужника своего выдает, свадьба скоро. Мало того, без калыма отдает. Такой вот человек. Справедливый.

— В самом деле? Ваша дочь? — уставился на него Калашников.

— Да, моя дочь. Единственная, — Пахраддин опустил заслезившиеся глаза.

— Занятно, — удивился Калашников. Покачал головой.

Сырга-байбише, молча хлопотавшая по хозяйству, опустилась на колено по правую сторону от кипящего самовара; так, с колена, как это делают новоиспеченные невестки, достала она из сундука, новехонький фарфоровый сервиз, протерла его шелковым китайским полотенцем, поставила на стол. И скоро гости пили ароматный индийский чай, наливаемый в расписные фарфоровые чашки.

Прозорливый гость за всем наблюдал.

Пахраддин в какой-то момент поглядел на него, а затем сказал:

— Наслышаны мы тут про политику правительства. Все понимаем. Лишний скот, лишнее добро правительство забирает. Всё — на общий круг. Пусть, положим, так будет. У меня лично возражений нет. Пусть берут. Пусть беднякам раздадут. Кто, скажите, скот не забирает? И враг может забрать, и джут. Так не лучше ли его во благо употребить? Благодарение людское зато будет. Советская власть справедлива, говорим. Но вот одно я до сих пор недопонимаю, сколько ни думаю. Какая такая вина за баями, что можно вот так все у них отбирать подчистую: и добро, и скотину... а самих, случается, и к черту на кулички гнать? Вся их вина, как мне думается, в том, что баи они, что батраков содержат. Ну а скажите на милость, как бы эти батраки кормились, если бы их баи не содержали?! Вот вы, секретарь из центра, в политике разбираетесь. Можете вы мне ответить на мой вопрос?

Калашников, отодвинув к стене подушку, задумался и поднял голову.

— Знал я, что будет такой вопрос, — сказал он. — Не вы один, многие представители господствующего класса про это спрашивают. Скотина, говорят, тому принадлежит, кто ее пасет, а мир тому — кто его находит; это вашего народа пословица. Мудрые слова. Сегодняшняя политика партии на то и направлена, чтобы народ эту мечту в жизнь претворял. Издревле батрак пасет байский скот. Партия считает, что батрак сам и должен быть хозяином той скотины, которую он пасет. Верно, Советская власть не погладит по головушке бая за то, что он батраков содержит. Потому как и бай не гладил по головке батрака, которого содержал, хотя тот и пас его скотину. Власть — бедняцкая.

Пахраддин чувствовал, что потерпел поражение:

— Но я это к чему, товарищ... Я вовсе не против политики правительства. Наоборот, я присоединяюсь к ней, раз веление времени таково. Сам, по своей воле, если власть сочтет это необходимым, готов отдать лишнее. Берите. Пожалуйста... Но меня и другое интересует. Положим, возьмут у нас что причитается, а что потом? Как некоторых, по миру пустят, как кур общипанных? Вот мне про что хотелось бы узнать.

— Да не-е... — вмешался утешающе Афанасий Васильевич. — Справедливо все будет. По закону. У тебя же другое дело, Пахраддин-мырза. Твои заслуги перед властью учтутся.

— Би-ага, — успокоил и Дукенбай. — Вы ведь и не считаетесь крупным баем. Вам ли бояться слухов?

— За хлеб-соль спасибо! — поблагодарил Калашников, кланяясь Сырге-байбише, и быстро, по-военному, поднялся с места.

Остальные — тоже.

Серолицый милиционер Жекей вышел первым. Глядит, Бухарбая нет. Непорядок! Зыркнув туда-сюда глазами, пошел было в дом, а там Бухарбай с двумя молодыми людьми о чем-то спорит. Один из молодых людей, тот, что коренаст и плотен, порывается к юрте, а Бухарбай своим мощным телом ему дорогу преграждает. Жекей незамедлительно оказался рядом.

— В чем дело? — спросил он, еще больше посерев.

— Ребята вот знакомые, — начал объяснять Бухарбай. — Пристали, байскую дочь выручать надо, с начальством бай потолковать. Я им — нельзя, а они, видишь...

— Табарыш милиса! — не выдержал Ждахай, обращаясь теперь к Жекею. Глаза, считай, из орбит выкатятся. — Мы же за справедливость! У нас заявление к начальнику!

— Какой это начальник, болван! Секретарь района! — посуровел Жекей. — А ну исчезайте! — и по-русски добавил: — Марш!

— Но у нас заявление! — взмолился и Шеге.

— Какое заявление?

— Пахраддин свою дочь замуж отдает... насильно.

— А вы кто такие?

— Бедняки.

— Вот и исчезайте! Насильно если, пусть девица сама и жалуется! Марш! — Жекей просто-напросто оттолкнул их.

— И побороться за справедливость нельзя! А где же Советски бласты?

— Марш! — гаркнул вне себя Жекей, и лицо его стало пепельно-серым.

Ждахай и Шеге невольно попятились.

Гости тем временем, сев на лошадей, успели отъехать. Путь их лежал теперь в аул Мажана. Калашников, когда аул Пахраддина остался позади, сказал сам себе:

— И в самом деле, здесь ничего как будто не произошло. Будто революция этот край обошла... Эх, сколько же дел впереди!.. Много дел...

Сказал он и, вздохнув, покачал головой.

2

Много свадеб видела Хансулу. Но на такой безрадостной присутствовала, впервые. Это была ее собственная свадьба. Все состояние, можно сказать, положил отец на торжество, был не в меру расточителен. Более сотни юрт поставил по оба крыла от аула, около сотни овец прирезал; жырши, который спел «Той-бастар» («Зачин для тоя») и тем возвестил о начале свадебной церемонии, скакуна подарил; около двухсот лошадей участвовали в байге, где главным

призом стали два породистых верблюда-нара; богатыри, состязавшиеся в силе, каждый получил по кобыле; не остались без даров и акыны — и те, что стали победителями, и те, что познали поражение. Не без удовлетворения народ отмечал, что подобного празднества не было со времен годовых поминок по баю Коспану; судя по рассказам, ас Коспана вылился в грандиознейший пир. Ничего Хансулу не трогало. Сидела за шелковым занавесом в юрте, отведенной для невесты, в окружении подружек и наблюдала за весельем, затопившим аул, через решетки кереге; грустные у нее глаза, полны слез. Ни с кем и словом не обмолвится. Будто и языка, и разума лишилась.

Привлекли ее внимание сказители. Акыны собрались на ближнем от нее холме, так что волей-неволей пришлось стать участницей событий. К вечеру холм был устлан коврами, дорожками, текеметами. С появлением луны стал стекаться отовсюду народ. А через некоторое время, как живой дух, предстал перед слушателями высокий, высохший, как саксаул, старец в белом чапане и белой чалме; борода и усы — тоже белые, в руках — домбра. Его сопровождали трое мужчин. Старик прошел на вершину холма, покрытую ковром и мягкими одеялами. Луна поливала холм молочным светом. Народ еще подходил. Все были, тут, даже малыши, облепившие склоны. Все взоры — на старого жырау, белый-белый он, как лебедь на глади озера. Когда народ разместился и не стало слышно шагов, ахун взял в руки домбру. Тысячеустая толпа смолкла.

Долго настраивал ахун инструмент, срывающиеся из-под его пальцев низкие, гулкие звуки таяли в воздухе, наполненном ожиданием. Подружки Хансулу давно уже сбежали от нее, чтобы получше расслышать жырау. Одна Балжан оказалась рядом...

Ахун повел плечами, подался вперед, будто собрался лететь, это движение только подчеркнуло его сходство с лебедем. Миг — и полился голос, задушевный, доверительный, будто не пел ахун, а говорил. О сокровенном говорил. Со всеми. Разом. Размеренный напев — словно течение реки Жем, тихое, неторопкое, слабо подкипающее с глубины. И голос ахуна точно из древности идет, будто не ахун это поет, а далекий-далекий предок, оживший и вышедший к народу,

чтобы с ним поговорить о накипевшем за годы. Полный боли речитатив. Никто и шелохнуться не смеет. Полный силы и вдохновенья речитатив, способный пробудить степь; она и в самом деле проснулась — задышала прохладой с предгорий. Голос старца слился с дыханием степи. Звуками домбры, голосом сказителя изливалась долгая, нескончаемая летопись того, что было и что свершилось сегодня, ибо для всех, кто населял Устюрт, Лабак-ахун один и был историей, тем живительным источником, из которого каждый при необходимости черпал знания.

Основы наук Лабак-ахун усвоил в медресе в Бухаре, свободно читал на арабском и фарси, прочитанное перелагал в доступные для степняков жыры и дастаны, преподнося их потом на подобных торжествах как дар, как откровение души; такое общение с людьми стало для него потребностью. Рассказывали, что, если бы Лабак-ахун и надумал, к примеру, покинуть свою мечеть, книги, которые ему пришлось бы взять с собой, составили увесистую поклажу для верблюда-нара. Люди поклонялись его дару сказителя.

— Ойхой! Ай да слова! — восторгается Шарип. — Э-эх, не жалей...

— Золотые слова!

— Мудрое слово что бальзам...

— И помирать-то не страшно, когда услышишь такое...

Старец между тем перешел к перечислению дастанов. Много их, очень много! Называй полюбившийся!

— ...Дастан «Рустем» — сказ героический о батыре, храбростью необыкновенной прославившемся. «Кобланды», «Алпамыс», «Ер Таргын», «Едиге», «Салсал»... Слушайте, люди, вникайте! Деяниям предков именитых внимайте! Ближе присаживайтесь, люди, ближе! Не грешно про события лет минувших узнать!.. «Ер Косай» и «Кубыгул», «Козы и Баян»... каждая из этих судеб — жизни нашей откровение, нельзя слушать его без волнения. Выбирайте сказ! «Айман и Шолпан», «Сорок батыров Кырыма», «Сорок девушек-каракалпачек»... не выдержит всякий — заплачет... Незабвенная «Кыз Жибек», легендарный батыр «Бозжигит»... Голос мой, пой, томит он меня, томит... «Шакир и Шакират», «Асан и Усен», «Калкаман и Мамыр», «Суфи Аллаяр», «Юсуф и Злиха», «Война Азирет-али»... Слушайте,

люди, Лабак-ахуна, слушайте, слушайте... «Батыр Барак» — наидостойнейший в роду человеческом... и о нем рассказать могу, о грозе вражьей... Ахун нынче в раже. Называйте сказ!

Замолчал ахун, прислушиваясь к людскому гулу, отпил чаю из пиалы перед собой. Гул не прекращался. Каждый выкрикивал свое, остановились в конце концов на дастане о сорока девушках-каракалпачках. Мало кто в степи его знал.

Застонала, запричитала вместе с домброй Лабак-ахуна степная ширь, облитая мягким лунным светом. Побежала-покатилась волна по верхушкам ковыля, ясенца, полыни... еще волна накатилась, еще... заволновалось море пахучих степных трав, зашелестел чий на крышах. Весь подлунный мир пришел в движение, тронутый голосом сказителя. Голос шел из глуби веков... когда-то под такой же луной, на такой же земной бескрайности вершился суд. Несправедливый суд. Сильный давил слабого... кричали дети, рыдали женщины, оплакивали безвременно поверженных...

Луна в небе содрогнулась, услышав про такую несправедливость, поближе к аулу продвинулась. Яснее Млечный Путь прочертился, за ним — туманный след. Заворочалась, завздыхала степь — она-то все помнит... Задул ветер, его вой — как плач осиротевшего верблюжонка...

Не усидели Хансулу с Балжан, примостились вскоре тихонько с краю холма на травке. Много схожего уловила Хансулу в собственной судьбе и судьбе прекрасной представительницы сорока девушек — бесстрашной Гулайым. Снова смятение в душе. И вновь слеза сорвалась с ресниц...

Луна переместилась на западную часть неба.

Страсти накалялись: Гулайым отважилась на поединок с Суртайшой. Чем он для нее обернется?.. Преобразился Лабак-ахун, бьет по струнам, не щадит их... На холме, видать, и тесно ему — не в состоянии он усидеть на месте, будто ему сейчас в бой, а не Гулайым. Глаза, хоть и старые, искры мечут; вся сила в пальцах сосредоточилась, как неистовый исторгающих, весь жар большого сердца — в словах, пламенных, зажигающих кровь...

Жыр закончился, когда забрезжил рассвет.

Наступал второй день свадебного торжества — «Той таркар» («Конец свадьбы»). К полудню тартыс намечался, сво-

образное состязание, когда джигиты двух родов силою мерялись: невесту из дому выносили, и каждая сторона должна была тянуть ковер к себе; кто перетянет — тому и обряд «побега невесты из отчего дома» исполнять...

В обед молодежь, собравшись в юрте Хансулу, исполнила «Жар-жар» — свадебное напутствие невесте, а потом все высыпали «провожать» Хансулу. По этому обычаю девушка прощалась с родителями, с родичами, с подружками. Невеста должна была плакать, прощаясь. Женщины, среди них и мать Хансулу, обнимались, причитали в голос. У всех на глазах слезы.

Позже молодые женщины и девушки, взяв Хансулу под руки, повели ее в дом на другой половине аула, в дом Козбагара, через порог которого она теперь переступила супругой. На полпути к новому пристанищу невесту встретили Торка и Жайбаскан, осыпали дорожку, по которой она шла, сладостями. На голову Хансулу надели белый жаулык, убор замужней женщины, а лицо покрыли белой накидкой.

Белая юрта-отау Хансулу стояла рядом с юртой Козбагара, туда и провели ее за белый шелковый занавес. Началось новое торжество — по случаю «прибытия невесты», которое завершилось лишь вечером следующего дня. Перед концом празднества жырши по имени Агдос спел традиционную «Беташар», представляя новоиспеченную невестку родичам жениха, и снял с лица ее накидку.

Вечером того же дня, когда свадьба закончилась и люди разошлись, был совершен обряд бракосочетания. Кайыпмулла «освятил» молитвой воду в чаше, которую жених и невеста, находившиеся в разных юртах, должны были испить выражая тем согласие на брак.

Хансулу положенного глотка не сделала, лишь прикоснулась губами к чаше, пробормотала про себя: «Ни на этом, ни на том свете на брак не согласна... не согласна...» С тем и вернула чашу. Наивная девушка полагала, что достаточно не выпить «освященной» воды, чтобы считать себя свободной от нежелательного союза: кто-то когда-то говорил ей про это.

Ближе к ночи стали исчезать одна за другой женщины и девушки, четыре дня неотступно находившиеся при Хансулу; ушла и Балжан, самая близкая из подружек. Свадьба отшумела, будто ее и не было. У супружеской постели

за белым щелковым занавесом Хансулу осталась одна. Явь это или сон? Как ни странно. Случившееся Хансулу воспринимала как шутку, злую шутку, которую сыграли с ней помешавшиеся рассудком люди во главе с ее отцом, — злосчастное стечение обстоятельств. И вот свадьба... Муж. С самого начала все было нелепостью, с того злополучного дня, когда свершился сговор. Пока готовились к свадьбе, даже тогда, когда она уже шла, Хансулу не покидало ощущение, что явится благоразумный человек и положит конец безобразному галдежу, скажет: «Прекратите! Расходитесь! А ты, Хансулу, идем со мной, я тебя к настоящему суженому отведу...» Свадьба гудела-шумела, а сердце отказывалось верить происходящему, сердце верило в мечту, в сердце жила надежда на чудодейственную силу, которая ее спасет. Она ждала избавителя. Она жила этим ожиданием. И что же? Избавитель не пришел. На голове — белый жаулык. Она жена. Кому? Козбагару! Мужу, нареченному богом. И сидит она в темной юрте в ожидании его же, мужа...

Ждать, впрочем, не пришлось. Зашептались перед дверью — давящиеся от смеха женские голоса, услышала:

— Ну что ты, дурень, стоишь?

— Входи!

Кого-то втолкнули. Этот «кто-то» застыл у самого порога. Как столб стоит. Темно. Силуэт едва различим. Хансулу знает, кто пришел. Козбагар. Каков аппетит, а? Это же надо — ровня ей сыскалась?! Ровня?! Он-то?! А все, считай, из-за него! Точно. Не возомни он себя женихом, та игра в «козла» так и осталась бы игрой. Игрой — и только.

— Кто тебя звал? — спросила она, кипя от негодования.

Вместо ответа, Козбагар толкнулся было в дверь, да та не поддалась — тетушки дружно подпирали ее, засмеялись, зашептали:

— К-куда, дурень? Твой это дом, слышь? Ни шагу теперь отсюда!

Беспомощность здоровяка — грудь-то вон с дверь — взбесила Хансулу.

— Что женился-то, раз бежишь? — бросила она издевательски.

Козбагар стал переминаться с ноги на ногу, прокашлялся. Прильнув к двери, взмолился:

— Да уйдите же... ради бога!

Женщины разом смолкли, а потом, посмеявшись, ушли.

— Хансулу! — Козбагар едва ворочал языком от робости. — Что мне делать?.. Ну что? Ну сказали, женись... ну так что теперь?..

Хансулу фыркнула, отвернулась к стене. Жени-их!..

Полог у стены вздернут, все вокруг хорошо просматривается. Поблескивает озеро, урчат лягушки. В тамарисковых зарослях на берегу плеснулась вода — лошадь, видно, забрела. Выпорхнули из кустов птицы, слышно, как они хлопают крыльями. Повеяло прохладой — тоже с озера. Понесло запахом влажного прибрежного песка.

— Хансулу!

Девушка вздрогнула. Забыла, бедная, что тут Козбагар.

— Ух, что еще?

— Хансулу... я... ей-богу... не хотел тебя обидеть...

— Еще что?

— ...Л-люблю...

— Не любил бы! Зато я тебя не люблю!

Козбагар засопел:

— Ну в чем я-то виноват перед тобой, Хансулу, а? — Помолчав, он разрыдался: — Знал я, что так вот будет. Давно знал. Но... все орали. Что теперь?..

И давай выть Козбагар — удержу нет! Широченные плечи сотрясаются от всхлипываний.

К этому времени вышла луна, заглянула в юрту через открытые решетки кереге, стало светлее. Хансулу поднялась, зазвенела серьгами и шолпами. На ней — длинное белое шелковое платье. Обрадовался Козбагар, зашмыгал носом. Мать Торка, помнится, смягчалась, когда он плакал, подходила к нему, гладила по голове, приговаривала ласково: «Ну что фырчишь-то?» Вот и подумалось ему, что и Хансулу подойдет, по голове, может быть, погладит. Но не подошла Хансулу. Не погладила по голове. Только шолпы ее звенели, звенели. Она ему одеяло и подушку на порог кинула.

— Постель тебе!

Жестковат тон, но для Козбагара он слаще меда. Не ждал он от Хансулу этого.

Постелил у порога и лег. Не положила Хансулу рядом — да ничего, пусть обвыкнется сначала. Зато на подушке и

одеяле — запах ее духов... В конце концов, ее рука касалась и этой подушки, и этого одеяла... Сердце стучало — бедный Козбагар в эту минуту готов был умереть за Хансулу...

А она, его высокородная раскрасавица жена, позванивая шолпами, скрылась за занавесом, колыхавшимся от прохладного ветерка. Рядом была с ним, в одной юрте, и Козбагар ей за это благодарен. Не будь он в данную ночь женихом, ей-богу, побежал бы без оглядки к озеру вот так — босой, раздетый; ох и посмеялся бы там, покричал! Всему миру прокричал бы о своем счастье!..

Луна тихо зашла за облака. Аул в безмятежном сне. На пыльном пустыре пережевывают жвачку возвышающиеся горами верблюды. Собаки давно уж угомонились. Только у озера жизнь еще заявляет о себе: стрекочут кузнечики, урчат лягушки, сонно, вскрикивают птицы, всплескивается рыба. Но кто-то еще хоронится там, держа под уздцы оседланных лошадей; одна из лошадей — Азбергена... Когда аул заснул, он вышел из своего укрытия и стал тихо продвигаться к высокой белой юрте Пахраддина. Огромные, с ишака, псы у входа проснулись было, но, признав Азбергена, завиляли хвостами.

— Кто там? — спросил Пахраддин, услышав скребок в дверь.

— Я, — сдержанно громыхнул басом Азберген.

Пахраддин, набросив на себя чапан, открыл дверь. Сырга-байбише проснулась, хотела зажечь лампу — Азберген запретил.

— Что за явление? — спросил Пахраддин, стараясь рассмотреть присевшего на край кошмы брата.

— На свадьбу, брат, спешил, на свадьбу, хоть ты и не приглашал. С Сабетами сосватался, поздравляю! За тем и пришел, чтобы поздравить!..

— Что несешь, полоумный? — рассердился Пахраддин. — В тюрьме бы давно сгнил, коли не сосватался...

— Спасибо. Но только полоумный не я, брат, а ты! Дочь Сабетам отдал, скотину одну за другой — им же. Один ты пока в этой округе такой, с ума свихнувшийся. А вот нормальные борются. Ты же, угодничая, подохнешь, знаешь ты это? Посмотрим, как завтра эти Сабеты тебя отблагодарят...

— Довольно! Старая песенка. Слышал. Где ты?

— Тебе еще не сказал, где я. Вести, брат, такие: Сабетам не быть! Англичане с одной стороны прут, с другой — китайцы. Лошадей мне надо.

— Э-э, заблуждаешься, брат. И крепко. Так что лошадей не будет.

— Не из одного чрева мы, но — братья. А то пулей бы одной уложил! — Азберген вскочил, метнулся к двери. Переступая порог, приостановился, хотел, видно, что-то сказать, да, раздумав, стукнул дверью и ушел.

...Крепко спал Козбагар. Не почувствовал ничего: ни того, как в дверь постучали, ни того, как Хансулу петлю откинула, ни того, как вошел в юрту Азберген. Только когда кто-то, больно уж тяжелый, взгромоздился на него и схватил за глотку он проснулся, очумело захлопал глазами. Дернулся было, да куда? Не шелохнуться. «Оборотень», — подумал спросонья. Полутемки в юрте, ничего не разглядишь. Но очень скоро, к великому своему ужасу, начал он в «оборотне» признавать Азбергена. Еще он заметил — в глубине юрты металась Хансулу, что-то собирая в узел.

— Узнал? — рыкнул Азберген, заросший черной бородой. — Пикнешь — вот нож, прирежу на месте, щенок!.. Где лошади Пахраддина? — Он сжал глотку Козбагару так, что тот захрипел. Отпустил немного: — Ну!

— В Тугискене... с восточной стороны... — пролепетал Козбагар.

— Не врешь? — Азберген опять сжал горло.

Круглая, как чаша, физиономия Козбагара побагровела. Закашлявшись, замотал головой.

— Слушай, щенок! Пока я жив, Хансулу для тебя — нет! Видал?

Азберген опять покрутил ножом перед его носом.

Острое лезвие ослепило Козбагара.

— Азеке, не убивайте! Все исполню... что велите!

— Дай Хансулу талак!

— Что-что? — не понял сразу Козбагар, что речь идет о разводе.

— Талак, скажи, отца твоего...

Козбагар залился слезами:

— Но как же, я только женился... я даже...

— Говори, щенок, а не то...

— Талак, ойбай, талак! — зачастил Козбагар, глотая слезы.

— Вот и добренько! Теперь она тебе не жена. Ты ее отпустил. Понял? — С этими словами Азберген засунул ему в рот полотенце, связал руки и ноги. Напоследок пнул от души в зад.

Пока Козбагар, опрокинувшийся к ним спиной, лил беззвучно слезы, Азберген с Хансулу перевернули все в доме, возясь с узлами. Потом они ушли. Козбагар боялся и пошевелиться. Так и пролежал до рассвета.

Утром повыскакивал из юрт народ — стали тундики открывать. А у молодоженов — тихо. Торка приковыляла невестку будить: как же, заспалась, не положено.

— Келин, а келин! — позвала она сноху.

Ответа не последовало. Тогда старуха заглянула внутрь. Сын, посиневший, с кляпом во рту, связанный по рукам и ногам, валялся на полу у порога, а за занавесом — о боже! — супружеская постель молодых пуста. Не было келин!

— Ойбай! — вскричала она, поворачивая обратно. — Украли! Украли! — и понеслась куда глаза глядят.

— Что там еще спозаранок? — всполошились люди.

— Ойбай! Украли! Убейте меня, украли! Враг напал, ойбай!

— Какой враг, мать, ты в уме?

— Ойбай, мальчик там связанный! Ойбай, живой или мертвый, не знаю! Ойбай, келин нету! Это что — не враг, по-вашему?

Все в испуге бросились к юрте. Первым вошел Шеге. Занавес был откинут. Постель разобрана. Хансулу нет. На полу — связанный Козбагар. Стонет. Живой, стало быть.

Как только Козбагара развязали, он, захлебываясь слезами, ночную историю и пересказал. Торка, не выдержав, обняла его:

— Не плачь. Пропади все... И баба эта пропади! Сам зато живой! — а потом запричитала: — Проклятие твоему роду, бандит! Радовались мы, что пропал ты с глаз, вражина! А ты, выходит, рыскаешь тут рядом волком голодным. У-у, отродье!..

Шарипа в ауле не было. Уехал вчера на собрание в новый район. Булыш мог бы погоню устроить, он один в ауле

на это способен. Но и его нет. На охоте. Потолкались люди у юрты, да так и разошлись, ничего не предприняв.

— Свой, выходит, дядя и украл, — утешили они Торку.

— Не горюй. Побушует — отойдет. Привезет племянницу. Что ему с ней делать?!

3

Лето нынче выдалось жаркое. Стоит солнцу выглянуть, горизонт маревом окутывается. Завихриваясь, смерчи окрест пробегают. Степь с выгоревшей повсюду травой вот-вот, кажется, займется пламенем. Зной обжигает лицо. Скотина день-деньской на озере — иного избавления от пекла нет. Псы, разморенные жарой, бродят по аулу в поисках тени. Аул, считай, до полудня и живет — люди с утра чиевые плетения собирают, стригут верблюдов, вьют арканы, зерно на ручных жерновах перемалывают, а затем, как припечет, валятся бездыханно в юртах.

В один из таких дней в самый, полдень со стороны речки Жем Шарип на своем куцехвостом гнедом показался. Один-одинешенек. Под головным убором— огромный белый платок. Едва видать-то его в седле — как сова на суку. Лошадка под ним кое-как ноги передвигает.

— Алакай, коке! Коке! — распищались пять девчонок Шарипа, завидев отца, и побежали навстречу.

Из-под пологов юрт высыпали соседи. Шарип — неизвестно почему — молчалив. Взял на лошадь младшенькую дочь, ласково принюхался к нежненькому личику. Что-то дал ей. Конфет, наверное.

Пахраддин, наблюдавший за ним из собственной юрты, отметил: «Что-то, видно, случилось».

Шарип завалился спать. Домашним сказал, голова болит. К чаю только и встал.

— Сношенька-то наша, Хансулу, сбежала, — поспешила объявить Жайбаскан, приступая к аульным новостям.

Шарип чашку пригубил — замер, уставился круглыми глазами на жену:

— Как сбежала?

— Ну как? Азберген выкрал.

— Поделом! — выдохнул Шарип, и его рыжие усы встопорщились.

После двух-трех глотков чая у Шарипа, полулежавшего на подушках, мелкими капельками проступил на лбу пот. Соскучился, значит, по домашнему чаю. Голос старухи Торки раздался неожиданно, она бушевала, как обычно, на ходу:

— Погоди, бандит, богом проклятый! Уж я-то позабочусь, чтоб тебя упекли! Пусть иначе имя мое сгинет!

Прихрамывая, переступила порог. Некстати посещение старшей сестры, не по душе оно Шарипу.

— Эй, — накинулась она на него, даже не поздоровавшись. — Этот бандит доконал! Если правда, что ты бласты, доставь его, бандита, ко мне, по рукам и ногам связанного! — с этими словами она замолотила костлявыми кулачками по шкуре, на которую опустилась.

Шарип, не отрывая глаз от кулачков, молотивших шкуру, продолжал прихлебывать чай так, будто оглох. С явным удовольствием пил. Раскраснелся. Когда Торка успокоилась, по карманам стал шарить. Обе женщины уставились на него немигающими глазами. Через некоторое время он достал донельзя мятую тряпку, бросил ее сестре. Это оказался мешочек, в котором он хранил печать, ту самую, круглую, со стопу верблюжонка.

— Ойбай! — испугалась Торка.

— А где печать?

— И верно, где печать? — переспросил Шарип издевательски.

— Э, если ты не знаешь, где она, нам почем знать? — подала голос Жайбаскан.

— Надо знать. Плохо, что не знаете, — и Шарип, прикусив сахар, шумно потянул чай. Всем видом он давало понять, что разговор окончен.

— Э, вдарил, значит, боженька, прямо по макушке, — заключила Торка. Ни злости, ни осуждения в ее голосе не было.

Тяжело поднявшись, побрела она к порогу, еще сильнее припадая на ногу. Молча скрылась за дверью.

4

Сбылось предположение Пахраддина — случилось то, чего Шарип боялся: освободили его от должности председателя аулсовета. Поставили в вину, что с баем якшает-

ся, в родственную связь с ним вступил, и что, будучи аулнаем, дал ход беспорядком в ауле — позволил порезать много скотины для свадьбы. Пахраддин совершал утренний намаз, когда рядом с юртой, почти у самых стен, простучали конские копыта. Он повел глазами в сторону шума: кто это, дескать, проявляет неуважение, у самой юрты на коне резвится?

Сырга тихо выскользнула из юрты.

— Би-ага мне нужен! — крикнули снаружи. — Прказ из района!

Пахраддин, собрав жайнамаз — молитвенный коврик, встал, раздраженный. Привычный ритуал нарушился.

— Тебя просят, — сказала Сырга, появившись. — Старший сын Лиса Курена. Ждахай.

— Что ж он в дом-то не пройдет, как люди?

— Занятый человек. Сумка на шее...

Накинув чапан на плечи, Пахраддин вышел, а там на рыжем жеребце — полноватый малый с круглыми совиными глазами. Пожирает, можно сказать, бия начальственным взглядом.

— Ассалаумалейкум, би-ага! Прказ из района! С вас налог!

— Говори!

— Сто двадцать килограммов шерсти, шестьдесят — сливочного масла, восемьдесят бараньих шкур. Срок... — Слово «срок» Ждахай произнес по-русски. — Одна неделя.

— Кто будешь-то теперь?

— Агент по сбору налогов! — Юноша приосанился. — Вместо Килыбая. В положенное время не сдадите — запомните, в КПУ ваше дело рассматриваться будет!

Пахраддину не понравилась нахрапистость юноши.

— Сын Лиса, эй, ты давай не кричи! — осадил он его. — Не глухие мы. Слышали. Не КПУ, а ГПУ говорить надо. Сумку, гляди, не потеряй!

— А вы зря сердитесь, би-ага! — понеслось ему вслед. — Ваши дела рядом с Жарасбаем, Улманом, Мажаном — раз плюнуть! Уж кто загинается, так они! Ха-ха-ха!..

Ждахай вспугнул всех аульных собак.

5

Пахраддин еще выплачивал налог, когда объявилась Красная юрта. Она встала в ауле Мажана, и с того дня,

считай, не прекращалось там веселье: каждый день музыка, молодежные гулянья. Алтыбакан[1] между двумя аулами соорудили, патефон рядом надрывался, кружа голову молодым. И — что ни день — собрания, собрания, собрания... Рассказывали, что на собраниях обо всех новостях в мире сообщают, журналы читают, концерты показывают. Раньше-то концерты разве что в городах увидеть можно было — на ярмарках, к примеру, а теперь — пожалуйста, в ауле смотри! Говорили, в Красной юрте есть «догдыр», который от всех болезней лечит... На собрания звали бедняков. Баи, муллы и влиятельные аксакалы не допускались.

Хозяином юрты был Асан Айтжанов, большевик, который некогда ставил Шарипа аулнаем. Он и тогда, в свой первый приезд, игнорируя Пахраддина и Мажана, только по беднякам и ходил, демонстрируя лишний раз аулчанам, какой он убежденный большевик. И сейчас такую свою политику он продолжал. На первом же собрании заявил, говорят, что первой задачей Советов на пути к новой жизни является «избавление аулов от баев и мулл», которые, дескать, противники нового. Кто-то, говорят, из собравшихся полюбопытствовал тогда:

— Баев и мулл уничтожим, хорошо, а дальше что?

— Дальше? Конфискованное байское имущество и скотину между бедняками поделим. В товарищества объединимся. Одной семьей заживем. Землю вспашем, сеять будем. Домов понастроим, потому как на земле осядем, кочевать не будем. Учиться начнем, знаний набираться. Большие города возведем. Новая жизнь, новая культура... Эх, товарищи, грандиозные планы у нас впереди!..

Райское существование на словах обещал Асан Айтжанов. Молодые захлопали, довольные, — очень уж красивая картина перед ними вырисовывалась, а вот кузнец — длинный Уап, пастух Каукаш и табунщик Жанбырбай этими обещаниями почему-то не удовлетворились.

— Послушай, браток, — сказали они, вставая втроем. — Зачем мы тебе, старые? Нам ли в земле ковыряться, когда и до могилы недолго? Мы уж как-нибудь дедовским ремес-

---

[1] Алтыбакан — качели на шести столбах-опорах.

лом прокормимся, скотину попасем, покочуем малость. Город твой не для нас. Мы вот в плохонькой юрте родились, дай нам там и помереть. Не тащи нас в город...

Ждахай, говорят, выкрикнул:

— Кто хочет, пусть подыхает в юрте, а мы в городах жить будем!

И молодые, говорят, его бурно поддержали.

Асан Айтжанов сделал старикам замечание:

— Бросьте, аксакалы, назад пятиться!

А потом, говорят, такие стихи в толпу бросил — вроде как лозунг:

Бедняки и батраки,
Вперед идите!
Мулл и баев, как овец,
Камчой гоните!

Эти стихи молодые в тот же миг наизусть выучили. И пошло с того дня: каждый сопляк их в ауле долдонит, в кости дети играют или еще во что — на устах у них эти строчки. До утра, считай, с куплетом этим носятся.

В окрестных аулах про песенку прознали. Пастухи и батраки и даже бабы-доярки — дома они или в поле — мычат теперь:

Бедняки и батраки,
Вперед идите...

Многое слышит и о многом размышляет Пахраддин. Сам с собой. Наедине. Ни с кем не общается. Избегают его люди. В немилости бий у власти...

Давно, ох как давно предполагал он такой оборот событий! В восемнадцатом году, помнится, первых крупных казахских баев взяли. Тогда еще он беду чуял. Что, как говорится, с быком случилось, будет и с телком... Нет, не заблуждался он, как некоторые, не искал спасения ни у алашей[1], ни у Белова, не поносил на чем свет стоит большевиков. Нутром, подспудно ощущал справедливость новой власти, сумевшей смести с трона царя. Он поверил в

[1] Алаши (Алаш-Орда) — политическая партия, организованная в июле 1917 года в Оренбурге.

гений Ленина. Еще тогда понял, что организовывать партии и махать дубинкой ни к чему. Новая власть обещала равенство всем угнетенным, такая политика его поражала, но в то же время позволяла думать, что сила, на которую опираются большевики, — воистину великая сила. Не мог он утверждать, что дело большевиков не правое. На его глазах оно набирало силу день ото дня, нарастало, накатывалось на степь с энергией потока, который невозможно было остановить. Он дошел до осознания революционных событий в степи сам, он принял Советскую власть как справедливую власть. Душой принял. Поддержал. Не пожалел для Советской власти ни скота, ни добра...

И вот — та беда подступила вновь.

...Бедняки и батраки,
Вперед идите!
Мулл и баев, как овец,
Камчой гоните!

Полог юрты откинут, из-за решеток кереге Пахраддин глядит на степь, простершуюся далеко-далеко, унылую, бескровную; слезы в зрачках застыли, давно он так сидит. Взвихрившийся смерч метнулся в одну сторону, в другую, потом понесся к горизонту, туманному, плавящемуся от марева. Откуда он, этот вихрь? Куда несется? Не он ли, Пахраддин, этот вихрь, гонимый ветром? Что с землёй, на которой некогда он чувствовал себя хозяином? Что с людьми, на которых некогда он мог положиться? Одному богу известно, что с ним сделает буря, поднявшаяся в степи...

— Сокол мой, — тихо произнесла Сырга прямо за спиной.

— Ау! — откликнулся он. Голос дрогнул. Не обернулся. Постеснялся слез.

Всю жизнь Сырга, верная супруга, угадывала его состояние по одному, как говорится, движению бровей, и сейчас свою чуткость проявила — неназойливо, деликатно. «Сокол мой...» Только он, Пахраддин, мог понять такое ее обращение — она изливала к нему свою любовь как к главе семьи, доброту собственного сердца, болевшего за него как за ребёнка, большого ребенка. Понимала Сырга, каково

Пахраддину сейчас, одинокому среди людей. Бесценная подруга Сырга! Отрада жизни — Сырга! Старшие братья — ушли. Младший брат — ушел. Дочь — ушла. Не ушла его единственная любовь — Сырга...

Сырга присела рядом:

— И я, глядя на тебя, расстроилась. Не надо, не изводи себя. Переживем как-нибудь что судьбой назначено, — она припала лбом к его широкой спине. — Э-эх...

Пахраддин вырвался из плена одиночества к той, чьего доброго участия он жаждал более всего; его объятия встретились с объятиями любимой; душа, истосковавшаяся по теплу любви, растаяла в супружеских ласках. Прижавшись лицом к омытому слезами красивому овальному личику жены, он не сдержал рыданий, не сумел сдержать.

— Да что ты? — испугалась Сырга.

Пахраддин никогда не показывал своей слабости. Могучие плечи дрожали, как осока на озере под волной. Молчалива Сырга, но уж если заговорит — заворожит серебряным голоском; столько в нем сердечного расположения. Сердобольностью она и покоряла. И сейчас — покорила. Ее милое, покойное лицо светилось от нежности, такая же нежность была в словах. Улыбнулся Пахраддин, будто про что-то вспомнил.

— А ведь народ — дурак, — говорит. — Скотину у Пахраддина пересчитывает — бай он... не бай. Вот же непонятливые! Того ведь не уразумеют, что все его состояние — дома, его байбише, а?

Черные, как ночь, глаза байбише лукаво блеснули, обнажились в улыбке белые, как снег, зубы, ударила в щеки кровь, они залились маковым цветом. Она склонилась над мужем, рассмеялась, точно колокольчик малиновым звоном рассыпался.

— Гляди, — сказала, — услышит кто — конфискуют твою байбише...

6

Нынешнее лето было особенным. Не такое оно, к какому народ привык. Когда-то лето было долгим, не виделось ему конца. А теперь только рассветет, глядишь — и вечер.

Разговоров много нынче, шуму, за ними не замечаешь, как день пролетает. Всюду активисты пылят, молодые да отчаянные, некоторых из них комсомольцами кличут. Народ-то не знает, что это такое, смотрит на них более настороженно, чем на активистов, — государственные люди, думает. Для народа все, кто на коне, — государственные люди. Уж кого в последнее время много, так это государственных людей. Попробуй упомни, кто есть кто.

Шеге, Ждахай, Козбагар, Балжан и другие молодые, те, что ни одного вечера в Красной юрте не пропускают, те, что всегда с большевиком Асаном Айтжановым тоже в один прекрасный день стали комсомольцами. Торка по случаю того, что ее Козбагар — «комсомол», все юрты в ауле обошла, сообщая новость. При этом она неизменно приговаривала:

— Вот вам! Не шути с батраками!

Молодые люди обрели вес. Идет, скажем, тот же Козбагар, теперь уже не батрак, а «комсомол», так «осколки старого мира», наподобие Пахраддина, дорогу ему уступают. И поют-то что комсомольцы:

Ты, батрак, был бос и сир,
А сегодня, твой он, мир.
Если вспашешь землю, знай.
Заживешь, как тот же бай...

«О, бог-искуситель! — удивленно поцокивают языками старушки. — Довелось нам и новую молитву услышать...»

Заведующий Красной юртой большевик Асан Айтжанов сошелся с молодыми так, что те теперь жизни без него не мыслят. Все-то он, Асан Айтжанов, знает, все перевидел: в шестнадцатом году окопы рыл, в русско-германской войне участвовал, в неслыханных городах был — Москве, Петрограде; в двадцатые годы в Хорезме с басмачами хана Жонейта сражался; встречался, если это было правдой, с Кировым, Калининым и нынешним заместителем Сталина Тураром Рыскуловым; до прибытия сюда в столице Казахстана Кзыл-Орде с революционером Сакеном Сейфуллиным познакомился. Такая биография и такие знакомства возвышали Асана в глазах молодых, он для них что пришелец с

Луны. Личность для аула необыкновенная, и рассказы его столь же необыкновенны. Под влиянием Асана и Шеге както выступил на собрании. Впервые. Вот как он начал свою речь:

— Настало время, когда старое под корень надо рубить! Без этого мы и шагу вперед, к новой жизни, не сделаем! Прошлое опутало нас по ногам!

— Ойбай! — не выдержала языкастая молодуха. — Глядите-ка, еще один Асан выискался!

Насмехалась она над парнем. И в самом деле, сказанное Шеге проповедовалось каждый день Асаном. Смешался юноша, а потом и добавил — от себя:

— Вот равенство женщин. Где оно? У женщины, говорим, все права, а сами Хансулу всем миром замуж выдали за человека, которого она не любит. Какое после этого равенство, а?

— Милый ты мой, да кто же на ней женился-то, да еще по старинке? Не комсомол ли твой? — дала подножку та же молодуха, выразительно скашивая глаза на Козбагара в президиуме. Тот стал пунцовый, обеспокоенно зачесал затылок.

— Товарищи! — поправился тогда Шеге. — Козбагар дал слово на прошлом собрании, что не будет больше по старинке жениться, по наущению аксакалов...

Хохоту было! А потом подремывавший на собрании милиционер Бухарбай поднялся, спросонья зачитал список «табарышей», у которых имелись ружья; всех перечислил, никого не забыл. Раз уж речь о ружьях зашла, люди перестали смеяться, начали переглядываться, а Бухарбай — уже без бумажки — пояснил:

— Приказ из центра — ружья сдать! Такой порядок!

Строгость на себя напустил — проспался, видно. Сообщение, что надо сдавать ружья, ни у кого энтузиазма не вызвало. Встал кузнец Уап. Уголки его губ, как всегда, когда он волновался, подрагивали.

— Что я хочу сказать? — начал он. — Власти спасибо. Поддерживает она нас. Хорошо это. Но ведь, ружье положено в доме иметь, разве нет? Скотину от зверя защищать... басмачи, говорят, в Каракумах. А если прискачут? Палкой, что ли, отбиваться? — Уголки его губ задергались еще сильнее.

— Верно Уап говорит! — поддержали его.

— Кто мы без ружья?

— Не дадим!

Бухарбай не дрогнул, глаза его обрели осмысленное выражение.

— Граждане, перечисленные в списках, — он сделал ударение на слове «списки», — после собрания сдадите ружья! Такой порядок!

В тот день народ, решив «не ссориться с начальством из-за ружья», понес имевшееся оружие в Красную юрту. Ослушались «прказа» трое сыновей Мажана и Булыш из аула Пахраддина.

— Не можем отдать оружие, — буркнул Булыш Бухарбаю, когда тот явился к нему домой.

Шкуру попавшего вчера в капкан молодого волка обминал охотник, большая была шкура, в полтора обхвата.

— Булыш-ага, порядок требует, — начал было объяснять Бухарбай, но Булыш, темнея лицом, перебил его:

— Ничего против порядка не имею. Но все знают, что я — охотник. Ружье, которое меня кормит, я, повторяю, никому не отдам. Так же, как и коня под собой и гончую, которая помогает в охоте.

— Но, Булыш-ага, порядок требует...

— Эй, сын Игенсарта, — забасила из юрты Дау-апа. — Чтоб ты провалился со своим порядком. Какой это порядок, когда у охотника ружье дозволено отбирать?! Не будет тебе ружья! Так и скажи где надо — Дау-апа не дает. Пусть голову мне срубят, коли могут, а ружья им не видать!

На том и закончился разговор. Бухарбай, не проронив более ни слова, молча сел на коня и поехал со двора. Не один Бухарбай, вся округа знала, что значит иметь дело с матерью Булыша — Дау-апой. Рассказывали, в молодости она наравне с мужчинами участвовала в походах. Запрячет косы под шапку — и в бой! Из воинственного подрода кунанорыс в роду адай происходила она. За отца Булыша — охотника Аршу — вышла против воли братьев, сбежала с ним. В 1916 году взяли его в солдаты, а потом он пропал без вести. На долю молодой матери с малолетними детьми выпал голодный 1921 год. Двое сыновей — тринадцати и двенадцати лет — погибли в тот год от оспы. Оставшаяся

без крова, без хозяйства, Дау-апа отправилась вместе со старшим сыном Булышем в поисках ремесла в Ой. По пути пристала к торговому каравану. На базаре в Коныpате повстречалась с туркменским баем и нанялась к нему в погонщики верблюдов. Звали бая Пиримкул. Обещал он Дау-апе за работу по верблюду в год. Два года мать с сыном пасли байских верблюдов, а потом решили вернуться на родину и попросили у бая расчет. Тот выбрал им в табуне паршивого годовалого верблюжонка и старую облезлую верблюдицу. Не вдове же и мальчику несовершеннолетнему оспаривать оплату? Погрузили они свой немудреный скарб на верблюжонка, а сами на верблюдицу взобрались и отправились восвояси, проклиная скаредного бая. После дня пути поднялись на Устюрт. За Устюртом — безграничная казахская степь. Остановилась тут Дау-апа, что-то, видать, задумала. Опустила верблюдов на колени, велела сыну сгружать поклажу. Булыш удивился — что, дескать, мать на голом каменистом плато нашла? А она ему и говорит:

— Не сдвинусь с места, пока не посчитаюсь со скупердяем! Лучше подохнуть тут, чем на паршивом верблюде возвращаться! Ступай и возверни проклятому Пиримкулу то, что он нам дал. Отберешь двух хороших наров в табуне и пригонишь сюда, если ты мне сын!

Булыш, не сказав ни слова, взял ружье и потрусил назад на паршивом верблюжонке. После полуночи, как велела мать, пригнал он двух здоровенных наров с горбами в сундук. Тогда, говорят, и сказала Дау-апа, повеселев:

— Вот теперь, сынок, можно ехать!

Эта история как свидетельство одного из многих подвигов отважной Дау-апы переросла в легенду. Знал эту легенду и милиционер Бухарбай, потому не стал вступать в пререкания с Дау-апой, резонно посчитав это занятие напрасным. Но в самом центре списка граждан, уклонившихся от сдачи оружия государству, согласно решению Ханторткилского аулсовета, крупными буквами значилась теперь фамилия Булыша — Аршаулы.

7

Начало осени ознаменовалось еще одним великим потрясением, имя которому — «конфискация», а на языке

степняков — «кампеске». Шла она с Басоймаута, Ортаоймаута, Сарыбая, Донызтау и скоро, говорили, придет в Ханторткил и Тугискен. Слухи опережали один другой — того «конфисковали», этого... Подробности, сопровождавшие слухи, были ужасающими: рассказывали, что солдаты отнимают все, вплоть до последней нитки, и баев арестовывают и ссылают в Темир. И еще много чего рассказывали — дескать, конфискация и бедняков коснется и что у них все отберут, паршивого козленка на дворе не оставят; что все станет общим — и добро, и хозяйство; что все под одним одеялом спать будут, из одного казана кормиться и что бабы общими станут, по принципу: «Мая — тыбая, тыбая — мая...»[1]. Эти слухи распространялись со скоростью степного пожара, аулами овладел страх. Муллы и баи знай масла в огонь подливают. Многие аулы обратились в бегство. Вместе с баями ушли и подпавшие под их влияние бедняки.

В один из таких дней в закатный час, когда на землю легли длинные тени, люди в ауле Пахраддина, попрятавшись в своих домах в ожидании тревожных вестей — это в последнее время вошло у них в привычку, — услышали конский топот. Чутко прислушивающиеся к каждому шороху извне, люди хлынули наружу. Из аула Мажана мчался всадник. Что-то он им несет? Конник ворвался в аул возбужденный, им оказался Ждахай.

— Эге-ей, люди, слушайте меня! — прокричал он с ходу. — Все как один туда давайте! — и рукой в сторону мажановского аула махнул. — Кампеске будет! Мажан кампеске будет! Кам-пес-ке-е! Все на митинг!

Такое это слово было — «кампеске», что люди потихоньку в аул Мажана потянулись интересно же посмотреть, как это все происходит. Кто на коне, кто пешком, даже дети и старики не удержались; первой среди любопытствующих, припадая на ногу, ковыляла Торка. И Пахраддин на своем вороном со звездочкой во лбу жеребце поехал. Последним поехал.

Аул виднелся с подъема. Оживление чувствовалось издалека. У Красной юрты с красным флагом — тьма

---

[1] «Мая — тыбая, тыбая — мая» — искаж. от «Моя — твоя, твоя — моя».

народу. Вереницей выстроились подводы с впряженными в них лошадьми. Детей — как муравьев в муравейнике. Перед аулом — множество скотины; пыль зависла над отарами овец, косяками лошадей и верблюдов. Беда, которой страшились люди, пришла. Содрогнулся Пахраддин. Слышал он, что крутые меры, принимаемые Советской властью, касаются лишь тех баев, у которых количество крупного рогатого скота превышает цифру 300. У него на дворе с десяток верблюдов да овец с сотню, с таким поголовьем он еще мог избежать конфискации.

Когда народ подошел, на одну из телег забрался большевик Асан Айтжанов. Он зачитал декрет КазЦИКа о конфискации байского имущества. Пока Асан читал декрет, люди поднялись на телегу. Среди них новый председатель аулсовета Лис Курен. Конечно, он не Шарип, он соответствует должности аулная — и речь у него складная, и голос мягкий.

— Товарищи! — сказал он. — Мы сегодня предоставим слово товарищу Кошекбаеву Каукашу, батраку, который всю жизнь свою провел на пороге бая Мажана Утешева, нашего классового врага!

— Табарыш Кошекбаев? Кто это? — не поняли сначала в толпе.

Кто-то хохотнул:

— Каукаш?!

И тут же посыпалось:

— Ау, табарыш Кошекбаев, где ты?

— Эй, да что копаешься, выходи!

— Говори, раз просят! И твой час пришел!

Неказистый маленький человечек в толпе передал повод верблюда соседу и засеменил к арбе. На ходу старую шапчонку к голове прижимает, из нее клочьями лезет вата. Смешки не утихали. Подойдя к арбе, Каукаш остановился, повернулся к народу.

— Товарищ, на арбу, на арбу! Пусть народ вас видит! — предложили ему.

Долго карабкался Каукаш, не мог залезть, и Асан ему помог, поддержав под мышки. Очутившись на одной высоте с начальством, Каукаш оробел и съежился, как

старая высохшая шкура, глянув на толпу, замершую выжидательно, осклабился. Остряки не унимались:

— Ойхо-ой, Каукаш выступает...

— О-о, с Каукашем не шутите!..

Асан участливо глянул на молчавшего оратора:

— Ну, товарищ! Твое слово — слово народа. Как ты смотришь на декрет КазЦИКа? Про это и скажи.

— Кха-кха! — прокашлялся Каукаш. — Сказали, выступать будешь... кха-кха... хотел шапку вчера залатать... кха... пошел к байбише Мажана...

— Ай, чтоб пронесло тебя, Каукаш! При чем тут шапка?

— ...пошел, а Жамал-байбише... кха-кха... в сундуке роется. Сказал, зачем ниток мне надо... кха-кха...

— Говори-говори, товарищ Кошекбаев! — кивнул Асан Айтжанов, подбадривая.

— Попросил я, значит, ниток, а байбише — дай, говорит, шапку. Дал я. А она взяла да и швырнула шапку через порог.

— Пропала бы и шапка твоя, и ты вместе с ней! — вскипел Шарип. — Ты давай про кампеске говори, на кой твоя шапка! Согласен ты с политикой правительства или не согласен, вот про это и скажи!

— Согласен... что там говорить... Только... только... кха-кха... завтра бай Мажан вернуться ведь может... кха-кха... Как бы он потом... Ой, пропади она, байская скотина, намаялся я с ней. Мне бы теперь с десяток овечек... своих... кха-кха!

— Товарищ Кошекбаев, минуточку! — оборвал батрака Айтжанов. — Ты напрасно боишься. Не надо народ стращать. Решит собрание, что надо бая со всем его семейством гнать отсюда в три шеи — прогоним! И назад ему возврата нету! Ты, товарищ Кошекбаев, конкретно изъясняйся. Подлежит бай Мажан конфискации и изгнанию или не подлежит?

Мажан с байбише сидели на видном месте, перед арбой. Тоже ждали, что он скажет, прямо-таки в рот ему заглядывали.

— Говори же! — подтолкнул его сзади Лис Курен.

— Э... пусть ссылают... — обронил Каукаш. — Власти правы. Власти, наверное... кхм... ничего зря не делают...

Зашумел народ. Кто-то Каукаша поддержал, кто-то обругал последними словами.

Жамал-байбише горько запричитала. Полная, как надутый бурдюк, с трудом поднялась и, подперев бока руками, повернулась к Каукашу:

— Пусть тебе аукнется мой хлеб, Каукаш!.. Пусть аукнется!.. Чем я провинилась-то, ойбо-ой!..

Каукаш обратился в жалкий бессловесный комочек плоти, не ожидал он подобного от байбише. Глянул со страхом на начальство.

— Молодцом! — ободряюще улыбнулся худой Асан, еще и по спине похлопал.

Только тогда Каукаш и успокоился.

Лис Курен между тем спрашивал, вглядываясь в толпу:

— Кто еще желает сказать?

— Я желаю сказать! — откликнулся Ждахай, энергично пробираясь сквозь ряды. — Я скажу!

— Хорошо. Слово желает сказать Ждахай. С малых лет гнят пас у нашего классового врага бая Мажана. То есть, я хотел сказать, бывший батрак. Член комиссии по конфискации.

Плотный, коренастый Ждахай легко, с расстояния вспрыгнул на арбу, как барс. Глаза сияют, волосы, на макушке ежиком встали. Кулаки сжаты. Взял с места в карьер:

— Да здрабстбит реболюсия! — прокричал он по-русски, воздевая кверху обе руки. — Да здрабстбит реболюсия, — повторил он и продолжил по-казахски: — Мстящая баям за нас, батраков... за таких вот, как Каукаш!

Те, что на арбе, захлопали. А в толпе стали приглядываться — озадачены люди выпадом молодого оратора. Один Шеге в задних рядах подхватил:

— Да здрабстбит реболюсия!

Какой-то старик вполголоса выдохнул:

— О создатель, сохрани!

Другой пробормотал:

— Дай, господи, чтобы все добром кончилось!

Ждахай между тем не умолкал:

— Мало это — добра их лишать! И ссылать только — тоже. Они и там устроятся. Прав Каукаш — оставь их в

живых, так они, ей-богу, припрутся и с нами, несчастными, посчитаются. Нет, вы не смейтесь! Посчитаются. Это уж точно. Так что этих людей жалеть не надо. Руки-ноги связать и на веки вечные — в железную клетку! Вот так!

— Ой, чтоб рту твоему поганому на затылке оказаться!.. — завелась байбише Мажана. — Чтоб ты околел, чтоб тебе потомства не видать, выродок!. — Женщина в отчаянии замолотила по земле руками.

— Прекратите шум! Постановление читаться будет! — объявил тут Лис Курен, усмехаясь, и углубился в большой лист перед собой.

— Читай-читай! Слушаем! — раздалось в толпе.

Лис Курен стал читать:

— Общее собрание аула бедняков и батраков № 5 при Хантортки́лском аулсовете постановляет... Первое. Мы на своем собрании рассмотрели дело крупного бая в нашем ауле, нашего классового врага Мажана Утешева. Бай из баев Мажан. Потомственный эксплуататор, как и все семь поколений его предков, сосал кровь трудового народа. По этой причине все его имущество и скотина конфискуются, а сам он с семьей высылается, с условием, что в бытность живым сюда обратно не вернется. Второе. Под началом местного аулсовета живет еще один наш классовый враг. Это — Пахраддин-бай, отец которого в царское время был баем. Нынешнее количество наличного скота не позволяет его считать баем, потому его следует причислить к кулакам. Скотина и имущество у него тоже конфискуются. Но, учитывая то, что он по своей воле помогал Советской власти лошадьми и мясом, то есть был кулаком безвредным, то его от ссылки в чужие края надо освободить. Такое вот постановление, товарищи! — заключил Лис Курен, поднимая голову от бумаги. — Да, товарищи, еще внимание! Среди нас есть человек, который и не бай, и не кулак, и не бедняк, как это Советская власть понимает. Этот человек — прихвостень. А кого мы, товарищи, называем прихвостнями? Тех некоторых, что до сих пор нашим классовым врагам прислуживают...

— Кто это? Называй-ка, не жалей! Ну! — разверещался, как всегда, любопытный Шарип.

— А вот ты и есть прихвостень! Ты, Шарип! Не ты ли в сваты к Пахраддину набивался, вот ты и прихвостень!

— Что-что? Эй! — не разобрался сразу что к чему Шарип. — Повтори-ка!

Толпа, разгудевшаяся было как пчелиный рой, притихла, почувствовав, что назревает скандал. Лис Курен, приторно улыбаясь, сказал:

— А что, неправда, что ты в сватах у Пахраддина был, лизался с ним, на чапан зарабатывая? А после этого в грудь себя бьешь, что голяк ты...

— Эй, эй, Лис! Ты... ты чего мелешь?! — сорвался на визг Шарип. Выбежав вперед, он, по обыкновению аульных ораторов, сорвал с головы шапку и швырнул ее оземь. Пыль взметнулась облаком.

Лис Курен вздрогнул. Люди затаили дыхание.

— Я, стало быть, прихвостень?! Да я всем дедам твоим каражановским косточки пересчитаю, оборотень! Не ты ли все дела мажановские на базарах обстряпывал, людей дурил, бая своего ублажая? Оттого ты и Лис. Ты-то чего от голяков заговорил, душа твоя продажная, торгаш копеечный?! Да, был я в сватах у Пахраддина, Верно. Но не бай он, середняк. Почему ты это утаиваешь, сучья лапа?!

— Спокойно, спокойно, Шарип-ага! — призвал к порядку бывшего аулная Айтжанов.

Лис Курен невозмутимо заметил:

— Вот, скажи людям правду — не угодишь.

Два милиционера, Бухарбай и Жекей, взяв Шарипа подмышки, куда-то поволокли.

— Пустите, — рвался Шарип. — Вдарю я ему, твердолобому, по роже его наглой! П-пустите!

— Табарыш, не мешайте собранию!

Проворный Шарип, несмотря на то, что его волокли, сумел стащить с ноги сапог и метнуть его через голову милиционера в Курена:

— Вот тебе за «прихвостня»!

Толстая подошва утяжелила полет сапога; описав внушительную дугу в воздухе, он, как ворон, пронесся мимо виска Курена, чуть задев его. Эффект превзошел все ожидания: Курен и Асан упали — один налево, другой направо. Поднялся веселый шум, Шарипа заперли в Красной юрте. Вопли его не утихали, последними словами честил он Лиса Курена.

Солнце склонилось к закату. Алое-алое оно, и весь аул отливал алым цветом. Митингующие переместились к юрте Мажана. Внушительных размеров, объемная, высокая, она привлекала всеобщий интерес. Конные подводы потянулись туда же. На открытой площадке, где только что проходило собрание, не осталось никого, кроме байбише Мажана, которая, распустив волосы, сидела лицом к закату и плакала.

Ранее других к юрте поспел Ждахай; что-то азартно выкрикивая, он на полном скаку промчался мимо, успев перерезать завязки кошм, сорвать сами кошмы. Оголились гнутые уыки, желтые, не тронутые солнцем и ветром, они— как ребра живого существа. Шеге, скакавший следом, отогнул кошмы шире. Теперь обнажилось целое крыло юрты. Спрыгнув с коня, Ждахай скользнул внутрь. В углу, спиной к нему, бай Мажан рассовывал что-то лихорадочно по карманам; Ждахай, точно барс, кинулся к нему и схватил за руку.

— Ах тварь неблагодарная! — вскричал Мажан, от неожиданности неосторожно двинул локтем, и ассигнации рассыпались. Упал и платок, куда он их заворачивал. Сплошь красные тридцатирублевки.

— Видите, саботаж! — провозгласил Ждахай, произнеся слово «саботаж» по-русски. Это он взывал к собравшемуся народу, опять же, как тогда, на арбе, вскидывая кверху обе руки. Подпрыгнул на месте, довольный тем, что уличил бая. — Видите, какая зараза?! Как он добро-то прячет! На тебе деньги, на! — с этими словами он, захватив горсть ассигнаций, подбросил их кверху под шанырак и сам же их ловил, дурачась.

— Пусть бог накажет тебя, клятвопреступник! — огрызнулся бай, присев на корточки и собирая деньги.

Тут и милиционеры подоспели, схватили бая под руки, подвели к арбе. Мажан с трудом забрался, плача, почти вдвое согнулся. К этой арбе вели и его байбише. Молодые джигиты, которым некуда было девать избыток сил, дали себе волю: стали выволакивать как попало наружу содержимое юрты — сундуки и лари, тюки и узлы. Вещи кидались без разбору, ковры они срывали с петель, ничуть не заботясь, что можно было бы те же, самые петли не рвать,

а просто-напросто развязать; ковры тоже летели в общую кучу. В мгновение ока большая байская юрта опустела. Вдоль стен побежали мыши, напуганные обилием света.

— А с домом что делать? Его тоже кампеске? — под общий смех полюбопытствовал Ждахай. Его возбуждение не улеглось. Да и остальные участники кампании взбудоражены не меньше. Кто-то запел:

Бедняки и батраки,
Вперед идите!
Мулл и баев, как овец,
Камчой гоните...

Под эту песню молодые дружно смели в одну кучу уыки — и шанырак качнулся, верхний, считающийся священным купол юрты; его не успели подпереть столбом, и он с грохотом обрушился вниз. От перекрестных реечек в потолочном кругу юрты и следа не осталось — они раскрошились.

— Пусть бог отвернется от вас! Пусть отольются вам мои слезы!.. — разрыдалась в полный голос байбише.

Вид шанырака, некогда украшавшего юрту, служившего в определенной степени фетишем рода, а теперь разлетевшегося вдребезги, раздробившегося на множество бесформенных осколков, произвел удручающее впечатление.

— Вот она, беда, — вздохнул кто-то.

А какая-то старуха в непомерно большом жаулыке заторопила домой внука:

— Пойдем, маленький, пойдем. К чему нам грех на душу?..

У Пахраддина волосы на голове встали дыбом, когда он увидел, как падает шанырак. Случившееся он воспринял как крушение собственного очага, собственного, благополучия. Все было мерзко — и то, как Мажан рассовывал по карманам деньги в, тот миг, когда решалась его судьба, и то, как зеленый юнец Ждахай поймал его за руку, осквернив тем самым священные традиции предков: не дозволялось младшему хватать за руку старшего, там паче годящегося в отцы, это считалось кощунственным, издревле почитается в народе человеческий возраст, тот жизненный

багаж, который накапливается старшим поколением и служит впоследствии ориентиром для молодых. Не в силах выносить тягостной картины, он кивнул на прощание Мажану, поехал к себе в аул.

Асан Айтжанов, увидев разбитый шанырак, обругал Ждахая. Тот возмутился:

— Асан-ага! А поглядите, что сделали они? — и, задрав рубаху, показал исполосованную камчой спину. — Еще и ребро сломали.

— Прекращай бузотерство!

Худосочен на вид Асан, а в гневе — вулкан.

— Все! Все! Не буду! — покаянно рассыпался Ждахай.

Полумрак сгущался. Комиссия во главе с Лисом Куреном, распределив часть байской скотины между батраками, направилась к байской юрте, где и сосредоточился народ. Здесь кипели страсти — шум-гам. Впервые изгонялся из аула человек, которого все знали, с которым много лет жили рядом. Уходил он в неведомое далеко, уходил безвозвратно. Никто в потемках не обращал внимания еще на одного очевидца этого события — конника, тихо застывшего в седле. Это был Булыш, вернувшийся с охоты с гончей, за плечом — ружье. Еще издали он заслышал долгий, надрывный вопль мажановской байбише и поспешил сюда. Пока Ждахай, Козбагар, Шеге управлялись с байским скарбом, укладывая его на подводы, донеслись крики и из второй мажановской юрты, где жила молодая токал.

— Вон из дому! Во-он! — кричала Балкия. В двери мелькнул подол ее белого платья.

Простоволосая, растрепанная, она решительно выволокла из юрты какого-то здоровяка, намертво в нее вцепившегося. Тот ухватился за стан молодки — не оторвется; безрукавка на высокой груди женщины расстегнута. В здоровяке признали Бухарбая.

— П-пусти! — вырвалась Балкия.

— Ты что, ты против кампеске? — гундосил черный, заплывший жиром Бухарбай, по-прежнему не выпуская из рук женского стана. Он куражился: — Ишь, золотом обвешалась, подстилка байская! Снимай!

Взметнулась высоко белая, усыпанная браслетами и кольцами рука Балкии. Взметнулась и — опустилась на

лицо Бухарбая. Отягощенная золотом рука красавицы нанесла удар точно. Милиционер, охнув, пригнулся, зажал руками нос.

— Так-то, ухажер! — вскинула голову Балкия и поправила волосы, рассыпавшиеся по плечам. Застегнула безрукавку.

Народ хлынул к юрте токал, заинтересованный.

— Что здесь происходит? — начальственно спросил подоспевший Жекей. За неизменно серый цвет лица его уже прозвали Сур Жекей.

— Да стерва эта мажановская... имущество ее хотел кампеске, а она — драться полезла! Саботаж! — хуже прежнего загундосил Бухарбай, объясняя положение и нажимая на русское «саботаж».

— Кампеске, гляди-ка! А кто разорался, не успев войти: а ну, раздевайся, табарыш!

— Э, а что я скажу? Раздевайся. Правильно. Вот, понацепляла, контра! Это ж денег стоит! Кампеске подлежит. Порядок такой.

— Правильно Бухарбай говорит! — поддержал соратника Сур Жекей. — Ну-ка, милочка, ты давай сама вещички эти. Иначе, силой можем, право у нас такое.

— Скотины байской мало, что ли? Что вам за дело до моих браслетов? — не сдавалась Балкия. Разглядела она в толпе, в самом конце, Булыша, сокрытого ночью, осмелела. Ждахай, давно неравнодушный к Балкие, весь извелся, не зная, как ей помочь. Видя, что дело обретает серьезный оборот, помчался в Красную юрту — к Асану Айтжанову:

— Асан-ага! Асан-ага!

А тот и сам навстречу вышел.

— Асан-ага! Там Бухарбай токал мажановскую... ну... как сказать... Асан-ага! Непорядок там!

Когда они добрались, непорядок у белой юрты Балкии действительно был налицо. Мелькало белое женское платье, слышалось сдавленное мужское дыхание — схватка, похоже, завязалась нешуточная.

— Псы чертовы! Кто там? Пре-кра-тить! — возмутился Асан, устремляясь к дерущимся.

— Ойбай! — вскрикнули испуганно женщины.

— Срам какой!

— Безобразие!

Шеге, не выдержав, подскочил к Сур Жекею, готовый ухватить его за глотку:

— Жеке, что вы себе позволяете?!

— Каншай саботаж! — по-русски выкрикнул Сур Жекей, расстегивая кобуру.

— Зве-ерь! — вскричала тут Балкия и расплакалась.

Бухарбай, оказывается, подмял ее под колено, белое женское бедро обнажилось. Срывал он с нее все: бусы, ожерелье, браслеты.

Шум поднялся невообразимый.

Ребятишки толкались тут же, захваченные зрелищем.

— Ойбай! — завопила какая-то баба, отскакивая в сторону.

В круг событий вынесся конник с камчой, которая в мгновение ока прошлась по жирной спине Бухарбая — он по-прежнему обминал под собой женщину. Булыш. Вскочил Бухарбай, но за ворот его ухватили цепкие железные пальцы и, не дав опомниться, поволокли как кокпар[1].

— Ойбай, не трогайте его! — закричал Шеге вслед Булышу. — Не оберетесь неприятностей!

Многие побежали вслед за Булышем. Кто-то позади завопил:

— Саботаж! Саботаж! — и тут же грохнул винтовочный выстрел.

Пуля пролетела над самой головой Булыша. Но он не отпустил Бухарбая. Псы еще увязались, и конь, вспугнутый ими, ушел далеко от аула. Бухарбай хрипел, корчился в железных тисках охотника; только теперь он понял, в чьем он плену, жалобно взмолился:

— Чем я провинился, Булыш-ага?.. — и залился слезами.

— Чем провинился? Ты из здешних сопляков, щенок! Забыл про это? Глаза зажирели, так я жир-то тебе убавлю, а?

— Бу-бу... Булыш-ага... Б-байская токал... что же было делать?

---

[1] Кокпар — туша козла, используемая конниками в одноименной национальной игре.

— Прирежу сейчас, засранец, как козла! Прирежу, сын дерьмовый.

Когда аул остался позади, Булыш придержал коня и так же, за ворот, перевалил Бухарбая вперед: до сих пор бедняга, как тот же кокпар, мотался на боку лошади. Его и без того широкое плоское лицо разбухло, побагровело.

— Кыр... кыр... — хрипел он беспомощно.

— Сучий сын, слышишь? Если хоть пальцем коснешься Балкии, своими руками прирежу! Понял?

Бухарбай закивал головой:

— Кырр... кырр...

— Если понял, не забывай!

Бухарбай терял силы, лицо его стало синим. Булыш, разжав пальцы, брезгливо отшвырнул его прочь из седла. Тот шмякнулся на землю как мешок. А в ауле суматошились люди. Приближались голоса. Булыш растворился в ночи.

Конфискация в ауле Мажана завершилась. В ту же ночь Мажана и его байбише отвезли в Темир. Куда их должны были этапировать оттуда, один бог знал. Балкия с помощью Асана Айтжанова получила свободу, потому за баем не последовала. Сур Жекей и Асан крепко повздорили по этому поводу в ту ночь: Асан обвинил Сур Жекея в левачестве, а Сур Жекей Асана — в байстве. Поголовье Мажана угнали в район.

На следующий день комиссия, возглавляемая Асаном Айтжановым, на нескольких арбах спозаранок выехала в аул Пахраддина.

Пахраддин и Сырга-байбише не спали в ту ночь — выносили за порог добро. Пахраддин, вернувшись вчера из аула Мажана, сказал жене:

— Все, кроме постели и посуды, выноси! Пока не разнесли шанырак, отдадим добро сами, пропади оно пропадом!

Сырга-байбише сочла предложение мужа разумным:

— Пропади оно, ты прав. Главное, сами живы-здоровы...

Комиссия, явившаяся в аул на рассвете — еще и скотина-то не ушла на пастбище, — была изумлена картиной, представшей глазам: перед домом Пахраддина аккуратно уложенными лежали ковры, кипы тканей, дорогие шубы и меха, драгоценности. Пахраддин у порога встречал комиссию.

— Вот, джигиты, — сказал он, — здесь все, кроме смены белья и одежды, а также постельных принадлежностей и необходимой домашней утвари, которую мы себе оставили. Можете войти, поглядеть, — и жестом пригласил Айтжанова войти.

За Айтжановым последовали члены комиссии: Лис Курен, Шеге, Ждахай, Козбагар. Комиссию сопровождали двое милиционеров. Сырга-байбише, несколько напуганная суровым видом вошедших, предусмотрительно отошла к порогу, члены комиссии почтительно с ней поздоровались. Затем они осмотрели юрту. Ничего, действительно, лишнего. Комиссию это поразило. Лишь конское снаряжение с серебряным седлом висело у порога, так его прибрал Бухарбай.

— Ты хочешь, чтобы наш уважаемый хозяин ходил пешком? — упрекнул его Айтжанов.

— Нешауа, — по-русски вместо Бухарбая отозвался Сур Жекей. — Пешком походит.

— Да пусть берет! — не стал спорить Пахраддин.

Небольшой черный ларь стоял под одеялами. Один-единственный. Туда Сырга-байбише сложила оставшуюся одежду. В ларь не стали заглядывать. Вещи, которые были сложены у порога, сначала подробно переписали, затем сложили на подводы. В полдень комиссия покинула аул.

Так аул и пережил долго ожидавшуюся кампанию «кампеске».

АУЛ БЕЖЕНЦЕВ

1

В густом саксаульнике, со всех сторон окруженном барханами, притаился аул. Неприметные юрты, их около шестидесяти. В них нашли укрытие беженцы, скрывающиеся от конфискации, из разных мест. Поселение далеко от человеческого жилья, в песках; сюда, до этой безводной пустыни, и птице с Устюрта не долететь, так что и «государственным табарышам», как полагают люди, нелегко будет добраться.

Судьба пригнала к беженцам и Хансулу. Уже год, как она в ауле. За это время она пережила столько, что уви-

денного с лихвой хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Думала ли когда-нибудь, что испытает подобное?..

Жизнь в родном ауле, в котором выросла, тянулась праздно, без потрясений, как лето, долгое-долгое, по своим традиционным, привычным для степняка канонам. Но нынче все изменилось. Не та стала жизнь; если прежняя, скажем, молоко, то эта, настоящая, тоже молоко, но перебродившее. Испортилась жизнь, как этот несносный ветреный день. Может быть, тот самый конец света приблизился, который старики предсказали?.. Сегодня... разве это погода? Солнце, оранжевое, едва-едва из-за кашицы мглы пробивается на горизонте; лучи, рассеиваемые им, — ясные, но не греют. Зато ветер, промозглый, студеный, чувствует себя хозяином, взвихривается фонтанчиками пыли, теребя гриву саксаульника.

Хансулу на своем Каракере взбирается на очередную ковыльную гряду. На ней — черный плюшевый камзол, схваченный в талии красным пояском, на голове — расшитая позументом тюбетейка с пухом филина, пух клонится по ветру; загоревшее на солнце и ветру личико серьезно, на чуть вздернутой по-заячьи и оттого непередаваемо милой верхней губке, на длинных ресницах — пыль. Печальными глазами смотрит она на пыльный, серый горизонт. Кого, чего ждет — не знает, но ждет. В ту ночь, когда бежала с дядей Азбергеном, так удачно освободившим ее из пут родного аула, она была счастлива; сердце, казалось, разорвется от радости. Она была свободна! Но эта радость длилась недолго. Очутилась среди людей, придавленных страхом, загнанных судьбой в пески, в глазах которых она всегда читала один-единственный вопрос: «А что с нами будет завтра?» Такой это был аул, что и собаки в нем остерегались залаять. И дети шумных игр не водили. Когда очагов в ауле стало больше сорока, вздумалось людям выбирать старшего. Каждый день спорили, орали во все горло. В центре спорящих восседал Азберген, до того мрачный, что его густые мохнатые брови сходились на переносице в одну сплошную линию. Поглаживая бритую, в сизых складках голову — чем-то она Хансулу напоминала тыкву, — он внимательно слушал аксакалов и тех, кто помоложе. Споры заканчивались тем, что многие сходились на одном: нужен им вожак, мудрый человек, который

может в трудную минуту помочь советом, нужен батыр, который может в худую минуту защитить аул от врага; в конце концов уговорили Азбергена пойти к Лабак-ахуну. С ним поехали четверо — представители аула, жившего обособленно. Нелегко будет говорить со старцем, ведь он разве что к мнению одного Пахраддина прислушивается, но что делать? Прибыли они к ахуну, а тот, как живой дух, стоит на холме с посохом в руке. Белый-белый. Не дал путникам и слова молвить, сам заговорил:

— Ау, правоверные, добрались-таки... А мне мой далекий предок во сне подсказал, что вы ко мне наведаетесь, божье благодаренье вам! Вот я и жду.

Азберген и сопровождающие его джигиты поразились провидению ахуна; спешившись, наперебой приветствовали его. А на того, как видно, сошло высшее благоволение, говорит:

— Вы, люди, слов зря не тратьте. Если хотите, чтобы я к вам перебрался, вы, божье вам благодарение, к потомку нашего знаменитого предка Барака ступайте; вот его, Булыша, и уговорите! Если есть в этой округе батыр, способный отбить вражескую пулю, так это Булыш!

Отправились люди Азбергена на берега озера Шошки, где, как они слышали, скрывается от властей Булыш. Он и в самом деле жил на безлюдном озере. Сур Жекей, говорят, несколько раз выходил на его след, но изловить батыра ему не удалось. Еще рассказывали, что Булыш похитил Балкию вместе с ее юртой. С тех пор и жили они на безлюдье. Хорошо охотник знал окрестность и не без оснований, видно, выбрал для убежища поросшие дремучими зарослями берега озера Шошки. Группа Азбергена прочесала их основательно, но найти Булыша не сумела. В полдень, когда люди присели передохнуть в тени тамариска, к ним из камышей, нацелив ружье, вышел сам Булыш.

— Кто вы такие? — рявкнул он.

Те от радости и расшумелись — как же, нашелся тот, кого они столько искали! Булыш их к себе в юрту привел, она стояла в потайном месте. Красавица Балкия, полыхая румянцем на щеках, расстелила перед гостями дастархан. Гости передали Булышу пожелание ахуна: не должен, дескать, джигит в обнимку с бабой в камышах укрываться,

когда над народом нависла беда; джигит должен бы сесть на коня и народ от беды охранить. Уставился в землю Булыш, ему не оставалось ничего, как принять их предложение.

Старый ахун подготовился к дороге, с тюками и узлами ждал аульных посланцев. Пора бы, казалось, и в путь, но что-то мешкал ахун, то скрываясь в мечети, то вновь появляясь. Наконец, развернув на земле жайнамаз, стал молиться. По западную сторону от мечети было старое кладбище. С давних пор ахун, поселившись здесь, охранял вечный покой, и теперь, казалось, могилы взирают на него с недоумением, не веря, что мудрец их оставляет. Это ощущение усугубилось и видом самих могил с четырьмя выступающими по углам столбиками; столбики — как ушки, настороженно прислушивающиеся к тому, что шепчет ахун.

Кочевье двинулось в путь. Вспомнили дорогой про книги ахуна, которые, по слухам, могли составить поклажу для верблюда-нара. Но выяснилось, что ахун, обернув книги горелой кошмой, закопал их у стен мечети. Предусмотрительный старец!

Прибытие в аул Лабак-ахуна и Булыша приободрило беглецов. Даже женщины и дети повеселели. Как же — могущественный ахун к ним пожаловал, ученый человек; с ним — Булыш, знаменитый охотник, ни одна пуля которого не пропадает зря. И народу отовсюду прибавлялось — из Адая, Табына, Алима и других родов. Было им к кому прислушаться, теперь среди них — Лабак-ахун, белый-белый, как дух. Не знал старец усталости, постоянно с народом — лились, как и раньше, с его уст терме-назидания, слова-иносказания; аул благоговейно внимал его напевному голосу. По его, мудреца, велению избрал аул Булыша своим вожаком. На месте вечного успокоения Барак-аты, защитившего некогда казахов от калмыцкого ига, пожелали мужчины принести клятву верности. В ауле остались женщины да дети.

С самого утра было ветрено. Хансулу, которую Каракер вынес на ковыльную гряду, зажмурилась — ветер швырнул ей в лицо горсть острых песчинок. Безрадостна степь, пыльные завихрения прокатываются по ней, и кажется — бродит она, как прокисшее молоко; по гребням

вдалеке пробегают шары перекати-поля. Вздохнула Хансулу — ветер, кидающийся песком, и Устюрт припорошил пылью; некогда многоцветный от ярких трав и цветов, он был теперь однообразно сер. Пыль, вздымаемая там и тут, встает столбом; за одним из таких столбов Хансулу вдруг высмотрела кочевье. «Не привиделось ли?» — усомнилась она. Дав коню шенкеля, поскакала поближе, рассмотрела видение. Нет, не привиделось, в самом деле кочевье, из нескольких верблюдов и лошадей, нещадно погоняемых ветром. За плечами у конников — винтовки. Похолодело сердечко Хансулу. Людей со штыками в ауле ждали меньше всего, боялись аскеров — красноармейцев.

Хансулу поворотила коня к аулу, хлестнула его камчой. Аул — в низине, кругом саксаул, не видать из-за него ничего; многие женщины и дети во дворах были, когда прискакала Хансулу, и Раш, жена Азбергена, — тоже.

— Женеше! — вскричала Хансулу, завидев ее.

— Что, милая?

— Женеше... Едут там... с винтовками. Аскеры...

— Да ты что?..

— Что, что такое? — сбежались и остальные женщины.

В ауле поднялась паника. Дети побежали было на склон, да матери остановили их:

— Куда? Вернитесь! Отцы, что ли, ваши едут, дурни?!

Едва загнали ребятишек в дом, кочевье объявилось — пять груженых верблюдов и пять красноармейцев на конях.

— Ойбай!

— Пропали!

Женщины с воплями разбегались, прятались по юртам. В суматохе многие оказались в юрте Азбергена. Омертвели, бедные, со страху. Старухи, прижимая к себе внуков, рыдали. Балкия и Хансулу тоже были здесь.

Послышался голос снаружи:

— Эй, люди! Почему убежали? Мы не враги. Мы — государственные люди. Выходите! Поговорим.

Женщины задрожали.

— Это ж Асан! — прошептала Балкия, проводя, по обыкновению аульных женщин, пальцем по щеке.

— Кто? — переспросила старуха, притулившаяся у стены.

Ей объяснили:

— Асан-балшебек[1], кто еще!

— Его голос. Точно, — опять зашептала Балкия.

— Так выходите! Божьи гости мы, нехорошо встречаете!

Та старуха, что у стены притулилась, пристала к Балкие:

— Вышла бы, а? Знаешь его... Покажись.

— Да, сделай милость, — присоединились к ней хором и остальные.

— Э, а что? И покажусь! — захорохорилась Балкия. — Асана, что ли, я не видела? — и, поправив на голове жаулык, пошла; высокая грудь заколыхалась на ходу. Женщины притихли, пораженные ее смелостью.

Когда из юрты в самом центре аула выпорхнула женщина в белом платье, ладно скроенная, ослепляющая белозубой улыбкой, конники — а это были Шеге, Ждахай, милиционеры Сур Жекей и Бухарбай, возглавляемые Асаном, — оцепенели, вытаращили глаза. Шеге глянул на Ждахая: у того, бедняги, казалось, зрачки из орбит вылезут. Сойдя с коней, всадники поздоровались с Балкией. Бухарбай здороваться не стал.

— Нашлась пропажа, — заулыбался Асан, худой, черный, в русской кожаной кепке. От улыбки его лицо собралось складками.

— Одна нашлась. Верно. Но нам-то вторая нужна... Ч-черт, — заметил Сур Жекей, рыская взглядом по сторонам.

— Вторая тоже не задержится, скоро будет. Малость обождите! — парировала Балкия, догадавшись, о ком идет речь.

— Ну, а где мужчины, Балкия?

— Я сказала, будут.

— Но-о, куда ж они ушли все?

— А про это вы у них спросите, когда вернутся. Проходите в дом!

Асан и Сур Жекей переглянулись. «Что будем делать?» — говорили их взгляды. Решение принял Асан.

---

[1] Балшебек — искаж. от «большевик».

— Пройдем, сейчас пройдем, — сказал он, кивая Балкие.

Как только женщина скрылась в юрте, Асан и Сур Жекей начали совещаться.

— Не зря зазывает бабенка. Ловушка тут, — сказал Сур Жекей. — Может, где прячутся — накроют враз, как войдем.

Шеге и Ждахаю они поручили осмотреть окрестность. Бухарбай остался с лошадьми, а оставшиеся вошли в юрту. Сплошь женщины, старые и молодые, поднявшись, отступили назад, давая возможность гостям занять место на торе. Балкия повесила на треногу чайник.

— Что вы испугались? Или человека в кепке не видели? — пошутил Асан, опускаясь на одеяло на полу. Берданку он прислонил к стене.

Сур Жекей, присаживавшийся рядом, приметил у порога высокую, облаченную в шаровары Хансулу и указал на нее подбородком:

— Еще одна пропажа!

Асан задержал внимание на красавице, очень напоминавшей ему глазами, поблескивавшими в полутеми, козленка косули. Так вон она какая, та строптивая девчонка, история с замужеством которой завязла у всех на зубах! Хансулу попятилась, сбитая с толку пристальным вниманием человека в кепке.

Женщины, что постарше, стали присаживаться. Асан, пробежав глазами по их испуганным лицам, сказал:

— Не бойтесь. Зла мы никому не причиним... Все наше зло, если хотите, назад вас вернуть. Только и всего.

Старухи тревожно переглянулись. Чайник на треноге свистел, закипая. Ветер выл снаружи, хлопал завязками тундика. Топот конских копыт раздался неожиданно.

— Асан-ага! — послышался отчаянный крик Шеге.

Первым из юрты выметнулся Сур Жекей. Следом — Асан.

Женщины расшумелись, но ни одна не покинула юрты — боялись. Только Хансулу ожила, заслышав голос Шеге. «Он ли?..»

Старухи запричитали, взывая к духам предков:

— О повелитель, сохрани!

— О Барак-ата! О Бекет-ата!

Хансулу, прижавшись к косяку, внимательно всмотрелась. Увидела сначала тех, кто был в юрте, — они бежали к

лошадям, а потом разглядела и Шеге на рыжем жеребце, дико выплясывавшем под ним. Куда-то на восток показывал джигит камчой. И у него на голове торчала русская кожаная кепка, как и на Асане, но был он не в красноармейской форме, а в чапане, подпоясанном ремнем, за плечом — винтовка. Не тот это Шеге, не тот босоногий сорванец, который, бывало, из-за кости дрался. Шеге — джигит. Лицо — незнакомое, больно строгое, взрослое, да и взгляд... Холодный взгляд. А вон и Ждахай-баламут скачет к Асану. Не слыхать, что говорит. Обрывками доносилось:

— Много... Асан-ага... Це... войско...

— Наши, кажется, возвращаются, — сказала Хансулу громко, чтобы все услышали.

— О, сохрани! О духи предков, помогите! — расшумелись старухи.

В густом саксаульнике возникли всадники — мужчины аула. Среди них на белом верблюде — ахун. Кто-то из конников в передних рядах заметил, видно, красноармейцев — вскрикнув, повернул лошадь назад. Мужчины, сбавив ход, приостановились, взяли в руки оружие. Ахун продолжил путь.

— Аскеры в ауле! — предостерегли его, но ахун, что-то мыча под нос, к кучке аскеров и направил верблюда.

Асан шагнул навстречу старцу:

— Ассалаумагалейкум!

— Уагалейкумассалам, сынок! Удачи тебе!

— Да сбудутся ваши слова! Вот, за единением к вам, как говорится...

— Единения, сынок, не с оружием ищут.

— Верно. Вот и давайте по-мирному поговорим.

Задумался старик на верблюде, стал пальцем бороду цедить. Наконец развернул ахун верблюда, помахал рукой своим, сбившимся в кучу в отдалении. Замешкались те, не поняли, чего ахун хочет.

— Идите же, трусы! — позвал ахун и покачал головой. — Пятьдесят, а пятерых боятся...

Стали выбираться из юрт и женщины. Мужчины, послушные воле ахуна, пошли к нему, нехотя — среди гостей они видели милиционеров Сур Жекея и Бухарбая.

Впереди аулчан — Булыш. Напряжен батыр: зубы сжаты, скулы резко обозначились. Рядом с Лабак-ахуном и Асаном остановился. Его спутники застыли поодаль.

— Ассалаумагалейкум, Асеке! — произнес Булыш, делая вид, что не замечает Сур Жекея и Бухарбая.

— Как здравствуем-поживаем, граждане? — бодро откликнулся Асан, обращаясь одновременно и к Булышу, и к его спутникам.

— Да слава богу! — бросил кто-то из джигитов, а второй не без едкости добавил:

— Власть жива-здорова будет — куда мы денемся?

Раздались смешки.

— Ну, джигиты! Не с войной мы к вам, согласия искать приехали. Есть что вам сказать. Кто главный-то у вас?

— Булыш главный! А наставником — ахун! — выкрикнул из гущи конников молодой скуластый джигит в красной шапке.

— Уай, Асан-сынок, разве же не в доме ведут беседу? — тихо обронил с верблюда Лабак-ахун.

— Хотелось, чтобы все слышали!

— Тогда бог в помощь, пусть по-твоему будет, сынок! Уай, собирайтесь все! Ближе, ближе!

Лабак-ахун, вытянув длинную шею, посмотрел по сторонам. Подходил народ. Азберген упрямо поддал в бока коню, подъехал вплотную к Булышу.

— Отойдем-ка! — пробасил он. Оба — на конях — удалились в пыльную степь.

— Слушаю тебя! — сказал Булыш, недовольный поведением Азбергена. Не лежала у него душа к этому человеку. Не любил он упрямого чурбана за его лютую ненависть к простому люду.

Азберген начал с попрека:

— Старик, допустим, из ума выжил, а ты что? Тоже будешь крещеного комониста слушать? Известна его песенка. Какие еще с ним разговоры? Голову долой — и все разговоры!..

Булыш поглядел в упор на громилу Азбергена. Вместо лица — черная, заросшая бородой непроницаемая маска.

— Что ты плетешь! — вспыхнул он. — Хочешь нас бандой выставить?

— А-а, понятно, жалко тебе комониста, — волосатое лицо Азбергена налилось кровью. Лошадь, подстегнутая ударом в бок, закружилась волчком на месте. — Попомни мое слово — завтра он тебе башку снесет!

— Не драться — говорить они приехали!

— Нет крещеным доверия! — рявкнул Азберген — теперь и глаза у него стали красные.

Булыша его вид встревожил.

— Допустим. Доверия нет, — сказал он, сбавляя тон. — Но что они сделают впятером?

— Пускай не болтают! Здесь еще болтать будут! Сматываются пусть, пока голова на плечах!

— Азберген, погоди! — Булыш едва сдерживался, чтобы не раскричаться. — Не кажется ли тебе, что мы по горячке кое-что и перегнули, а? Ты погляди — вон бабы, вон ребята. Что с ними-то будет?..

Сказав это, Булыш развернул коня. Азберген проводил его бешеными глазами. Три сына бая Мажана— Мотан, Шотан и Капан — окружили его.

Асан выехал на середину круга. Притих народ — что скажет главный аскер?

— Ау, люди! Вопрос у меня к вам, — заговорил Асан.

— Слушаем!

— Люди! Вот вы из аулов сбежали, от властей сбежали. И куда вы? Может, еще революцию готовите, а?

Многие голоса раздались разом.

— Погодите, по одному! — попросил Асан.

Все взоры обратились к белому, как лебедь, ахуну.

— Сынок, — начал он, — предки наши говорили: да погибнет тулпар, от косяка отбившийся, да пропадет сокол, хозяина позабывший. Не смеем мы утверждать, что, идя наперекор предопределению, найдем удачу. Но, если предопределение таково, что в скором времени лишимся мы скота на дворе, молитвы на устах, свободы передвижения по путям привычных кочевий, скажи, есть ли для казаха смерть хуже этой?.. Поэтому мы покинули родину. Что нас ждет впереди? Это сокрыто мраком.

— Верно говорит ахун!

— Ахун-ага! — поспешил перекричать возгласы Асан. — Три обиды услышал я к правительству. Давайте проясним, уместны ли они. Внимание! Прошу внимания! Скотину, говорите, отобрали? Верно. Отобрали у вас скотину. Но ведь у баев только. Отобрали и бедным отдали. Часть. Остальное государственным достоянием стало, то есть, другими словами, тоже народным. Это одно. Молитвы,

говорите, лишились? Я лично такого закона не видел, который запрещал бы народу молиться. Это два. Третье. Кочевой мы народ, говорите, свободы лишились? Я на это имею возражение. Да, мы — кочевой народ. Степь для кочевника — дом, не отрицаю, много-много веков домом была. Слава наших дедов-кипчаков в век кривой сабли мир потрясла. Могущественным было степное государство. Но жизнь-то на месте не стоит, товарищи. Время-то другое пришло. Арба огненная, аэропланы, а кочевник по-прежнему за конскую гриву держится. Вместо того чтобы это понять и к разумному совету прислушаться, вы за ружье хватаетесь, стращаете им, а кого стращаете? Вас же на то недостает, чтобы о судьбе своих малышей задуматься...

И тут на разгоряченном коне, пробивая себе дорогу, вырвался вперед Азберген и стегнул на ходу камчой Асана по голове. Со лба засочилась кровь. Все разом смешалось. Пешие бросились врассыпную. Конники — спешились. Затрещали винтовочные выстрелы. Хансулу увидела, как кто-то, как будто Шотан, стащил с лошади Шеге. Повалили с лошадей и Сур Жекея с Бухарбаем, отобрали у них оружие, а руки за спиной связали. Кто-то в стороне пинал оравшего от боли Ждахая, рот бедняги весь в песке. Азберген, изловчившись, хотел было вырвать из седла Асана, чтобы потаскать его всласть по полю, как кокпар, но сзади насел Булыш. Верблюд Лабак-ахуна, напуганный происходящим, унес хозяина в степь. Женщины сбились в жалкую кучу, как овцы.

Асан, Шеге, Ждахай, милиционеры Сур Жекей и Бухарбай валялись, связанные, на земле, в грязи, в крови. Схватка теперь шла между своими — Азбергеном и Булышем. Пешие схватились. Кто кого поддерживает, кто прав, кто виноват — не разберешь. Тем и занимателен поединок, что Азберген и по росту, и по комплекции превосходит Булыша. Победа не склоняется ни в ту, ни в другую сторону. Жестокий поединок. Поединок двух зверей, издавна не переносивших один другого и столкнувшихся на узкой тропе, — ни один не мог рассчитывать на поражение без погибели. Да, пожалуй, и судьба вожака аула решалась. Одежда на обоих изодрана в клочья. Гибкий, с хваткой леопарда Булыш зажал вскоре массивного, малоповоротли-

вого Азбергена в свои тиски так, что тому и не вздохнуть, а мгновение спустя шмякнул оземь перед зеваками как дуб, вывернутый с корнем. Булыш чуть ли не к самым лопаткам завернул противнику руки, взгромоздился ему на спину и прохрипел:

— Веревку давайте!

Кто-то кинул ему конский повод. Связав Азбергена, Булыш волоком подтащил его к тем пятерым, рядом с Асаном бросил.

— Благослови тебя бог! — удовлетворенно воскликнул вернувшийся Лабак-ахун.

— Развяжите! — приказал Булыш, показывая на красноармейцев. А сам стал освобождать руку Асану.

— Зачем? — запротестовали Мотан, Шотан, Капан.

— К конскому хвосту их!

— Уничтожить!

— Бей врага!

Другие поддержали Булыша:

— Отпустить их!

— Зачем нам с властями ссориться? Мы не банда.

— Покой дороже!

Лабак-ахун, жмурясь и почесывая бороду, заключил:

— Резонно то, что по уму делается, Булыш прав.

Старец пришел в себя после недавнего потрясения, выражение лица, как всегда, благостное. Свободным от пут представителям власти, бледным после пережитого, подвели их коней.

— И оружие верните! — велел Булыш, грозно подымая глаза на сыновей Мажана. Те без слов отдали отобранные ими пятизарядки и наганы: не столько, наверное, Булыша испугались, сколько собравшегося народа, который был солидарен с вожаком.

Ни Асан, ни Сур Жекей, ни Бухарбай, ни Шеге, ни Ждахай не проронили ни слова. Взяли оружие, привели себя в порядок, сели на лошадей. Ветер по-прежнему посвистывал пронзительно. Сел на своего вороного аргамака и Булыш.

— Асеке, — сказал он, глядя на Асана. — Один овечий катыш, говорят, бурдюк сливочного масла портит. Вроде как у нас сегодня. Дурак — один, а все мы вот из-за одного осрамились. Дорожки наши, выходит, разминулись...

— Что верно, то верно, — Асан старательно стирал с лица кровь. — Нам уж теперь в обратную путь-дорожку! — и поддал пятками в бока лошади.

Пятеро конников молча отделились от толпы, в которой стояла и Хансулу. Она не отрывала глаз от Шеге на рыжем жеребце, гриву и хвост его лошади трепал ветер; она не отрывала глаз от Шеге, который уезжал. Неожиданно он обернулся. Резко. Глаза его упали на Хансулу. Девушка не отвела взгляда...

Конники — вместе с ними Шеге — поскакали.

2

Как только «государственные люди» скрылись из виду, аулчане стали спешно разбирать жилища. Поднялась суматоха: расплакались дети, разлаялись собаки, раскричались верблюды. Старейшины аула, возглавляемые ахуном, решили судьбу Азбергена. Развязали ему руки, позвали Шотана, Мотана, Капана; Лабак-ахун многозначительно изрек:

— Сын мой Азберген, мы выбрали главой аула Булыша, поклялись ему повиноваться. Ты эту клятву нарушил. Начал смуту. Наше тебе слово: живи как все, а нет — ступай на все четыре стороны! Таково общее повеление.

Азберген молчал, насупленный, а потом сказал:

— Вина — наша, простите.

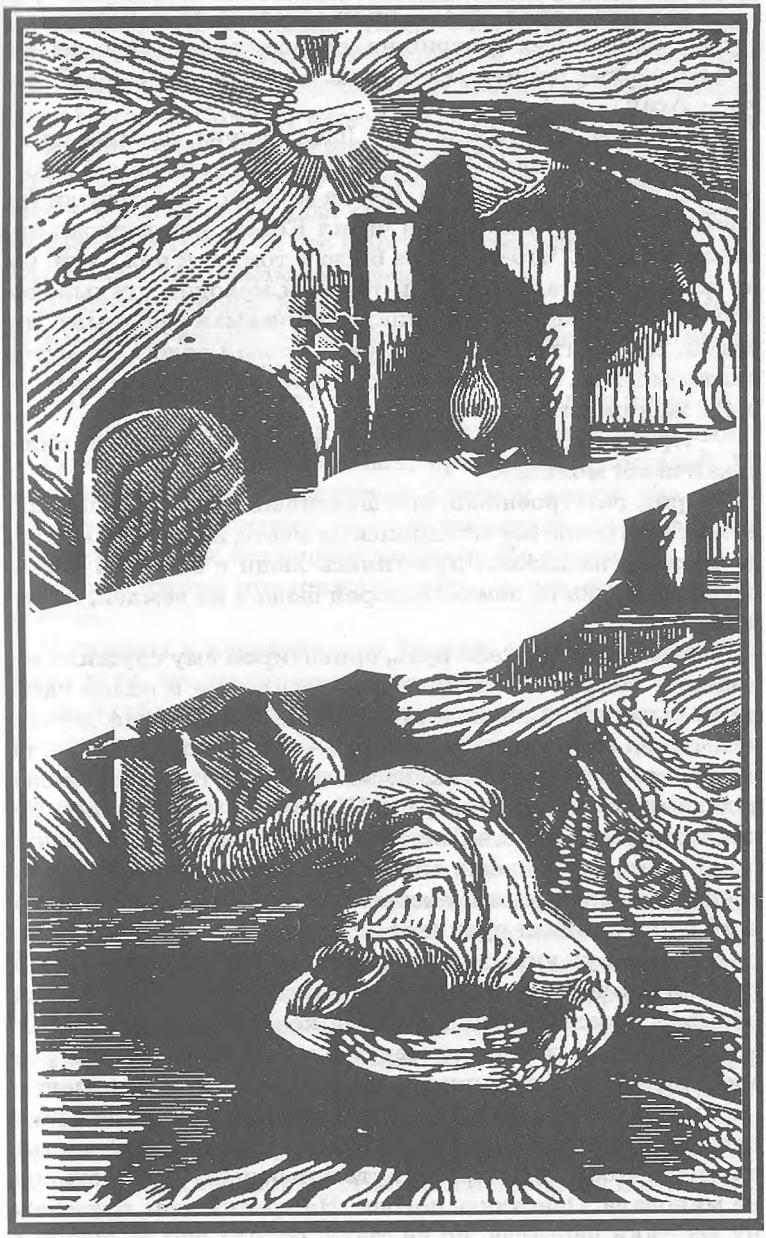
Простили большинством Азбергена, а заодно с ним Шотана, Мотана, Капана.

Аул собрался быстро — времени прошло как раз чаю вскипеть; весь груз уже был на верблюдах.

Лабак-ахун благословил в дорогу:

— Оу, повелитель вселенной, защити! Оу, Кадыр-ата, будь заступником в пути неведомом! — и, обращаясь к Булышу, заключил: — Трогаемся, сынок!

Булыш пустил галопом вороного жеребца. За ним неторопливо двинулось и кочевье. Мела пыльная поземка. Дорога шла через саксауловую рощу, изредка ее прорезали песчаные холмы. Старались продвигаться так, чтобы солнце по правую сторону кочевья держалось. К закату очутились у старого кладбища — сплошь четырехугольные могильные сооружения из глины и камня. Начиная с низины, они захватили всю небольшую сопку.



— Могила Барак-аты, — прошелестело по кочевью.

Она ближе всех к вершине, старое саксауловое дерево — в изголовье; пониже, на склоне, захоронение сына Барака — Асау.

Мужчины, следуя примеру Лабак-ахуна, спешились.

Люди, вернувшись к месту вечного успокоения благословенных предков, опустились на колени, преклонили головы. Лабак-ахун нараспев читал Коран, ветер играл его белой бородой. Что-то новое было в том, как пел ахун. Он не жалел голоса. В плавной тягучей мелодии угадывался плач, так стенает верблюдица, разлучаемая с родными местами. Не дочитал Корана ахун — сорвал голос. Он вытер платком глаза. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчины и женщины прослезились.

— Прощай, отец! Прощай... — произнес ахун через силу, заканчивая молитву.

Народ, расстроенный, придавленный плачем, не шелохнулся; долго еще все оставались на месте, недвижимы. Так, со слезами на глазах, простились люди с могилой незабвенного предка на земле, которая была и их землей, их отчизной...

Кочевье продолжало путь, ориентиром ему служило заходящее солнце. Женщины поголосили, не в силах сдержать рыданий, и их можно было понять: дальняя дорога, чем-то она закончится?.. Впереди — туманное будущее, но вскоре и эти голоса стихли; мало-помалу плач сменился вздохами, тяжкими, долгими. Женщины успокоились, успокоились мужчины — и старые, и молодые, смирились со своей участью; впереди, они знали, еще много испытаний, следовало беречь силы. Медленный однообразный верблюжий шаг укачивал путников...

На ночь аул укрылся в густом саксаульнике, а как забрезжил рассвет, опять пустился в путь. С восходом солнца остались позади барханы Сама, и кочевье вышло на гладкое, точно вылизанное временем плато Устюрт. Ветер, утомивший всех, утихомирился, и сразу очистился горизонт.

Аул шел без остановок, лишь в обеденные и вечерние часы делались короткие привалы, да и то большей частью для того, чтобы дать передохнуть животным. Опасность еще не миновала. Опасались погони. На третий день пути беда их все-таки настигла, но не сзади, откуда они ее ждали и

что вынуждало постоянно оглядываться, а спереди. Беда шла навстречу. Кончилась гладь Устюрта, начались пески, и растительность другая — крупнее, гуще, кустарниковая: зверобой, тмин, ковыль. Люди достигли старого караванного пути. Солнце, алое-алое, опустилось на далекий бархан. Мужчины ехали впереди каравана, собираясь обогнуть гряду, которая им преградила дорогу, и еще смеялись — очертаниями гряда напоминала осевшего на колени верблюда. И тут из-за нее вывернули всадники. Туркмены в папахах с винтовками за плечами.

Дрогнуло сердце Хансулу. «От власти бежали, к басмачам прикочевали, — подумалось ей. — Сейчас начнется пальба, крики, побоище...»

— О Барак-ата! Бекет-ата!.. — пронеслось по кочевью.

И Хансулу стала молить всех святых, чтобы оберегли.

Туркмены, завидев караван, придержали лошадей. И кочевье остановилось. Впервые Хансулу видела знаменитых басмачей, которые, как рассказывали, безжалостно грабят путников, похищают девушек. Но туркмены, сойдя с дороги, мирно продолжали путь, о чем-то переговариваясь.

Мужчины в караване — и Булыш с ними — молчали. Выжидали, что предпримет противная сторона. А туркмены знай себе едут поодаль на красавцах аргамаках с лебедиными шеями, кони вытанцовывают под ними. Джигиты в шекпенах, перетянутых в несколько рядов туго-натуго кушаками, к лукам седел приторочены коржуны. Едут и глазом на кочевье косят. Тишина. Лишь верблюды шлепают губами да пофыркивают. Даже женщины прикусили языки. Впереди на гнедом с черно-белыми ногами жеребце следует маленький, с широкой окладистой бородой мужчина; папаха на голове, пожалуй, больше его самого. Гордая осанка без слов говорит — он в группе старший.

«Неужели так, без единого выстрела, проедут?» — подумала Хансулу, расслабляя ладонь с зажатыми в ней поводьями, огляделась. Люди омертвели от страха. Всколыхнулось опять кочевье. Широкобородый, пропустив нукеров вперед, встал поперек пути. Машет рукой, кричит что-то. Булыш не медля пустил коня иноходью к нему. Один подъехал.

— Ойбо-ой, что будет!.. — зашептала какая-то женщина.

Булыш не задержался. Переговоры оказались короткими. Широкобородый поскакал вслед за товарищами, а Булыш повернул назад. Общее внимание, в том числе и внимание Лабак-ахуна, приковано к черному, как чугун, Булышу, поспешавшему к ним на вороном аргамаке. Жестким было выражение его лица. Еще издали махнул камчой, прокричал:

— Трогайтесь!

Это прозвучало как приказ. Женская часть каравана, мимо которой проследовал Булыш, осталась в неведении относительно переговоров. Булыш только мужчинам поведал, а потом и до женщин дошло. Вот какой получился у них разговор:

— Откуда и куда идет караван? — спросил широкобородый.

— От правительства нынешнего в Афганистан уходим... — ответил Булыш.

— Не драпать надо, а драться! — упрекнул туркмен.

— Нет сил с ними тягаться!

— У вас нет, так у меня есть. К колодцу Шыгыл поворачивай кочевье!

— Не командуй, путник! Мы пока что свободный аул!

— Эй, казах! Если от власти сбежал, то не думай, что от хана Жонейта сбежишь!..

Весь и разговор. Что-то за ним крылось. Прибавилось страхов. А караван углублялся в пески. На многие километры вокруг простирались барханы, они накатывались один на другой как волны. Чистый сыпучий песок расстилался по обе стороны пути. Островками встречался ковыль; он сгорел на солнце, его метелки, жалко поникшие, золотисто-желты. Из растительности — столетник, верблюжья колючка, агава; забавна агава — устремила ввысь вибрирующие, как проволока, и острые, как клинки, листья. И снова — пески, пески... Безлюдная, безводная пустыня. Солнце жарит. И пески лицо жаром опаляют. Во рту пересохло. Хочется пить. Теперь ночами, когда аул спит, выставляется караул. Два колодца на пути встретились, но воды в них оказалось мало, на всех не хватило, зато на третий, более щедрый, повезло. И верблюжьей колючки вокруг этого колодца росло много. Поснимали люди по-

клажу с верблюдов, напоили их, пустили пастись. У колодца и решили они провести ночь.

3

Вооруженный отряд из ста пятидесяти человек — среди них добровольцы и представители народной милиции — преследовал старым караванным путем бежавший аул; вели его Афанасий Васильевич Гринин и Асан Айтжанов. К вечеру третьего дня, когда отряд углубился в Каракумы, острый глаз Асана приметил среди барханов мелькнувшую верблюжью голову. Люди как раз выбирались из лощины, отступили по знаку Асана назад.

— Раз скотина обнаружилась, значит, и аул тут, — сказал он Афанасию Васильевичу, прилаживавшему к глазам бинокль.

— Верно, — сказал тот, — верблюды пасутся. Я даже мальчонку рядом с ними рассмотрел.

По приказу командира Гринина отряд остановился в лощине. Зашло солнце, сгустилась темнота.

— Взгляните-ка на сопку! — попросил Асан. Сам тоже припал к земле. — Похоже, стоит кто-то, а? Человек?

— Верно, — подтвердил Афанасий Васильевич. — Стоит... На бархане караул.

Большую часть отряда составляла казахская молодежь. Командир вызвал к себе Ждахая и Шеге.

— Во-он на сопке караульный, видите? Один-одинешенек, — сказал он им. — Вы самые, так сказать, сознательные ребята в отряде. Приказываю от имени революции снять часового, но без шума. Ясно? И по возможности, живым постарайтесь взять. С аулом разберемся после, перед рассветом, когда он спать еще будет. А то, сами понимаете, пальба, кровь... Зачем? Вы меня поняли?

— Поняли, товарищ командир! — наперебой ответствовали сияющие Шеге и Ждахай, вытягиваясь по-военному.

— Это ваше первое боевое задание, ребятки. Верю, что справитесь. Возьмете караульного — дадите знать. Рукой помашете.

Шеге и Ждахай оврагами и ложбинами пробирались к бархану. Темень. Каждый куст впереди — как затаившийся враг. Сердца у парней стучат-стучат. Оба не сводят глаз с часового, одинокий силуэт которого темнеет на треугольной,

напоминающей горб верблюда вершине, которая вонзилась в звездное небо. У обоих по ножу, по берданке. Пригнувшись перемещаются, больше бегом. Единственное, что успели, пока не вышла луна, добраться до подножия бархана. Затаились в сухом столетнике. Ничком залегли, не дышат.

Караульный — все на том же месте, за плечом — ружье. То и дело разворачивается, оглядывается вокруг.

— Отца его в душу, — бурчит Ждахай, — если он и дальше такой бдительный будет, нам к нему не подступиться.

— Подождем, до утра далеко, — прошептал Шеге.

Впереди стал светлеть уголочек кромешной тьмы, и вскоре показалась луна, вернее, ее половина, румяная, как лепешка-кулше, которую казашки выпекают в очаге, обкладывая сковороды сверху и снизу угольками. Ждахай толкнул Шеге в бок, кивнул на вершину. Шеге осторожно высунулся из-за сухих веток и увидел, что караульный сел, поджав под себя ноги, винтовку держит в руках.

— Дал бог, — шепнул Ждахай, — устал чудак. Хорошо, что присел, быстрей уснет.

Шеге перевел глаза на небо, на луну, переместившуюся к центру небесного купола, вся округа освещена ею. Влекут к себе покатые белые плечи бархана. Побежать бы босиком по этим осыпающимся под ногами склонам! А почему бы и в самом деле не пробежаться? Да еще бы с Хансулу... Почему бы по этим самым пескам им не уйти вдвоем? Шеге вздохнул. Ждахай толкнул его в бок: что ты, мол. Промолчал Шеге.

Когда Афанасий Васильевич послал их на опасное задание, он, Шеге, признаться, обрадовался. Во-первых, раньше других поспевал он к Хансулу, во-вторых... во-вторых, это был случай, когда он мог отличиться, подвиг, скажем, совершить неслыханный и тем возвыситься в глазах гордой девчонки...

Глядя на Шеге, размечтался и Ждахай. Своя у него боль. Балкия. Красавица Балкия с глазами дикой кошки. Эх, разнесут они в пух и прах их мужчин-защитников... Что потом будет? Да то будет, что женщин они погонят обратно. Как овечек. И Балкия у кого-то станет искать защиты — жить-то всем хочется. И у кого она эту защиту найдет? У Ждахая. Разве не так?

— Ждахай! — шепнул Шеге.

Ждахай вздохнул. Размечтался.

— Клюет никак, гляди...

Около полуночи, луна в зените. Откуда-то поддувает прохладный ветерок, шевелит головки ковыля. Долго они разглядывали караульного, свесил, бедняга, голову. Дремлет, похоже. Друзья стали обходить сопку. Хорошо, что с вершины не просматривается ее подошва. Поднимались с подветренной стороны, со стороны караульного. Как ящерицы ползли. Со склона и аул виден, луна его освещает. Юрт нет, вместо них — шатры и шалаши из решеток кереге. Стоят оседланные лошади.

Выбрались на осыпающуюся под руками и ногами вершину. Условились, что, если часовой проснется раньше времени, Ждахай метнет нож. Стрелять не будут. Караульный, похоже, молодой. Спит, лбом к винтовке прислонился. Ждахай потянулся к уху Шеге:

— Это Рысбек, провалиться мне!

— Брось ты! — испугался Шеге.

Зажмурившись, Ждахай закивал, подтверждая. Оба некоторое время смотрели в спину часового. Перед глазами Шеге — курносый рыжий пастушонок Мажана Рысбек, некогда пасший байские табуны. Телом крепок, но тихоня и трус. Асыки любил, помнится, на такыре в самый полдень играл. Стоит, скажем, ловкачам типа Ждахая затеять скандал, быстренько идет на попятную, без слов отдает выигранные асыки. Мать и отец батраками и скончались, обивая порог бая Мажана. Рысбек круглым сиротой остался. Со скотиной байской поднимался, гнал на выгон, с ней и возвращался в аул.

— Живым берем дурака, слышишь? — сказал Шеге, не отрывая глаз от часового.

— Ясное дело, если получится, — отозвался Ждахай.

Ползли почти не дыша. Расстояние между ними и спящим Рысбеком сократилось, он совсем близко. Рысбек всхрапнул. Переглянувшись, друзья покачали головами. Руки и колени мягко входят в сыпучий песок. Они подступили к караульному вплотную. И тут произошло то, чего не ожидали. После этого и сами они уже не знали, что делали. Что-то затрещало в ковыле, и отчаянный заячий вопль вспорол ночь:

— Бик! Бик!

— А?.. А?.. — замахал руками Рысбек и вскочил. Но опасности со спины не увидел.

Именно в этот миг и кинулись к нему Ждахай и Шеге. Горбатый нос и рот Рысбека оказались под ладонью Шеге, он это ощутил. Парень забарахтался, желая вырваться, и хотел крикнуть, да не смог: двое, что были на нем, подмяли его под себя — не дыхнуть.

Ждахай, прыгнув, повис на поясе длинного Рысбека, тот отчаянно вырывался, и нож в руке парня, так уж получилось, вошел в живот Рысбека.

— Ой, — вскрикнул Шеге. Сипло вскрикнул — перехватило горло.

Рысбек корчился под обоими, то сжимаясь, то вытягиваясь во весь свой длинный рост. Не уходила душа из тела...

Шеге отдернул руку, отошел в сторону. Опять развизжались зайцы, теперь их «бик-бик» донеслось откуда-то издалека. Шеге не хотелось попадаться на глаза умирающему Рысбеку. Случившееся ошеломило. Ужас происшедшего был в том, что невозможно поправить содеянное.

— Кончился, — сказал через некоторое время Ждахай, подходя к нему и опускаясь на колени. Со вздохом сказал.

— Зачем ты? — спросил Шеге тихо, не глядя на него. Он был зол на приятеля.

— Сам не знаю...

Шеге встал, пошатываясь. Во всех суставах дрожь. Поглядел на труп. Рысбек опрокинулся навзничь, головой к востоку. Шапки на нем не было. Она скатилась. Темнела внизу точкой. Ждахай, вытащив из нагрудного кармана платок, помахал им в предрассветном воздухе.

4

Лабак-ахун в эту ночь попросил постелить ему на воздухе, под лунным небом, невестка с детьми остались в шалаше. Не спалось ему, ворочался с боку на бок. Неспокойно было, билось сердце. «Отчего бы?» — думал он опасливо. Предчувствие недоброго не оставляло его. В конце концов встал, накинул на плечи чапан, взял жайнамаз, пошел на площадку за верблюдами. Расстелив жайнамаз на чистом

песке, стал читать долгий-долгий, к аллаху обращенный пят, после каждой завершающей части произносил привычно: «О мой бог, единственный вседержитель жизни на земле, ты всесилен, поддержи надеждой...» Слезы омывали лицо. Единственное, что он просил у вседержителя вселенной, — помощи беженцам, благополучной им дороги...

Аул спал безмятежно, только Лабак-ахун бодрствовал под лунным небом, белый чапан и белая чалма излучали сияние. Временами он умолкал, тогда пальцы перебирали четки. Закрыты глаза ахуна — он в том мире, куда не каждый смертный может заглянуть. Не знал, сколько просидел; только когда очнулся, рассеялась густота короткой летней ночи. Встал, похрустывая суставами, собрал жайнамаз. Поворачивая назад, глянул на вершину, где должен был стоять часовой, — и обмер. Пуста вершина. Он сначала не поверил глазам. Всмотрелся внимательнее. Нет, не подвели его глаза. На вершине и в самом деле никого не было.

— Булыш! Ай, Булыш! — заголосил он потерянно.

Вопль старика всколыхнул тишину. Мужчины, спавшие в одежде, подложив оружие под голову, мигом выскочили из шалашей.

— Атта-ан! — издал традиционный боевой клич Булыш, вспрыгивая на своего аргамака. — По ко-оням!

За ним в предрассветную тишь двинулись и остальные, оглашая окрестность дробным перестуком копыт. Впереди щелкнул выстрел. Всадники остановились. Поняли, что напоролись на засаду.

— Остановитесь! Бросьте оружие, если не хотите крови! Бросайте оружие!

Предупреждение услышали и старые уши Лабак-ахуна; он бежал к тем, что стреляли, полы чапана разлетались по ветру. Женщины в суматохе спешно нагружали верблюдов.

— О Бекет-ата! — рыдал на ходу ахун.

— О Барак-ата! — вторили ему жалобные голоса женщин. Мороз пробегал по коже от их причитаний.

С той стороны прокричали властно:

— Кто сдастся добровольно, будет прощен!

— Нашли дураков! — ответили отсюда.

— В укрытие! — приказал Булыш.

Мужчины покатились с лошадей, улеглись за круглой песчаной грядой, заросшей ковылем. Послышались ответные выстрелы.

— Булыш! Ай, Булыш? Я — Апанас? — раздалось в тишине. — Послушай меня. Опомнись! Не губи зря людей. Сдавайтесь! Добровольно сдавайтесь Клянусь — никого наказывать не будем! На родину вернем — все и наказание.

Три винтовочных выстрела прозвучали в ответ на предложение Афанасия Васильевича.

— Бросайте оружие! Сдавайтесь!

Где-то причитал ахун:

— Ай, дети мои... ой, детки мои...

Но его никто не слушал.

Снова прокричали.

— Вы окружены! По обе стороны от вас — пулеметы!

И в самом деле, голоса доносились и справа, и слева.

— Бросайте оружие!

Подал голос и Шеге

— Булыш-ага, не сопротивляйтесь! Булыш-ага, зря людей погубите! Зря!

— По коням! По коням! — прохрипел Булыш. Он не думал легко сдаваться.

Но и с тыла возникли красноармейцы. Булыш, не целясь, нажал на курок. Первый красноармеец, вскинувшись, как выброшенная на берег щука, растянулся плашмя. Второй тоже упал, его кто-то из джигитов Булыша подстрелил.

— Огонь! — раздалась тут команда.

Заговорили пулеметы. Четверых мигом сорвало с лошадей. Кони, раненные, заржали, вздыбились свечой; их, терявших своих седоков, становилось все больше. Пулеметы продолжали отбивать дробь. Градом сыпались пули, кто устоит? Стали отступать в пески джигиты Булыша. Туда же уходило и кочевье.

На гряде, на которой только что укрывались джигиты Булыша, остался ахун, его обливало утреннее зарево. В руке — посох, белый чапан развевается как белый флаг. Уста что-то шепчут. Да, собственными глазами он увидел сегодня, как гибнут молодые, он слышал, как выли пули,

унесившие молодые жизни. Лучше б не видел и не слышал он этого!..

Старик просил у бога смерти:

— Пошли пулю погибели! Пошли ее старому, выжившему из ума дуралею! Пусть я сгину! Почему я до сих пор — живой?! — Слезы омыли его лицо, бороду.

Вылетела из песков сотня конников и ударила следом за бегущим кочевьем. Никто не смотрел на голосившего на гряде ахуна, на него не обращали внимания. Всадники с гиканьем пронеслись мимо. А когда старец пришел в себя и огляделся, то увидел, что около колодца ни души. На конские трупы уже садились прожорливые вороны. Невдалеке бродили оставшиеся без хозяев лошади, они пощипывали траву.

Чуткое стариковское ухо уловило чей-то протяжный стон. Вгляделся в овраг. Там — о создатель! — он увидел двоих, склонившихся над трупом; они зачем-то поддерживали трупу голову. Выходит, не все тут мертвецы, есть среди них и живые, раненые. Старец стал спускаться к ним широкими шагами. Один из двоих оказался пожилым русским, второй — молодой казах — забинтовывал раненому грудь.

— А, аксакал, салам! — поздоровался русский, завидев ахуна.

Ахун кивнул. Признал он раненого. Большевик Асан! Тяжело, видно, ранен. Стонет.

— Воды... воды... — просил он.

Молодой джигит, помогавший русскому, покапал в рот раненому воды из брезентового бурдюка. Глаза Асана, блуждая, остановились на ахуне. Старик покачал головой. Асан не сказал ничего. Не смог. Не в силах глядеть на умирающего, ахун качал и качал головой.

— Ах, сынок... ах, сынок... — бормотал он.

Пошел, ничего не видя перед собой. Странствовать будет теперь, вот так, пока не скроется из глаз мир сей, его непонятная жизнь...

— О создатель! О создатель! — причитал он.

Ахун уходил бродяжничать. Что ему, старому болвану, осталось? Бродяжничать. И умрет он — бродягой. Кара по заслугам...

А с запада, из-за бархана, показалось кочевье. Длинное кочевье. Нескладное кочевье. Слышатся плачущие женские

голоса. Ахун, так уж получилось, вышел навстречу каравану...

По приказу Афанасия Васильевича кочевье задержалось у колодца до вечера. Среди погибших кто-то находил сына, кто-то — отца, кто-то брата; и без того израненный, аул наполнился протяжными причитаниями и горючими слезами. Для отряда этот день так же печален: предали земле погибших, в том числе и большевика Асана Айтжанова. Троекратно дали залп из винтовок... Когда спал зной, кочевье вышло в дорогу. Оно возвращалось по своим следам. Большую часть кочевья составляли женщины, дети, старики. Были и сдавшиеся добровольно мужчины — они сопровождали семьи без оружия.

...В тот час, когда люди, напуганные пулеметными очередями, рассыпались в песках, стан поспешно покинула одинокая юрта. Таясь, ложбинами и низовьями, уходила она все дальше и дальше. Кочевала Балкия. Мужественная женщина, наученная горьким опытом былых погонь, сообразила, что в случае, если Булыш уйдет от красноармейцев, он ее непременно разыщет, потому и решилась уйти.

Джигиты Булыша, отвлекая внимание отряда от бегущего аула, пустились в бегство, на ходу отбиваясь от противника. Но отряд оказался хитрее. Основные-то силы он бросил на воинов Булыша, а оставшуюся часть — на аул. Ясное дело, что очень скоро беженцы были в руках преследователей, что, собственно, им и требовалось, а потому основные силы стрельбу прекратили.

Джигиты Булыша поняли, что сопротивление бесполезно — красноармейцы превосходили их числом и оружием; среди них началась смута — крики, споры, стычки. Если бы не Булыш, возможно, и перебили бы они друг друга по горячности. Сам Булыш давно пришел к решению, о котором пока что не догадывался никто. Теперь, когда возникли распри, самое время объявить о нем.

— Послушайте меня! — попросил он.

Джигиты, прекратив шум, обратились в слух.

— Грех я взял на душу, посылая вас на врага, который был сильнее. Если и дальше будем сопротивляться, нашим женам и детям придется и нас оплакивать. Не хочу, чтобы ваши жены оставались вдовами, а дети — сиротами. Возвращайтесь! Такое к вам мое слово. Дальше я пойду один. Такой уж мне выпал жребий.

Булыш говорил с седла. Почернел совсем, глаза налились кровью. Берданка лежит поперек седла. Джигиты всего ждали от Булыша, всего — но только не этого. Жестокое решение.

— Мне дорога назад заказана. А вам мой приказ — ступайте к детям! Считайте, что это благословение вам. В того, кто пойдет за мной, буду стрелять. Смекнули? — С этими словами он стал разворачивать коня.

— Вот-те на! — вырвалось у кого-то.

— А мы-то теперь с кем же... Булыш-ага?

— С Апанасом! Он русский ничего. Честный. На слове постоит. Простит.

И помчался в направлении, в котором исчезла юрта Балкии.

Джигиты молчали, ошарашенные. А потом заспорили. Снова. Половина решила вернуться с кочевьем, другая половина ждала, что скажет Азберген. Мужчины разбились на два лагеря. Обособившимися от всех стали Булыш и Балкия. Многие потерянно смотрели вслед Булышу до тех пор, пока он не исчез за дальним холмом. Что задумал, куда держит путь — никто не знал.

5

Отряд, сопровождавший кочевье, и на второй день не сумел выбраться из песков. Путники опять заночевали в пустыне. Осенняя ночь. Свежо. Люди попрятались под сухими кустарниками карликовой акации, залегли спать.

Отряд выставил караульных. Среди них — Шеге. Стоит ему хотя бы на миг закрыть глаза, возникает Рысбек. Не может Шеге забыть о случившемся на бархане. Осунулся, бедный, от бессонницы. С той злосчастной ночи и Ждахая не может видеть, настораживается в его присутствии, как кот при виде собаки. Вспоминает и о погибшем Асане. Наверное, впервые в жизни задумался юноша о жизни и смерти.. Ему было одиноко. Показалось, нет никого на свете, с кем можно было бы разделить душевную тоску, нет, нет никого... Но почему нет? Хансулу!.. Его мечта Хансулу, она ведь рядом. Надо встретиться наедине. И случай приспел. За ужином, когда за хлопотами никому ни до кого не было дела, он оказался рядом с девушкой и шепнул ей:

— Я сегодня в карауле. Ждать буду.

Луна уже скоро, вон как вокруг посветлело. Все спят. Но Хансулу еще нет...

Последние дни раскрыли ему глаза на людей. Он, к примеру, открыл для себя Афанасия Васильевича. Умом, необыкновенной чуткостью к людям поразил его этот человек. Стоит, скажем, Лабак-ахуну остановить верблюда и расстелить жайнамаз, а делал он это по утрам и вечерам, совершая молитву, как Афанасий Васильевич давал знак остановиться и кочевью, и отряду. Все, кроме тех, что молились вместе с ахуном, ждали, когда старец соберет жайнамаз. Таков был порядок, установленный командиром отряда. Изменилось и отношение аулчан к Афанасию Васильевичу. «Добрый человек», «С совестью, хоть и не мусульманин», — высказывались они. Ждахай, однако, ворчал, недоумевая, чего, дескать, командир с муллой лялькается, а Сур Жекей спросил напрямик: «Зачем такой почет бандиту, Афанасий Васильевич?» А у командира один ответ: «Всякий народ и обычаи его уважать надобно». Вот какую речь держал он сегодня перед тем, как Лабак-ахуну с терме выступить: «Напрасно вы, люди, новой власти боитесь. Советская власть — первая в истории народная власть, основы которой партия великого Ленина заложила. Советская власть — это наша власть, власть униженных и угнетенных. Человек из народа, такой же как и вы, Казахскую республику возглавляет, Елтай Ерназаров. Слышали про него, конечно? Михаил Калинин, он тоже из народа. Зря вы от такой власти бегаете. Ваша она. Выходит, от себя и бегаете». Роста Афанасий Васильевич невысокого, и на вид худосочен, а голос — что труба. И говорит-то — по-казахски, все понятно. «Пусть сбудутся твои слова, Апанас!» — благодарили его люди за речь. Конечно, кому охота мытарствовать? Всем покой нужен, крыша над головой...

Шеге вздохнул. В темноте послышался шорох. Обозначился силуэт. Тонкий силуэт. Хансулу! Она... У Шеге пересохло во рту. Что он делать-то будет?

Мягкие шаги затихли. О боже, она! Стройная. Милая. Желанная.

Берданка за плечом стала вдруг необыкновенно тяжелой. Как же он носил-то винтовку до сих пор?! Неловко сделал шаг навстречу. Отметил подсознательно, что над ним

— звездное небо, под ногами — песок; что вся эта беспредельная обитель сейчас как во сне...

— Хансулу! — произнес он срывающимся голосом.

Но Хансулу услышала.

— Я, — откликнулась она.

Мягкий у нее голос. Ласковый. Шеге подошел к ней. Остановился. На девичьих плечах — тонкий чапан. Смотрит на него из-под длинных, загибающихся кверху ресниц. Руку протяни — и вот она! Хансулу! Как утренняя звезда вспыхнула перед ним. Красивые девичьи губы, дрогнув, разошлись в улыбке. И понял Шеге, как долго, как неприлично долго он молчит. Борясь с собой — сильно стучало сердце, предложил:

— Пошли на бархан!.. П-прогуляемся...

Улыбка не сошла с девичьих губ. Понял он — предложение понравилось. Пошла с ним. Стучит сердце Шеге, стучит, тесно ему в груди. Хрустнула под ногами сухая осенняя трава.

Звездное небо над головой... Пылит Млечный Путь. Тишина. Что он скажет той, которую любит, которую столько ждет?! Что ответит, если спросит: «Зачем звал?»

Хансулу ступает тихо. Будто нехотя. На бархане опять молчали, не в силах выйти из неловкого состояния, которое испытывали. Кругом пески. Царство песков. Отсюда, с барханов, оно хорошо просматривается.

— Сядем! — предложил Шеге и, вздохнув, первым опустился на песок, снял с плеча и положил рядом берданку.

Небо на востоке заметно посветлело. Лицом к востоку и пристроилась Хансулу.

— Луна нарождается, — сказала она. Тихо и грустно сказала.

— А красиво в песках, когда луна, да? — подхватил Шеге. — Ты бродила когда-нибудь по пескам под луной?

Хансулу прицокнула языком, что, по-видимому, означало — нет.

— Жаль, а то, знаешь, красиво... В наших краях ночь одна, а здесь — другая...

Девушка сидела бок о бок, что-то чертила на песке и то и дело поглядывала с улыбкой на джигита: насколько необычный он сейчас — в глазах угольки, и даже, кажется, похорошел.

— Шеге, — повернулась она к нему, — ты лучше скажи, что будет с нами, когда вернемся?..

— Разве Апанас не сказал? Ничего не будет. В артель войдете, по-новому жить станете...

— Всего-то? Что-то не верится. Если все, что сказал Апанас, правда...

— Апанас — настоящий ребелсенер![1] Настоящий комонист! — пылко заверил Шеге, как бы демонстрируя девушке, насколько он политически грамотен. — Что Апанас скажет, то и будет.

— А ты тоже... ребелсенер?

— Все, кто за Собетски бласты борется, ребелсенеры! — воскликнул Шеге. И — стушевался. О чем это он? Скверно-то как на душе! Просит чего-то душа. Но не разговора о революции. Нет. Откровения душа просит. Но как откроешься?

Хансулу, скосив глаза, посмотрела на него. Луна освещала его простодушное, полудетское лицо, тонкие усы. Шеге вздохнул, повернул к ней голову. Их глаза, его и ее, встретились. Он отвел взгляд. Впервые в жизни он увидел, что Хансулу смотрит на него так — тепло, доверительно... Млечный Путь пылил над головой, под ногами как волна взметнулся бархан. Подумалось ему, сидят они с Хансулу вдвоем в самом центре вселенной, обливаемые серебристым светом луны. Ему показалось: измученное сердце уже не болит, возможно, от счастья, которое чудодейственными каплями вливалось в его сердце. Шеге не шевелился, боялся спугнуть доверие девушки. Не хотел мешать рассвету, занимавшемуся в нем. Светло в голове, светло в груди. И дышать-то легче стало, и сердце забилось-заколотилось с новой силой.

— Сулу! — позвал он ласково.

Девушка перевела глаза на песчаные гряды, которые и в самом деле были восхитительны под луной — переливались всеми цветами радуги, как в сказке. Шеге протянул к ней руку. Немой жест, он как бы молил: «Не оставь...»

Рука тронула девичью косу. Сердце и вовсе стало рваться из груди... Нежный, едва уловимый аромат духов шел от

---

[1] Ребелсенер — искаж. от «революционер».

ее волос. Его бы, Шеге, воля — до утра вдыхал бы он это благоухание, такое желанное, такое родное... Оба молчали.

Шеге взял Хансулу за руку. И сам поразился своей смелости. Тонкие пальцы — о чудо! — оказались в его ладони. Но Хансулу, дрогнув, отстранилась. Глядя на него своими чудесными агатовыми глазами, тихо высвободила пальцы. Тепло ее руки осталось в его руке. Он это тепло ощущал. Он был счастлив.

— Пошла я, — сказала она и запахнула чапан.

— Посиди, — попросил Шеге, хотя и чувствовал, что она уйдет. Счастье закружило его.

— Нет, — ответила она, улыбаясь и качая головой.

Шеге боготворил ее в эту минуту — так мило она улыбалась и качала головой. Встал Шеге, ноги его едва держали. Высокая девушка в легком чапане внакидку уходила в ночь как тень. Если бы не этот исчезающий в ночи силуэт, Шеге подумал бы, возможно, что все случившееся ему приснилось.

Ночь, в небе — луна. На бархане — Шеге. Ошалевший от счастья Шеге...

НОВАЯ ЖИЗНЬ

1

Начались людские поселения, и Хансулу что ни день удивлялась. За год ее скитаний по пескам жизнь народа изменилась. Меньше стало старых небольших аулов из пяти — десяти дворов, что обычно кучились возле сопок, как бобы под рукой гадальщика. Теперь поселения сосредоточились вокруг колодцев да родников; и домов в них стало больше, и народу. Строились люди, отливали кирпичи, поднимали стены; на некоторых строениях красный флаг развевался. Похоже, из тех эти аулы, что ускоренно идут к «новой жизни», о которой Хансулу и ее спутники так много наслышаны. По всему пути от Донызтау до Оймаута кочевье беженцев по воле Афанасия Васильевича понемногу редело, оставляя в том или ином товариществе по две-три семьи. На местах оседали женщины и дети. Мужчин,

поговаривали, доставят в районный центр Наркамыс, где и решат доподлинно, насколько они, «обратившиеся в бандитов», грешны.

Хансулу не только удивлялась. Откровенно враждебные взгляды тех, кто строил новую жизнь, кто вчера от них, беглецов, ничем не отличался, ее возмущали; коробили шепотки — бандиты, дескать, идут, будьте осторожны. Когда услышала в первый раз, плохо ей стало. За последний год, богатый лишениями и гонениями, она, еще юная, не склонная, казалось бы, к размышлениям, — о многом передумала, но никогда не являлась к ней мысль, что караван, с которым она идет, бандитский. А между тем стоит посмотреть на себя со стороны, вспомнить все, что было: бегство из родных мест, сопротивление властям со стрельбой — так получается, что люди, в общем-то, правы. Чем больше она в этой мысли укреплялась, тем неувереннее себя чувствовала.

По словам Шеге, их аул осел у родника Жылыбулак, теперь это товарищество. «Жана жол»[1] называется. Жылыбулак памятен Хансулу с тех пор, как она себя помнит. Прозрачный, как слеза, теплый ключ, отсюда и название — Жылыбулак. Он выбивается из основания каменистой сопки. У подножья этой сопки — мечеть, Лабак-ахуна мечеть...

С рассвета пошли близкие сердцу белесые гребни Оймаута: широкие перевалы с высохшей на них желтой травой, белые гладкие солончаки. Осеннее небо ясно, покойно. Легкий ветерок несмело касается лица. Вот и аул. Хансулу и Раш невольно подались вперед, радостно забились их сердца. Трусовата Раш, всю дорогу, бедняжка, гадала, что с ними, беглыми, сделают. И теперь, когда впереди знакомая до боли каменистая сопка с желтыми склонами выросла, только и молвила:

— Э, алла...

Побледнела, бедняжка...

Хансулу в первую минуту показалось, что у основания каменистой сопки раскинулся город. Оживленно выглядела желтая равнина: народу, как на празднике. Надо же, как изменился мир за один-единственный год! Все обновилось. Только их кочевье — старое, из прошлого... Голодных,

---

[1] «Жана жол» — «Новый путь».

истощенных людей с помутневшими от усталости глазами качает из стороны в сторону, как рыбу, оглушенную ледоходом. Да-а, изобретателен бог на сюрпризы! Как тут не удивишься?..

Хансулу очень хочется поскорее увидеть мать и отца. Ей, их дочери, волей судьбы обращенной в беженку, не терпится узнать, что с ними. Все ее внимание — на белой юрте, которая стоит в некотором удалении от аула. Хансулу узнала свою юрту. Она не столь величественна, как прежде, не белая лебедушка на водной глади, обыденная даже. Перед домом — мать. Руку приложила ко лбу козырьком, смотрит на дорогу. Бедная мать!.. Несчастная мать!..

Слезы брызнули из глаз Хансулу.

— Ах ты, зараза, вон какой каллектеп![1] — ликует Ждахай. — Нет, ты погляди, Шеге, — школа! И какая!.. Молодец Козбагар!

От восторга Ждахай чуть не слетел с коня. Вспомнила тут Хансулу, что ей рассказывал Шеге. Председателем-то в новом ауле — Козбагар! Аулом, получается, Козбагар теперь заправляет, недотепа Козбагар, от которого она бежала. Попробуй поверь всему этому!..

Около пятидесяти домов тянутся цепью от ключа. Мечеть в стороне осталась. Школа, которой так восхищается Ждахай, еще строится. Все люди — на стройке. Мужчины, задрав штаны, месят глину, женщины носят воду. На фронтоне школы — красный флаг. В ложбине рядом собралась ключевая вода; верблюды лежат, отдыхая, и лошади скучились косяком, отбиваются от мух и оводов; пасутся козы и овцы.

Лохматые горластые псы, завидев кочевье, бросились навстречу с громким лаем. Люди приостановили работу, смотрят на караван, который растревожил аульных собак. Какая-то баба давай тут подначивать Торку, глазастая оказалась.

— Мать ты наша, — говорит, — да погляди, кто идет! Сношенька ваша беглая возвращается, вот радость-то! — нарочито громко кричит она во всеуслышанье.

Торка не задержалась с ответом:

— Да пропади она пропадом, сношенька! Нужна моему

---

[1] Каллектеп — искаж. от «коллектив».

сыну кулацкая дочь, да еще из банды! О боже, огради сыночка от ведьмы!

Кочевье остановилось на краю аула. Дети по обыкновению побежали к нему, но взрослые встречать не спешили. Шеге, увидев Козбагара, нарочно громко спросил:

— А председатель-то где? Где председатель?

Козбагар работал — долбил ломом землю. Услышав Шеге, выпрямился. Не по себе Козбагару, но к кочевью подошел — председатель он, а не кто-нибудь.

— Назад! — вскрикнула Торка. — Какой бы женолюб ни был — назад!

— Апа-а, мой долг...

— Да чтоб он провалился, твой долг! Кому говорю, назад! Наза-ад!

— Дело государственное, апа...

— Пусть оно сто раз государственное будет, а ты идти не смей! Ойбай-ай, сгорел бы ты совсем, коли так! Самолюбия в тебе нету, что ли? Ойбай-ау, пусть глаза мои вытекут, если видела где такого слюнтяя!

В праведном гневе Торка плюхнулась на землю и заколотила по сухому песку костлявыми кулачками. Беженцы между тем занялись верблюдами, сгружая с них поклажу; другие уже возводили юрты.

Шеге, склонившись к самому уху взбалмошной старухи, тихо сказал:

— Апа, поосторожнее со словами «банда», «кулак». Эти люди к нам по приказу ГПУ пришли. Разве можно разбрасываться недозволенными словами, тем более что вы мать нашего председателя?!

— Э, а что я сказала?! Кулак... так это Пахраддин...

— Политика это, апа, политика!

— Какая еще политика?! — воззрилась на него Торка. Правда, сказала уже потише. Испугалась.

— Сам табарыш Сталин прказыбат астанабит откошёбки! — по-русски произнес Шеге. — Такая вот политика!

— Ойбу-уй! — вытаращилась на него Торка и, не говоря ни слова, понеслась к верблюдам. Доконал ее Шеге своим русским. — Ойбу-уй, верблюжонок-то уже сосет, а я и не подоила... Ай! Чу! Чу!..

Все потонуло в хохоте. Крохотная, с пальчик, старушка, а голосок за версту слыхать. И Хансулу рассмеялась.

Ей понравилась находчивость Шеге: одной-единственной репликой сумел он обратить в бегство несговорчивую старуху. Она задержала на юноше благодарный взгляд, будто впервые его увидела...

2

Маленькое кочевье из одной юрты долго петляло по пескам. Сначала, опасаясь погони, оно уходило без определенного плана — лишь бы подальше. Погони не было. И тогда беглецы решили двигаться на восток — опять же спешно, невзирая ни на день, ни на ночь. Не кончались барханы. Лишь на третий день пути открылся лог, заросший верблюжьей колючкой и вьюном. Там и остановились. Выгрузили поклажу. Двух верблюдов и одного верблюжонка, спутав им ноги, пустили пастись. Расседлали двух лошадей — людей-то, сопровождавших кочевье, тоже двое. Мужчина и женщина. Пока мужчина управлялся с животными, женщина развела костер, вскипятила воду. Оба безмолвны. Из двух стенок юрты быстренько соорудили шалаш. В нем, разместившись как смогли, попили чай. Горячий чай вышиб пот, путники устали после долгой дороги.

Первым заговорил мужчина:

— Шаныpак юрты подниму я, а ты — все остальное. Тут еще с колодцем возни. Смекнула? — Он подмигнул женщине.

Та выдохнула блаженно:

— Уф, благодать! И чаю глотнуть довелось без посторонних глаз...

Потягиваясь, как кошка, она повалилась на расстеленное одеяло. Чай разморил ее, она то открывала, то закрывала большие красивые глаза, а в них отражался свет. Это была Балкия. А мужчина, не отрывающий от нее влюбленного взгляда, — Булыш, ее Булыш, которого сумелатаки она «зацепить» со скандалом. С того самого дня как Балкия избавилась от старика Мажана и сошлась с Булышем, ее дни проходят, считай, в седле. Местечка во всем Донызтау и у берегов Шошкаколя не осталось, куда бы они не заглядывали, спасаясь от милиции. Наскоро сооружаемое жилище — надежная им защита от нежеланных глаз, хотя очень скоро и приходится его разбирать — походная

жизнь требует. Но Балкия не проявляет недовольства. Напротив, расцвела от такой жизни. Будто заново родилась. От счастья голова кружится. Перед глазами — во сне и наяву — Булыш. Черный, как чугун, Булыш. Насколько груб он внешне, настолько нежен душой. Булыш, ее Булыш, отвергший все радости мира ради нее одной, единственной на этом свете избранницы. Да и Балкие-то, собственно, иной жизни и не надо. Только бы он, Булыш, был рядом, только бы он, Булыш, был жив и невредим.

— Пошевеливайся, милая, не время отлеживаться, вон лошади пить хотят... Вставай-ка, — сказал Булыш повелительно, хотя и приятно было ему глядеть на нее, сладко потягивающуюся.

Балкия, смежившая было веки, улыбнулась, открыла глаза. Глаза как у дикой кошки. Сердце его застучало. Взгляд скользнул по округлому женскому бедру, потом — по необозримому песчаному миру, открывающемуся из шалаша. Желтые гряды — как свежеиспеченные краюхи хлеба, чуть выше — гладь неба, неоглядная, неохватная. Бездонное чистое небо. Тишь, не тревожимая ничем. Приятная сердцу тишь. Давно они не испытывали, подобного покоя. Откуда-то доносился стрекот кузнечиков. Фыркали лошади. Немой, глухой ко всему мир и единственная в нем спутница — вот эта женщина, ясноокая, как солнышко в добрый день, женщина, готовая пойти с ним и в огонь и в воду, женщина, отвергшая радости мира ради него одного, единственного на этом свете избранника, женщина, без оглядки за ним последовавшая. Веселая, шумливая красавица Балкия. Об одном сожалеет Булыш: о том, что, поддавшись уговорам, бросил тогда уединенное безопасное местечко на берегу озера Шошки и пошел за беженцами. Это было ошибкой. Хотел людям в беде помочь, да их же и подвел, многие пали зря. Напрасно он принял тогда предложение аульных посланников. Жил бы сам по себе, голову собственную берег. Ни за кого, как говорится, не в ответе. И греха на душе не было бы. А теперь — грех на грехе. С оружием против власти пошел, стрелял... Дал зарок — ни к кому отныне не присоединяться. Ни к бандитам, ни к Советам, собственным домом будет держаться — до тех пор, пока времена не переменятся, пока люди не утихомирятся.

Не пропадет. Поживет с любимой в уединении, в песках, промышляя дедовским ремеслом — охотой...

Балкия, зевнув, потянулась. Она лежала босая. Подол вышитого по краю белого платья задрался, обнажая белые тугие икры... На шее под нежным подбородком едва заметно пульсировала жилка... Булыш забыл обо всем. Подался было к ней, да и она сама устремилась навстречу. Крепкие объятия Балкии как тиски, Булыш в них едва не задохнулся...

После полудня Булыш и Балкия принялись хозяйствовать. Балкия поднимала юрту, а Булыш рыл колодец. Вода появилась лишь к вечеру на глубине трех саженей. Сначала холодный, отдающий стужей суглинок, затем — глина, и наконец — вода, желтая-прежелтая от мути. Верблюды, почувствовав воду, затоптались у колодца. Но настоящая вода, ледяная, чуть замутненная илом, показалась позже — семи потов стоила она Булышу. Зато и венец усилий приятный. Набрав два ведра, поставил их перед животными — те жадно приникли к воде.

На следующий день Булыш нарубил акации и огородил ею колодец. Когда с хозяйственными делами было покончено, он, взяв капкан и ружье, отправился на привычный с детских лет промысел — охоту.

3

В аулах кутерьма. Прежнего привольного времяпрепровождения, когда можно было вдосталь поспать и деньденьской от души есть мясо, запивая его хмельным, бьющим в голову кумысом, нет и в помине. Теперь, в какой аул ни загляни, кто-нибудь да суматошится:

— Ойбай, план!..

— План, ойбай!..

Каждый вечер — собрание. Каждый вечер — перебранка до хрипоты. Мордуют один другого за то, что кто-то «кулак», кто-то «прихвостень», кто-то «голяк». Уполномоченные всех рангов прочесывают аулы вдоль и поперек. Безграмотный люд взирает на них с разинутым ртом, ибо не знает, кого слушать. Каждый из уполномоченных растолковывает политику коллективизации. И каждый — по-своему. Народ-то на собраниях только хлопает, когда попросят — сам-то он ничегошеньки из того, что говорят,

не понимает, ведь речь у уполномоченных хоть и казахская, да больно много в ней русских слов. Так было принято в выступлениях тогдашних руководящих товарищей, это считалось престижным. Потому после собрания люди возле своих активистов кучатся — объясните, дескать, чем сегодняшний разговор кончился. Активисты и разъясняют — опять же по-своему.

Последний уполномоченный, которого аул у Жылыбулака имел честь лицезреть в отсутствие Шеге — он тогда в операции по поимке беженцев участвовал, — милиционер Бухарбай. Сейчас его все кличут уважительно — Буха. Он оставил милицейскую службу — уполномоченным стал, тем официальным лицом, который народу путь в будущее казать может...

День был обычный. Как всегда, кипела работа, народ отливал кирпичи — так-тук... так-тук... Время вечерней молитвы, неурочное как будто, но со стороны сопки Хантторткил показался одинокий всадник. Кто-то из уполномоченных. Обычно люди подобного ранга мчатся сломя голову, только пыль из-под копыт летит. Этот, судя по всему, не спешил, он даже, кажется, подремывал в седле.

— Ну, малец, беги! Встречай! Буха! — велел Козбагару Шарип, посмотрев на дорогу, и от волнения смял в руке козлиную бородку.

Козбагар побледнел. Ох уж эти встречи! Но некуда деваться. Спотыкаясь, потрусил к всаднику. На старом рыжем мерине с прогнувшимся хребтом и в самом деле ехал Бухарбай, ныне безобразно раздавшийся, похожий на бурдюк, который вот-вот лопнет: жирный кабаний загривок — в складках, узенькие глазки заплыли, не разберешь, закрыты они у него или открыты. Не ответил уполномоченный на приветствие запыхавшегося Козбагара, но ничего, гость большой, от такого все стерпишь. Председатель запутался в поводьях, перехватить хотел, чтобы гость не утруждал себя, да, слава богу, тот сам бросил их ему.

Бухарбай потянулся в седле, протяжно зевнул. С большим трудом стаскивая с коня жирный зад, молвил:

— Собрание бы надо, с ходу.

«С ходу» уполномоченный произнес по-русски, что для Козбагара подчеркнуло лишь важность момента — закивал в угодническом раже головой.

— Хорошо, Буха, я сейчас...

Понесся Козбагар собирать народ...

— Так, табарыши! — начал уполномоченный, когда народ собрался. — На повестке дня у нас — частный собственник. Наш кровный враг сегодня — частный собственник, табарыши! У кого частной собственности много, тот бай, кулак! У кого частной собственности поменьше — тот середняк! Ну а у кого вовсе собственности нет тот — батрак... что ни на есть. От так! Кто сатсилизм строит? Батрак строит. Поняли? От так! Такой порядок.

— Ай, золотые слова!

Это Шарип. Он сидит в первом ряду.

— Та-ак, — продолжил Бухарбай, вдохновленный. — Если мы, едриттимат, частного собственника не уничтожим, в корне не уничтожим... мы вперед не пойдем. Не сможем. От так! Калашников так сказал. Долой частную собственность! Долой тыбая-мая! Да здравствует каллектеп! — и захлопал.

Его поддержали, захлопали. Бухарбай перевел дыхание, вытер огромным носовым платком потный загривок. Наклонился к уху Козбагара, шепнул: «Где бы чайку попить, а?..» Понял Козбагар — надо закругляться. Встав, пожал руку уполномоченного, от имени аула «Жана жол», взявшего курс к новой жизни, поблагодарил за содержательное выступление и заверил в заключение, что члены его «каллектепа» с честью исполнят мудрые призывы руководства.

Когда же они остались одни, Бухарбай сказал:

— Веди-ка меня теперь за хороший дастархан!

Козбагар задумался.

— И чтоб девка в доме была, слышишь! На выданье девка...

Двойной подбородок Бухарбая заколыхался в похотливом смешке. Козбагар почесал затылок. Уполномоченный усложнил дело.

— Идемте, Буха...

Был в ауле середняк по имени Жумаш. И девка у него как раз на выданье — Наркыз[1], крупная, рослая, под стать прозвищу. Как же удачно Козбагар про Жумаша вспомнил!

---

[1] Наркыз — девушка с верблюда.

Высокий худой хозяин, завидев гостей, торопливо поднялся с голопузым мальцом под мышкой. Наркыз, как положено, постелила им на гостевом месте одеяло. Кирпичи во дворе отливала, к их приходу была в рабочей одежде. Сапоги и шаровары не красили ее. Напротив, огрубляли и без того крупную фигуру. Государственный муж разочарованно глянул на председателя: другого, дескать, дома не нашел? Затоптался Козбагар на месте, озадаченный, что не сумел услужить высокому гостю. Наркыз тем временем, унеся самовар, вернулась. Теперь на ней красное ситцевое платье, темно-коричневый плюшевый камзол, на шее бусы, на руке браслеты. Помылась, естественно, причесалась. Девушка как девушка. Уполномоченный сразу на ней сосредоточил внимание. Двойной подбородок отвис. Как есть Буха![1]

Козбагар успокоился.

А еще через некоторое время они простились, условившись, что Бухарбай заночует у хозяев, а Козбагар зайдет за ним утречком, чтобы проводить.

Хозяин Жумаш оказался не в меру многословным человеком, весь вечер на неурядицы хозяйственные сетовал, окончательно утомил Бухарбая. Он — гость, что же ему остается? Слушает хозяина, хотя тот его раздражает. Время нынче такое — все жалуются. Не найдешь дома, где бы хозяин не плакался; всех доконали налоги. Бухарбай привык к подобным излияниям. Мало того, жалобщики и возмущают его порой. Собственные заботы, понимаешь, у них на уме, о себе, сволочи, думают. Нет бы вот так о «сатсилизме» подумать. Куда-а... Частнособственническая психология корни пустила, люди с такой психологией за пять-шесть коз продадут общество. Это Бухарбай считает непорядком.

Когда Наркыз, позванивая шолпами в косах, принялась разбирать постель, Бухарбай обрадовался. Гостю положено прогуляться, пока хозяева готовят постель. Очутившись во дворе, он с удовольствием перевел дух, жадно поглощая легкими влажный свежий воздух. Ночь была темная, в тучах. Не веря тому, что избавился наконец от болтливого

---

[1] Здесь игра слов: «Буха» — уваж. от Бухарбай и «буха» — бык-производитель.

хозяина с его слезливыми причитаниями о жизни — послушать его, так всемирный потоп скоро будет, — он с наслаждением разминал затекшие ноги и плечи. Перед глазами стояла девушка в приталенном камзоле, чуть, может быть, великоватая для него, но юная, ладная. И главное — воспитанная! Слова за вечер не проронила!

Лампу погасили, тьма кромешная. Наркыз куда-то вышла, да вскоре вернулась. Заперла дверь. Позванивая шолпами, прошла к постели в правой части дома. С братишкой, похоже, ляжет. Родители — на левой половине дома. Бухарбай — в центре, на почетном месте. Темно — хоть глаз выколи. Но Бухарбай различает силуэт девушки, раздевающейся у постели. Тесно сердцу в груди от запаха духов, который он улавливает, кружится голова. Девушка быстро скользнула под одеяло. Ни звука, ни движения, даже дыхания не слышно.

Лаяли снаружи собаки — глотки бы им кто песком позасыпал! Но затихли и они. Засопели хозяева. Девушка как умерла. Не иначе его, Бухарбая, ждет. Умница! Два-три последующих часа ползли как годы.

Что-то бормотали родители девушки во сне. Крепко, стало быть, спят. Самая пора действовать! Через дыру в кошме виднеется кусочек неба; тучи, надо полагать, рассеялись. Небо настроило Бухарбая на лирическую волну: если сейчас — непременно сейчас! — он не окажется рядом с ней, жизнь для него потеряет смысл! Скатившись с постели, подался к девушке. Она лежала на спине, лицом к нему. Коса свесилась с подушки. Левая рука — в браслетах и кольцах — поверх одеяла, на чуть вздымающейся и опадающей девичьей груди. На карачках и застыл Бухарбай у девичьего ложа. Он не знал, что делать, Наркыз, к его огорчению, спала, не дождалась. Подумав, взял ее за руку. Горячая рука. Чуть сжал ее, чтобы проснулась. Девушка пробудилась, подняла голову. Убрала руку. Испугалась, что ли? Вот дикарка!..

— Что нужно? — спросила она. Жестковато спросила.

Бухарбай опешил. Как это — что нужно?!

— Вы не пугайтесь, — пояснил он, дрожа. Срам! Он, Бухарбай, представитель власти, дрожит?! — Это я...

— Ну и что же, что вы? Ступайте на место!

— Наркыз! Слово у меня к вам. Не видел вас до сих пор.

А увидел... Поймите, не шучу я... серьезно. Если вы не против, я бы хотел, чтобы вы стали мне же...

— А когда это вам пришло в голову?

— Когда? Ну как... А сегодня вот, увидел, решил...

— Не спешите. Как бы не пожалели потом.

В ее голосе ирония, а Бухарбай подумал — потеплела она к нему, раз жениться пообещал. Теперь это обещание следовало подкрепить объятиями или хотя бы поцелуем.

— Я, милая, серьезно, — зашептал он, удовлетворенный. — Уж одну-то девушку я сумею сделать счастливой. Только вы мне не отказывайте...

— Ну и что, по-вашему, делать надо, не отказывая?

— Да ничего. Ровным счетом ничего, — с этими словами он ее облапал.

Девушка завертела головой, пытаясь вырваться из объятий.

— Голубушка моя, любовь моя, душа моя... — твердил Бухарбай, прижимая ее к себе и осыпая лицо поцелуями. Во рту у бедняги пересохло, как от великой жажды.

— П-пустите, — шипела она.

Это еще больше распалило Бухарбая.

— Ты не бойся, я женюсь, — захлебывался он от нетерпения, наваливаясь на нее грузным телом.

Что удивляло — она не кричала. Сопротивлялась молча. Наркыз — так Наркыз! Крепкие у нее ручищи. Правой Бухарбаю в подбородок уперлась, голову ему в сторону отворачивает. Это лишает его возможности ощутить тепло ее высоких грудей...

Мало-помалу Наркыз начала высвобождаться. Самолюбие в нем взыграло. Это что же? На соплюху его не хватает?! Резко мотнул головой — девичья рука соскользнула с подбородка, но к этому времени и девушки-то на постели не было — скатиться успела. Он зацепил ее за рубашку, потянул к себе, да ногой — будь она неладна! — куда-то угодил. Заверещал ребенок, братишка Наркыз, Бухарбай тянул девушку в постель — не отступать же? — но его чем-то стукнули по лбу, и он ретировался — нырнул к себе под одеяло.

Мальчишка воплями поднял всех на ноги.

— Зверь, — услышал Бухарбай. Хозяин, похоже, сказал.

Наркыз успокаивала брата.

— Что случилось, Наркыз? — спрашивала мать.

— Ничего, — коротко ответила дочь.

...Козбагар, бедняга, до утра не сомкнул глаз, боясь проспать рассвет. С предутренними потемками, не вытерпев, он вышел во двор, посмотрел на жумашевский дом. Рыжий, с прогнувшимся хребтом мерин Бухарбая был вчера привязан за юртой. Он исчез. Козбагар перепугался. «Пропал! — подумал. — Проспал». Побежал было к дому Жумаша, да заметил вовремя — кто-то крадучись выезжал из аула, нахлестывая лошадь. Уполномоченный...

Жумаш в тот день сказал Козбагару:

— Я против гостей ничего не имею, браток, но... но... вот таких бычков, как вчерашний, ты больше не води!

Козбагар со стыда чуть сквозь землю не провалился.

...Товарищество «Жана жол» между тем приступило к исполнению указаний уполномоченного из района. Под руководством председателя Козбагара активисты из бедняков взялись за немедленную ликвидацию лиха, именуемого «частнособственничеством».

— Если вся беда в частнособственничестве, если частнособственничество ставит нам подножку — крушить его! — решили они.

И Шарип кинул клич:

— Слово уполномоченного — слово Сабетски бласты. Выполнять его надо!

А кто-то добавил:

— Ни копыта единоличнику! Не сметь против Голощекина переть!.

И пошло-поехало. За какие-то два-три часа активисты во главе с Козбагаром-председателем перевернули аул. С полсотни очагов в нем, так они скотину у всех позабирали и заперли в общественный сарай. Орудия труда — кетмени, лопаты, топоры, молоты — тоже изъяли, в коллективный склад покидали, который теперь был в мечети. До вечера — в течение одного дня — с частнособственничеством в товариществе «Жана жол» было покончено, даже про личное имущество не забыли — все в домах подобрали, будто корова языком слизала. Зато какой шум был! Женщины поднялись вечером: какая же хозяйка смирится с пустотой

в доме и на дворе?! Вот уж где активисты схватились за голову! Кто куда побежал, приговаривая, баб, дескать, в первую очередь в коллективный сарай заталкивать надо было...

Такую катавасию пережил аул, пока отсутствовал Шеге.

4

Ох и дебаты были, когда вернулся Шеге и члены правления оказались в сборе! Козбагар помалкивал. Потерянный у него был вид.

— Принудительная запись в каллектеп, насильственное обобществление имущества и скота... это... это ведь, табарыши, политике партии противоречит! — зло выговаривал Шеге. — Партия подобные действия «палачеством» называет, партия это критикует!

— Ай, а он, наверное, прав! — поддержал, смеясь, сына Шарип. — Каллектеп каллектепом, но правительство не велит силком туда запихивать. Перегнули мы малость.

Имущество и скотину решили людям вернуть. Поднялся Козбагар, все такой же потерянный.

— Уважаемые... ых, — начал он, — табарыши... — и замолчал, то закатывая, то опуская глаза. — Освободите вы меня, а?

— Как освободить?

— Не могу я... Ей-богу! Правда, не могу!

— Вот чудак! — расфыркался Ждахай. — Тебе что, государственная служба — игрушка? Устал, так и бросить можно?

— Грамотешки нет... ых.

— Так кто с тебя, зараза, грамотешку спрашивает? Вон Ерназаров, грамотный, что ль? А ничего. Казахстан возглавляет...

Козбагар почесал затылок.

...Назавтра все до единого в ауле вышли на сенокос. Люди с кетменями, косами, серпами разбрелись по лощинам и оврагам. Шеге, Ждахай, Хансулу, Раш, Балжан облюбовали овраг Есеколген.

— Хансулу! — позвал вскоре Ждахай. — Давай кетмень, не стесняйся! Ждахай-чудак за двоих оттяпает, давай-давай! Э-эх!..

Хансулу, непривычная к тяжелой работе, занялась тем, что ей было сподручнее, стала сгребать скошенную траву. И грабли-то держала неумело.

В аул возвращались сумерками. Безветренный летний вечер. Воздух пропитан кисловатым запахом полыни.

Ждахай заговорил с Раш и Балжан, те за ним увязались. Хансулу и Шеге остались вдвоем.

Хансулу давно хотела уединиться с парнем. Плохо ей в ауле, из которого она некогда бежала. Торка с Козбагаром — одно дело, ясно, какие у нее с ними отношения. Их бы воля — они бы на бедняжку небо обрушили, чтобы она им глаза не мозолила. Но еще тяжелее ей в собственном доме. Хансулу своим побегом, оказывается, осложнила и без того трудное положение отца. Сур Жекей несколько раз вызывал Пахраддина в район, устраивал допросы: не зря, дескать, ты дочь и брата к бандитам сплавил. Несколько дней отец отсидел в тюрьме. Из скотины во дворе — вороной жеребец, несколько дойных верблюдиц да Шойынкара; последнего зачастую используют на стороне, не интересуясь, нужен ли нар хозяину. Раньше интересовались... Темен завтрашний день Пахраддина. От всего его отлучили. В кооператив не берут, хотя и просился. Бродит теперь деньденьской по степи, один-одинешенек, за скотиной присматривает, а вечерами тетрадки листает, им же скрупулезно заполняемые, — родословная казахов, своеобразная летопись кочевой жизни народа. Весь свой век, считай, отдал отец любимому увлечению. Или читает. В этом его существование. Обида на дочь, которая не стала жить с тем, за кого он ее выдал, устроив пышную свадьбу, понятная, конечно, обида. Мечтает Хансулу уйти из родительской юрты. В мечтах неизменно обращается к Шеге. Он, как ей кажется, единственный спаситель. Знала — неравнодушен он к ней, давно, с тех пор, как и другие парни на девушек заглядываться стали. Не было в округе джигита, который не слал бы ей любовных посланий. Шеге — один из них. Думает она о нем, много думает, особенно с тех пор, как судьба повязала ее с Козбагаром. Перед свадьбой, помнится, недоумевала по поводу отцовского выбора: уж если решил за голяка отдать, так почему — Козбагар? Почему не Шеге?.. Тогда, в песках, они поговорили впервые. С того дня не может она его забыть. Душой тянется к нему, сердцем.

Другой теперь Шеге, не такой, как в ту первую встречу. Теперь он — говорит. Много говорит. Не молчит.

И сегодня говорил. Хансулу его слушала, слушала. Но слов, которых она ожидала, он не произнес. Главных слов Шеге не сказал.

5

Последние дни Шеге стал запаздывать домой. Темно, лампу давно потушили. Шарип лежал у стены, засыпал, когда его пробудило чье-то бормотание. Жайбаскан, оказывается, бодрствовала.

— Ты о чем думаешь? — спросила она. — Сын-то у тебя — жених.

Сна как не бывало. Шарип схватился за жиденькую бородку, поглядел на звездное небо сквозь дыру в кошме.

— Э, он же комсомол нынче, почем мне знать... Сам подумать должен...

— Сам, — Жайбаскан вздохнула. — То-то, что сам. Все испортит, коли сам...

Шарип резко поднялся, уставился на жену. А та ему:

— Путается он с сучкой этой. Торка сегодня прибегала, опять пыль до потолка подняла.

— От безмозглый! От головорез! — вскипел Шарип и покачал головой. — То-то удивлялся я, что, думаю, головорез тихий такой ходит, а он что надумал!.. Где он? Ах головорез!..

— Нету его. Времени, знаешь, сколь? А его нет.

— Нет? Ну нет, так нет. Но вот я тебя спрашиваю: родители у него в этом доме есть? С родителями в этом доме кто-нибудь считается?.. Ишь, об кого трется, погань! Нет, байбише, спутать его надо. Ему, козлу порченому, скандалу хочется. Не иначе. Ну-ка, говори, кто есть на примете? У кого дочка на выданье?

— У Сагидоллы в Копе дочка подросла. Видела ее. Ничего.

— Тьфу, баба! Один раз с кулаком роднилась, мало? Еще захотела?

— Ойбай, и Сагидолла — кулак? Кто знал, ойбай! А Изтилеу в Шоме? Не кулак?

— Изтилеу? Нет, середняк. А что, дочка у него?

— С лица не очень, а так ничего. Работящая.

— От такую и надо! На кой красота-то? Сватать будем. Человека посылать надо. Прям завтра.

— Так что говорят-то? Бабье равенство какое-то... Молодые, говорят, сами теперь решают. Сын-то, хорошо, согласится, а если...

— А куды он пойдет — не согласится?! Пусть попробует! — затрясся от злости Шарип. — Отца не послушает, мать не послушает — на кой нам такой сын! Пусть проваливает с глаз!..

— Ладно-ладно, успокойся, — заволновалась Жайбаскан.

— А что — не так говорю?

— Так, так...

Шарип еле утихомирился. Дверь открылась, кто-то выскользнул из юрты.

— Кто там? Эй!

— Дочка. Выйти, что ль, нельзя?

Оба в неведении относительно того, куда это их дочь в такой поздний час отправилась, а пошла она к Шеге— сообщить услышанную новость...

Когда Хансулу, простившись с Шеге, открыла дверь юрты на окраине аула, Раш не спала.

— Ты что, женеше? — удивилась девушка.

В голосе Хансулу Раш уловила радость, он звенел как веселая песня. Счастливая Хансулу, потому Раш не стала ее расстраивать, но, когда Хансулу коснулась головой подушки, не утерпела, рассказала, что сегодня услышала от Торки. Не все, правда, передала, да и не так грубо, как услышала, однако суть донесла. Раш ожидала, что Хансулу испугается, расплачется, но та залилась счастливым смехом:

— Ой-ой, женеше, и это ты хотела сказать? Нашла кого бояться — Торку! Трусиха ты у меня, женеше!

Только они перемолвились, за юртой протопали конские копыта. Кто-то спрыгнул с седла. Раш и Хансулу замерли.

— Хансулу! — позвал мужской голос. Темно. Обе испугались, узнав голос Шеге, перевели дыхание.

— Ау! — откликнулась девушка.

— Выйди!

Хансулу, накинув чапан, вышла, о чем-то переговорила с джигитом и возвратилась. Раш, что-то почувствовав сердцем, привстала в постели, одеяло сползло с нее.

— Женеше, я ухожу! — возбужденно сообщила Хансулу.

— Как это — ухожу? Куда?

— Не знаю... Зажги лампу, женеше!..

Из юрты Хансулу вышла с туго утрамбованным коржуном: одежда, постель. Раш суетилась, вытирая заплаканные глаза. Шеге приторочил коржун к седлу.

— Но куда же вы? — полюбопытствовала Раш.

— Пожелайте нам счастливого пути, женеше! А где мы окажемся, узнаете после.

Раш обняла Шеге, поцеловала в лоб. Расплакалась.

— Айналайн!.. Доброго вам пути! — проговорила она, заливаясь слезами. Опять она осталась одна — ни Азбергена, ни Хансулу. Она стояла за юртой и вытирала глаза кончиком жаулыка, одна-одинешенька прощаясь с двумя конниками, удалявшимися на север.

Аул спал. Собаки на своих не лаяли. Никто не нарушил тишины. Редкие звезды на небе ежились от холода.

...Двое всадников безостановочно продвигаются по безлюдной равнине. Держат путь по Полярной звезде. Оба безмолвны. В жизни Хансулу не совершала подобного приятного путешествия. Чувство, которое она испытывает, чисто, как рассвет, который проступает. Жадно обозревает она пробуждающуюся ото сна степь. До чего широк, до чего великолепен мир! Косули, завидев их, срываются с такыров. Вспархивают из-под ног лошадей рябчики.

С восходом солнца иней, покрывавший траву, растаял, смочил конские копыта. К полудню Хансулу, утомленную степным однообразием, стало клонить в сон.

— Передохнем, если тебе спать хочется, — предложил Шеге. — И лошади передохнут.

Хансулу согласилась. Остановились у южной стороны скалы. Лошадей пустили пастись в логу, где была трава, спутали им ноги. А сами как были, в одежде, прилегли под караганником, под голову подложили коржун. Но сон ушел, будто и не зевалось им только что. Шеге обнял невесту. Не приняла она объятий джигита. Отодвинулась. Дрогнули длинные ресницы, недовольно сошлись брови.

— Сулу! — засмеялся Шеге. — Сулу!

Сулу промолчала. Посмотрела на него в упор.

— Мы теперь с тобой — супруги.

— Кто тебе сказал? — В голосе девушки — едва уловимый страх.

— Я сказал.

— Супругами только после обряда становятся. Есть такой обряд, — выпалила она.

Шеге мысленно усмехнулся. Отметил про себя находчивость девушки. Спать по-прежнему не хотелось, и оба снова сели на лошадей.

6

Весть, что Шеге, в глазах аульных активистов «растущий», «пользующийся авторитетом», сбежал с дочкой кулака Пахраддина, всколыхнула мужчин и женщин.

— Жаль, далеко б пошел. Сам себе жизнь испортил, — сокрушались одни.

Другие усмехались:

— Не мог, что ли, другой найти — с менее шумной славой?..

Не сходит усмешка и с губ Лиса Курена. Мягкий в обращении и со стариками, и с молодыми, он никогда никому не перечит. Благодаря своей покладистости, он и до революции, и после нее жил неплохо. Сызмальства, помнится, как только научился соображать, кормился за счет бая Мажана. Острый у Курена глаз, вот и брал бай его с собой в город. Сноровистый молодой человек стал мало-помалу вести его торговые дела, сделался при нем своего рода приказчиком. На базарах в Коныpате и Ходжели был на короткой ноге с торговыми людьми из каракалпаков, узбеков, туркмен, а на ярмарках в Каркаралинске и Темире — с купцами из русских. Скотина, которой располагал Мажан — ей и степь-то была тесна, — позволяла Курену делать широкие жесты, он распоряжался байской живностью направо и налево. В пору новой экономической политики камень Курена опять, как говорится, покатился в гору. Но и при том даже, что дела его шли хорошо, был Курен осторожнее сороки. Скотину не наживал, налегал на золото и деньги. Тише воды и ниже травы держался. Когда в степи поднялась смута, сгустились тучи над головой бая Мажана, полетел с аулнаев горластый Шарип — подходящим на его место оказался Курен: и к делам-то, получалось, он способный, и «глаза у него открыты», то есть в грамоте разумеет. Что, как говорится, просил у неба, на земле нашел.

В последние годы Курен уяснил себе одно: чем больше на собраниях поддержишь власть, чем больше будешь кричать, тем больше шансов обретешь в глазах уполномоченных. В тот день, когда зашло солнце для бая Мажана, он, не долго думая, от него отрекся. На собрании, приторно улыбаясь, заговорил от имени бедняков. Такая речь завораживает слушателей. Очаровав людей улыбкой и словом, предложил конфисковать скотину и имущество бая Мажана. Чтобы выглядеть справедливым в глазах начальства, он и наказание для бая от имени народа определил. Одну лишь досадную промашку допустил он на этом митинге: зря тронул Шарипа. Но опять же ради того он это сделал, чтобы уполномоченный увидел, какой в Ханторткиле добросовестный председатель аулсовета: все-то он доподлинно знает, даже то, что Шарип, бывший аулнай, прихвостень у Пахраддина. Шарип в ответ запустил в него сапогом — ничего, Курен перетерпел. Больно от другого, от того, что Шарип прокричал всенародно: «Не ты ли все дела Мажана на базарах обстряпывал... оттого ты и Лис...» Хорошо, начальство, наслышанное про вспыльчивый нрав Шарипа, не придало выкрику значения. Но с тех пор Шарип — ему враг, ведь в точку попал, каналья!

Внешне все пристойно: «Шаке! Ах Шаке!» — восклицает он при встречах и хлопает бывшего аулная по спине, а бывает, что и похвалит: «Вот уж кто активист, так это наш Шаке!» Да Шарип-то, бог с ним! Кто теперь Шарип? Опаснее его щенок Шеге, вот у кого клыки отрастают. Боялся Курен, что власть в ауле к нему перейти может. И вот — надо же! — щенок сам полез на обрыв, с которого непременно сорвется. Как же ему, Курену, не радоваться судьбе? «Пусть! — размышлял он. — Пусть срывается! Поделом сопляку!»

Увидел Козбагара. Увалень выглядел неважно. В глаза не смотрит. Фыркнув, Курен подсыпал на рану соли:

— Э, браток, свои же родичи тебя и уважили, а? Поздравляю.

Козбагар не смог скрыть боли. Но и отвечать не стал.

...Верещага Шарип после освобождения от аулнайства вновь собрал в сундучок нехитрые сапожные инструменты, которые за ненадобностью, став игрушками для детей, давно валялись по всему дому. К старому ремеслу вернулся.

Наутро после той ночи, когда Шеге выкрал Хансулу, в неведении о случившемся, работал — прибивал к сапогу подошву, постукивая, молоточком по коже, натянутой на железную лапу. Обрезки кожи, сыромятины вокруг... Пришла Жайбаскан. Держит в руках горячую, исходящую паром лепешку.

— Вестей от пса нет? — спросил Шарип, вгоняя гвоздочки в подошву.

Пес — это Шеге.

— С сучкой сбежал! Вот тебе и весть! — выдала Жайбаскан.

— А?.. — Шарип ударил по пальцу молотком. — Ых... — Сунул палец в рот, зажмурился. — Ах ты, собачий выкормыш! — вскричал. Глаза, считай, сошлись на переносице, рыжие усы встопорщились. Бросился к камче на стене, а с ней — к двери. — Ах головорез! Ах щенок!..

— Кого ты бить собрался? Сбежал, говорю. Еще в ночь ускакал. На твоем гнедом.

Шарип молча вытаращился на жену.

— Что выпялился-то? Пешком, что ли, девушку уводят?

— Ах сын собачий, ах осрамил!.. Сгореть бы лучше! — загнусавил слезливо.

— И всё из-за тебя! — накинулась на него жена. — Твое воспитание! К начальству примазывался — активист я, бедняк я. Людей за бороду хватал, чтобы начальству угодить. Что, вру, скажешь? А что молодым-то после тебя делать? Вот и тебя теперь твой сын за бороду. Что? Подыхай, коли правда глаза колет!

— Замолчи-и! Замолчи, безмозглая! Не трогай начальство! Не тронь! — разверещался Шарип, подскакивая к жене. Красный стал от натуги. В руке — камча.

— Бей! Бей! — Жайбаскан не шелохнулась. — Бей, если что поправится!

Шарип хотел было ударить, да не посмел.

— Ах ты пес! Ах собачье отродье! Ну погоди!.. Попадешься мне! — бормотал он, дрожа от обиды.

Весть об исчезновении Шеге и Хансулу дошла тем же утром и до Сырги, когда она доила верблюдицу. Не знала, радоваться ей или печалиться. Как еще хозяин очага воспримет? Что скажет? Ведь радоваться или не радоваться Сырге опять же с тем связано, что скажет он, Пахраддин.

Он не спеша наматывал на ногу портянку, чтобы надеть сапог. Вошла Сырга, поставила у порога подойник с молоком, сказала:

— Сбежала твоя дочка...

Пахраддин, натянув сапог, поднял на нее глаза. В них — страх.

— С Шеге убежала, — добавила Сырга, помешивая кочергой угли в очаге.

Пахраддин встал, притопнул сапогом. Вышел, не проронив ни слова. Тяжелыми были его шаги. Приостановился у дома. Прошелся взглядом по осенним выцветшим долам. Обдумывал услышанное. Знал он, что судьба его дочери этим и закончится. Пожалел Хансулу. Что ей, бедняжке, делать, на кого рассчитывать, как не на комсомол? Разве время и будущее не за ними, комсомольцами? За Шеге... за Ждахаем... за Козбагаром... Что ж, честь и хвала дочери, разбираться, значит, стала, что к чему. На родителей нет надежды. Пахраддин, некогда почитаемый, кто он сегодня? Живой дух. Время, ненадежное, меняющееся, отсчитывают ныне другие, такие, как Шеге. В подручных у них Сур Жекей, Лис Курен — серые лошадки. Куда им велят, туда и скачут. Время — за ними, за молодыми, резвыми, не знающими узды, как стригунки.

Стоит Пахраддин потрясенный, беспомощный, как щепка, которую бурный поток вынес на берег. Плачет, душой плачет. Сердце кровью исходит — кто с людьми останется? Комок порой подступает к горлу, хочется во всеуслышание крикнуть: «Не бросайтесь люди, прошлым, не закидывайте его песком! Разве отец, разве мать, убеленные сединами, — не прошлое?! Не слышал я, чтобы поколение, родителей своих хулящее, память о них осквернившее, здоровым осталось. Люди, опомнитесь!» Если бы мог, Пахраддин прокричал бы всему свету во весь свой могучий голос. Некогда люди слушали его. Но не кричит он. Молчит. Знает, теперь его не послушают, теперь такие, как он, не в чести.

Взгляд Пахраддина остановился на человеке, рысящем на верблюде к обрыву. Верблюда Пахраддин узнал сразу. Шойынкара! Несчастный Шойынкара! Ждахай, похоже, на нем. Нет у стервеца соображения, что с верблюдом, да с таким, как Шойынкара, поаккуратнее обходиться надо, не

гнать как жеребца. Шойынкара достоин человеческого обхождения, благородная скотина. А Ждахай, как ни увидишь, нахлестывает животное почем зря. Что ему коллективную скотину жалеть? Да, коллективной скотиной стал Шойынкара. Пахраддин сам его отдал. Уж коли хозяина в кооператив не берут, так пусть хоть верблюд послужит во благо кооперативу. Исхудал Шойынкара. А ведь лучшим считался среди верблюдов. Нар из наров!..

Пахраддин вздохнул. Тяжкий был вздох.

7

Нависли первые тучи над одинокой юртой в отдаленных песках. Недолго тянулись безмятежные дни. Сначала чай кончился, потом — сахар. Пошли на убыль и другие продукты. Не переводились лишь верблюжье молоко да вяленое мясо. Вчера вечером Булыш, нахохленный, сказал:

— На базар мне надо, Балым. Иначе — никак.

— Какой базар? Ты в уме?! В бегах ведь...

— К каракалпакам съезжу. В Бескалу. Кто, думаешь, узнает?.. Отсюда до Коныpата двое с половиной суток езды. Будет все хорошо, так за недельку обернусь... если, конечно, ты тут одна не забоишься.

— А если и забоюсь, что это меняет?..

Булыш отмолчался. Яловую кобылицу он решил продать, а на вырученные деньги довольствия на зиму закупить. Опасная выпадала дорожка.

С рассветом стал он собираться в дорогу. Балкия с мокрыми от слез глазами заталкивала что-то в коржун. Две берданки у Булыша после той перестрелки в песках. Одну оставил Балкие.

— Не высовывайся днем, — советовал он. — Басмачи могут налететь. И скотину никуда не пускай. Огня не жги!

Сказал и поехал. Ружье — на плече, коржун — в руке.

— А заявится кто... Что делать? — спросила напоследок Балкия, вытирая слезы.

— Одному богу вверяю тебя, Балым!

Уехал Булыш с верблюдом в поводу, ориентиром ему было солнце.

В Коныpат он въехал ночью. На узких извилистых каракалпакских улочках с глиняными дувалами, тянущимися

бесконечной стеной, с дымом от тандырных печей, степной казах с верблюдом в поводу выглядел непривычно. Дождавшись, когда собаки перестанут лаять, коровы мычать, Булыш потихоньку приблизился к воротам каракалпакского торговца Шамурата, приятеля Пахраддина. Тугобрюхий торговец встретил Булыша как долгожданного гостя. Поделился с ним своими соображениями относительно Советов. Как утверждал торговый человек, Советами недовольны не только в аулах, но и в городах: готовится выступление англичан и хана Жонейта. Наслышанный о том, что Булыш с оружием в руках выступал против Советской власти, он исполнил все, что тот просил. Цена лошади на базаре не превышала восьмидесяти — девяноста рублей. Кобылицу, на которой приехал Булыш, он оценил в девяносто рублей и из этого расчета выдал ему из своих запасов две торбы кукурузы, сахар, чай, мыло и прочие необходимые тому товары.

Булыш той же ночью уехал. Путь он держал по созвездию Семи Разбойников[1]. Встречный студеный ветер пронизывал насквозь. Думая о Балкие, ожидавшей его далеко в песках, торопил нара. С зарей пошла знакомая степь с пучками полыни и баялыша. Некоторое время спустя, мучимый предвестием недоброго, обернулся и обмер: группа всадников, пыля, нагоняла его под утренним солнцем.

Булыш приостановил верблюда, огляделся. Кругом равнина, гладкая, как подбородок безбородого. Погнал животное. Взял несчастного верблюда под камчу. Впереди ущелье, оно спускалось из Нарымбета в Ой. Схорониться там— никто не подступится. Но преследователи на хороших конях шли резво. Нагоняли Булыша. Молясь аллаху, он опустил верблюда на колени и крепко перевязал ему передние ноги. Укрывшись животным, взял в руки берданку. Стал поджидать конников.

Разношерстная группа — и туркмены в ней в поярковых папахах, и казахи в круглых, отороченных мехом бориках. Ясно, не красноармейский отряд. Басмачи. С удачей, похоже, возвращаются. В поводу — около десятка жирных лошадей, их крупы поблескивают на солнце. И пленник вон позади, с заломленными назад руками.

---

[1] Семь Разбойников—казахское название Большой Медведицы.

На расстоянии выстрела группа остановилась.

— Кто таков? Что делаешь? — спросили его.

— Путник я! — отозвался из-за верблюда Булыш.

— Почему хоронишься, если путник? Правду говори!

— Езжайте своей дорогой, люди. От меня вам беды нет.

Переговариваются басмачи. Сделав крюк в сторону, стали его объезжать. Булыш не показывается из-за укрытия — знает, получит пулю. Группу туркмен возглавляет, тот самый, который когда-то встречался ему дорогой. Та же папаха на голове — больше его самого. На том же красавце ахалтекинце... Ого! Среди басмачей разглядел и трех волков Мажана — Мотана, Капана, Шотана... С ними и Азберген. «О боже, не дай попасть им в руки!» — взмолился он.

Басмачи, проехав, остановились, сбились в кучу. Азберген что-то говорит туркмену в папахе, показывая в сторону Булыша. Потом сволокли на землю пленника в светлой рубашке и галифе. Молоденький джигит. Не различит Булыш, кто он по национальности — казах, туркмен, каракалпак. Тонкий точеный нос у юноши, красив, ростом и худобой смахивает на Шеге.

Кто-то из басмачей крикнул:

— Эй! Гляди и запоминай! Такова отныне участь всех комонистов!

Один из басмачей вытолкал джигита на середину круга. Другой, который шел сзади, замахнулся саблей — сверкнуло лезвие. Голова джигита свесилась на грудь. Удар пришелся по затылку.

Не смог Булыш смотреть, отвел глаза. А когда поднял голову, группа была в движении: уезжать, по-видимому, собирались. Мертвое тело лежало на земле. Те двое, что убили парня, что-то развешивали прутиками по кустам. Вскоре и они сели на лошадей и поскакали.

Булыш изумлен. Неужели в самом деле уехали? Правда, велели ему не двигаться с места, пока с глаз не скроются. Что ж, он подождет. Далеко отъехали басмачи и вновь предприняли нечто загадочное. Переменили курс — повернули к западу. Булыш решил: не будут к Ою спускаться, осторожничают. Когда басмачи скрылись, Булыш зашевелился, сел на верблюда. Проехал мимо погибшего джигита. Только сейчас разглядел, что те двое прутиками

развешивали. Кишки. Длинные, они опутали сухие, похожие на мотки черной проволоки кусты баялыша.

Близился полдень. По широкой, необозримой пустыне ехал Булыш, торопил он нара. Скорей бы добраться до ущелья, а там и лог, которым он выйдет в сыпучие пески. Вот и ущелье. С обеих сторон отвесные скалы. Между ними тропа идет вниз. Вокруг ни души. Верблюд спускался осторожно, лишь иногда оскальзывался задними ногами. Отвесы по обеим сторонам тропы высоки, скрывают верблюда; только они кончились, с коротким «ап!» насели на Булыша несколько человек. Верблюд рванул в сторону. В мгновение ока Булыш оказался на земле, ружье отлетело. Посыпались удары, пинки.

— Руки ему вяжите! — проорал кто-то.

Завернули руки. Рассекли левую бровь — кровь заструилась по лицу. Над ним склонился Азберген, глаза — бешеные.

— Отцу твоему в могиле выть, сволочь... Попался, — зашипел он, хрястнув по лицу тяжеленным кулаком. Оно вздулось.

— Сучка где? — вскричал Мотан, с оттяжкой, от души пнув его в бок.

Булыш сжал зубы. Молчит.

Басмачи окружили его, кто на коне, кто пеший.

«Э-эх! — ругал себя Булыш. — Как же я обманулся?» Провели его бандиты, ничего не скажешь. Вот почему они повернули на запад! Спустились пониже — и обратно, его дождались...

Пинки градом сыпались на него, Булыш потерял сознание. Помнит, к верблюду его привязали, поперек седла, но что дальше — потемки. А когда очнулся, стояла ночь, темная-темная. Они ехали по пескам. Конники впереди. Его верблюд шел последним. Руки-ноги свободны. «Кто это? — подумал он. — Сам развязался, или кто-то другой подсобил?» Как бы там ни было, аркан его не держал, один конец по земле волочился. Кто-то из нукеров, видно, перерезал — посочувствовал.

Басмачи следовали молча. Поддувал ветерок, раскачивая головки столетника и ковыля. Когда верблюд стал огибать песчаный гребень, Булыш тихо с него сполз. Затаился

там, где упал, а как только ни о чем не ведающий караван удалился, побежал в ночь, хотя избитое тело мучила боль. Нигде не останавливался, боясь погони, двигался по звездам.

Двое суток бродил Булыш по пескам, пока не добрался до Балкии.

8

Холодная осень с моросью легла на огромные просторы Устюрта между Атырау и Аралом. Ветер растрепал, растормошил степь как мог; темными точками в небе отпечатались птицы, взявшие курс на юг. К теплым зимовьям подались и косяки сайгаков.

По мнению Шеге, поворот к новой жизни — объединение единоличников в артели и товарищества, отчуждение баев и, кулаков как класса; — здесь, среди жатаков, населяющих берега Жем, шел куда напористее, чем в кочевых аулах в степи. И перемен больше, они бросаются в глаза, особенно в районном центре — Наркамысе. Не считая лозунгов, плакатов, алеющих на фасадах учреждений, больших и малых, здесь что ни день рождаются новые слова, такие, как «клуб», «спектакль», «радио», «телефон». День, когда Шеге увидел первую в своей жизни автомашину, запомнился на всю жизнь.

Они с Хансулу поселились к тому времени в доме одинокой старушки на берегу реки. Днем Шеге пас лошадей из учреждений. Вечерами вдвоем с Хансулу посещали ликбез. В тот день Шеге, выгнав по обыкновению скотину на луг у реки, смотрел на поселок, где громко говорило радио, а он его слушал. И вдруг за сопкой показалось нечто такое, что двигалось само по себе.

— Гур-р... гур-р... — доносилось его рычание.

— Машина! — догадался Шеге и помчался в поселок.

— Что такое? — выбежала из дома Хансулу.

— Машина! Вон! — закричал Шеге, указывая камчой в сторону дороги. Возвращавшиеся с пастбища верблюды, напуганные автомобилем, ринулись, задрав морды, кто куда. И верблюжата сорвались с привязи, бросились за ними. Выскочили возбужденные дети. Машина тем временем выехала на главную улицу, мотор шумит — как гром грохочет, земля сотрясается под ногами. Дети, собаки понеслись следом. Хансулу выскочила налегке, только длинный

камзол на плечи накинула; застыла поначалу на месте, пораженная устремленными на нее «глазами» машины. Ей даже в какой-то миг показалось, что дьявольская махина на нее и катит, вот-вот сомнет. От страха и ноги подогнулись, тем и спаслась, что опрометью бросилась в дом. А машина понеслась дальше. Хансулу, зажав уши, присела у порога.

Шеге два дня потом над ней потешался. Жили они в комнатушке, разделенной пополам ситцевым занавесом. Каракера продали, на вырученные деньги приобрели необходимое для жизни. Молодые не горевали. Хозяйке, для которой одиночество не было сладким, появление молодой пары оказалось кстати. Но был в Наркамысе человек, которого Шеге боялся: Нурилы, дочерна смуглой молодой девушки, секретаря райкома комсомола. Яснее ясного, что она ему скажет, когда увидит. Ты, скажет, Каспаков, сам секретарь первичной комсомольской организации, а что наделал!

В первый день его заметила, когда шла в контору.

— Ну, товарищ Каспаков, поздравляю! — сказала. Трясется, как стрекоза.

— Так получилось, — виновато замялся Шеге.

В конторе Нурила заявила безаппеляционно:

— Объявляю выговор! Девушку выкрал — ладно, с этим, положим, согласиться можно, но как понять, что ты кулацкую дочь взял? Товарищ комсомолец, где твой классовый взгляд?

Шеге возразил:

— Пахраддин — не враг Советам. В районе его уважают. И Калашников, и Апанас.

— Ответ, достойный комсорга, — иронически пропела Нурила. — А как «Жана жол»? Его для тебя не существует?

— Но почему? Почему, нет? Вернусь я... Пусть время малость пройдет...

Только он от Нурилы вышел, как услышал сзади:

— Э-э-э...

Глянул, а это Сур Жекей. Шинель внакидку на плечах. На поясе — наган. Серый в лице и губы трубочкой. Шеге подбежал к начальнику-милиционеру, поздоровался:

— Ассалаумагалейкум! — и протянул руку. Сур Жекей ответил нехотя, через силу. Еще больше посерел.

— Ты, — говорит, — смотри, малыш! — и указательным пальцем завертел перед глазами. — Своевольничаешь. Подумаешь, активист! Ну и что? Знаем мы и таких активистов, что под байскую дудку пляшут. Смотри!..

Русское «смотри» он произнес внушительно. Шеге струхнул, аж ладони повлажнели. А Сур Жекей, шевеля тараканьими усами, отвернулся от него, цигарку скручивает, всем своим видом говоря: разговор окончен, но — смотри!..

Шеге после этих встреч счел нужным зайти к Афанасию Васильевичу Гринину. Контора райпарткома и РИКа — в новом большом доме с синей крышей в центре поселка. Афанасий Васильевич оказался на месте. Правда, и посетителей у него было много, и Шеге, не желая мешать, некоторое время переждал в приемной, а когда председатель остался один, робко просунулся в дверь.

— О, боец! Проходи! — приветил его Афанасий Васильевич.

Похлопав по спине, усадил за большой, крытый красным сукном стол.

— Зачем пожаловал?

Шеге рассказал про все. Председатель райисполкома, с вниманием выслушав его, воскликнул:

— Голубчик мой, все хорошо! Рыцарский поступок! Замечательный! Не каждый способен на такое, а? Мой тебе совет: здесь вечерняя школа. Учитесь! Вместе учитесь! Сейчас грамотные молодые люди во как нужны! Оч-чень нужны.

— Афанасий Васильевич! Спасибо вам... — растрогался Шеге.

— Заходи. Рассказывай, что и как, — Гринин пожал ему на прощание руку.

С плеч Шеге будто груз тяжелый свалился, когда он вышел от предрайисполкома, — широко, всей грудью вздохнул. В последнее время авторитет Афанасия Васильевича Гринина в народе заметно вырос, «справедливым Апанасом» звали его теперь казахи. Подобную славу сослужил ему последний поход, когда отряд, им ведомый, вернул бежавших людей. Аксакалы, конечно, отдавали ему должное за привалы, которые он устраивал в пути, когда те молились. Мужчин, «соучастников бандитов», его отряд тогда

пригнал в Наркамыс. Была ночь. Человек пятьдесят Сур Жекей запер в конюшне, которая в последнее время служила местной тюрьмой, сказал еще, что продержат их тут до суда. Уставшие люди повалились спать кто где, лишь Лабак-ахун не уснул. Расстелил перед собой жайнамаз и молился, читал до утра аят. А с рассветом перешел на азан. Голосистый старик, такие длинные рулады выводить начал — сторожей перепугал. И Наркамыс не остался равнодушным к зову святого человека — люди собрались у конюшни, то бишь тюрьмы. Лабак-ахун в то утро и от завтрака, говорят, отказался. Обо всем случившемся Апанасу доложил начальник милиции Сур Жекей. Тот незамедлительно вызвал к себе Лабак-ахуна. Святой человек тогда и сказал: «Уай, сын мой Апанас, хоть и русский ты, но бог справедливостью тебя одарил. Скажи, зачем вел сюда людей, если намеревался в тюрьму их заключить? Не ты ли говорил, всех простят?» Предрайисполкома смутился — вопрос-то прямой. Пообещал долго никого не держать, в частности его, ахуна.

Муллы в ауле, которые и без того дышали в тряпочку, затрепетали от страха, узнав, что Лабак-ахун в заключении. Для степняка, привычного к просторам, заключение в ограниченное пространство, именуемое тюрьмой, равносильно ссылке в ад. Потрясенные муллы, некогда обучавшие в мечети детей, теперь стали курить, пить водку, принародно жечь старинные книжки, а некоторые, как ишан Арип в Донызтау, даже мочиться в мечети — святотатство-то какое! И все для того, чтобы показать свое отречение от религии.

Афанасий Васильевич считал происходящее последствиями перегибов, которые допускали многие гореактивисты, «проводя в жизнь политику партии в области культурной революции». Он попросил секретаря райкома немедленно освободить всех заключенных, и в первую очередь Лабак-ахуна, но Калашников его просьбе не внял. У секретаря райкома партии свои представления о кочевом ауле. Он даже рассердился на предрика, застучал кулаком по столу: «Как? Вы бандитам амнистию обещали? Никакой амнистии! Я, к вашему сведению, до сих пор ни одного пролетария в этом краю не видел. У каждого в хозяйстве по четыре-пять голов крупного рогатого скота да по тридцать

— сорок голов мелкого! Если хотите, степь кишит кулаками, а что для кулака дороже всего? Скотина. Обобществление скота — смерть для кулака. Поэтому в первую очередь скот надо изъять у единоличника. Со скотиной-то ноги у кочевника длинные, ищи-свищи его в поле! Вот как этих...

Калашников был в запале. — Что, — говорит, — коллективизации кочевого аула мешает? Баи мешают. Муллы мешают. Скотина мешает». Афанасий Васильевич напомнил ему о неблаговидных фактах в деле коллективизации, предостерег об опасных последствиях, которыми были чреваты действия некоторых горе-активистов, извращавших суть важной кампании, но секретарь остался глух ко всем его доводам.

В ту ночь случилось непредвиденное: исчез из запертой конюшни Лабак-ахун. Когда это произошло, все спали. По рассказам, Лабак-ахун, обиженный на правительство, просто-напросто «заговорил» милиционера, который был в карауле, и ушел. Поскакали милиционеры в степь искать ахуна, а святого человека и след простыл. Старцы, встречающиеся в пути, объясняли: «Осерчал ахун. Вот и показал силу. Теперь он запросто в руки не дастся...»

Всякие толки ходили по Наркамысу относительно исчезновения ахуна, всякие делались предположения, куда он мог деться: кто-то в Мекке его видел на белом верблюде, кто-то — в Хиве. Но более трезвые и категоричные утверждали: «Да не ушел он никуда. Куда он с родной земли-то? Устюрт велик...»

9

Супружеская жизнь Шеге и Хансулу началась счастливо. Их любовь теперь, когда они были вместе, вспыхнула с новой силой. Оба умирали от тоски, если не видели друг друга хотя бы полдня. Хансулу каждый день открывала для себя Шеге. Все мужские достоинства находила она в нем одном.

А о Шеге и говорить нечего. Если был на земле удачливый человек, так это, конечно, он, Шеге! Самая яркая из звезд на небе — с ним, с Шеге! Подумать только, Хансулу, красота которой стала притчей во языцех, — его жена! Но, стоит ему подумать о том, что нет у него собственного дома,

собственного очага, достойной службы, начинал беспокоиться. Боялся, как бы не приметил Хансулу какой-нибудь ловкач — с домом, со службой, умеющий по-городскому зачесывать волосы назад. Угонит лошадей на пастбище, а сам только и мечтает, как бы поскорей домой вернуться да увидеть свою ненаглядную.

Сегодня он вышел к поселку со стороны реки. Небо в тучах, вечер опустился рано. Скотина с выгона возвращалась, во дворах суета. Хансулу перед порогом он не увидел. Заперев лошадей в конюшне, пошел домой. Сапоги на ногах тяжеленные, да и телогрейка ватная не легче. Обветренное, загорелое лицо хмуро. Сам не знает Шеге, почему он хмурый. Вот сарай. Прошел мимо сарая. За ним — дом. За домом — улица. На улице увидел он машину, вернее, ее капот. И Хансулу увидел, она склонилась к дверце той машины. Шеге остановился. Не может прийти в себя, а из машины высунулась мужская голова, какой-то наглец тянет Хансулу за руку в машину!.. Застыл Шеге там, где стоял. Будто оглох. Щеки горят. Дикое, незнакомое доселе чувство распирает его, жжет нутро, отравляет голову ядом ревности. А машина тем временем тронулась. Гур-р — и нет ее. И Хансулу нет.

О-о, самой глупой, самой легкомысленной на свете женщиной показалась ему в тот миг Хансулу! И, выходит, сам он дурак, если на ней женился! Небо полетело вниз, земля уходила из-под ног... Как полусонный прошел в кухонку, потом в свою комнатку... Остановился у печи. Почему-то сейчас ощутил свой рост, представил, каким нескладным выглядит он со стороны. Поглядел на ситцевый в полоску занавес, он отделял их угол... Все за ним было раем. Там супружеское ложе, на котором соединялись они в объятиях, шептали сладкие слова... голова кружилась от счастья. Сгорело ложе. Он обманут... Жестоко обманут.

Застонал Шеге, больно ему стало. Рухнул как подкошенный на половик. Снова застонал, зло, протяжно, как раненый зверь. И тут кто-то стремительно влетел в чулан. Следом распахнулась дверь. Появилась Хансулу — сияющая, с пылающими щеками.

— Шеге! — воскликнула она обрадованно. — Ты пришел?

Веселая Хансулу. Конечно, поухаживали, да и кто — ученый джигит! Как ей не быть веселой?.. Молчит Шеге. Надулся, от злости лопнуть готов.

— Шеге! Так интересно! Я прокатилась на машине! — объявила, смеясь, Хансулу.

В комнате темно. Хансулу не заметила состояния Шеге.

— Тронулась она, а я со страху за железку какую-то хвать! Ибрагим кричит, не тро-онь! А то, оказывается, та самая железка, через которую машина с места трогается. Откуда мне знать? Ибрагим так смеялся, так смеялся...

Ибрагим — молодой татарин, личный шофер Калашникова, по городской моде волосы зачесывает. Все знает, все умеет, на все руки мастер. С таким не соскучишься. Понятно, отчего такая веселая жена. Ей, наверное, и машина приглянулась, и Ибрагим. Что Шеге? Лошадям хвосты крутит.

— Шеге? Что с тобой? Ну что ты молчишь? — спросила Хансулу и, сев перед ним на корточки, заглянула в лицо. Смеется.

Над кем она смеется?!

Пощечина получилась увесистая. Крепкая у Шеге рука. Хансулу, откинувшись назад, упала на ковер. Темно, но Шеге увидел, как блеснули ее глаза. Согнулась, схватилась за щеку.

— За что-о?! — вскричала она, пылая от негодования. Горящими глазами вот-вот сожжет Шеге.

— А ты не знаешь?! — вскричал и Шеге.

— Не знаю! Не знаю!

Захлебнувшись слезами, Хансулу бросилась из комнаты. С порога крикнула:

— Балда!

И хлопнула дверью. Возвратилась старушка, они с Хансулу в тесном чулане столкнулись.

— Что такое? — всполошилась хозяйка, приостанавливаясь у порога.

Хансулу умчалась, ничего не сказав. Старушка прошла в дом. Темно. Тихо.

— Ойбай! Бог в помощь! Что это вы? И лампу не зажгли...

Ответа не последовало.

— Сынок, что случилось?

Старушка завозилась у печки — спички искала, что ли.

Шеге молчал. Темная комната показалась ему ловушкой. В ней стало душно. Ринулся на свежий воздух. В поселке темно. Ночь обещала быть беспокойной. Час поздний, люди, заперев скотину в сараи, собираются вокруг очагов — в тепле, при свете. Один Шеге без тепла, без света. Пестрый щенок, словно сочувствуя, стал ласкаться к нему, завилял хвостом, в глаза заглядывает. За тамарисковым забором, которым обнесен дом, никого нет. Он искал Хансулу. Но она пропала. Мир, трещавший по швам, рушился на глазах...

Мысли завихрились в голове, ни на одной из них не мог сосредоточиться. Сам не знает, как, обогнув забор, пошел к реке. Понурый пошел, с опущенными плечами. Пестрый щенок от жалости повизгивал рядом. Вихрь в голове малопомалу стал стихать, попробовал восстановить в памяти случившееся. «Кто я? — спросил он себя. — Никто. Не революционер. Не комсомолец. Со старым боролся, это верно... почему ударил сейчас Хансулу?» Она-то ему доверилась — как комсомольцу, активисту, сознательному человеку, наконец, за ним пошла, а он...

Раскаяние обожгло его.

— Хансулу! — позвал он.

И побежал. Никого. Может, зашла к кому из знакомых женщин? Она с десяток дней работала на складе, в сменной бригаде. Ай, вряд ли. Горда Хансулу, не станет она на людях разливаться.

Шеге вернулся, опять обошел сарай, дом, оглядел забор.

— Хансулу!

Не нашел он ее возле дома, снова потрусил к реке. Щенок, разлаявшись, не отставал от него. Шеге дошел до самого берега. Всякие мысли возникали. Кто знает, что может вытворить сумасбродная дочь Пахраддина, которую в жизни пальцем никто не трогал! А вдруг в реку бросилась?

Вгляделся в воду. Гладь. Тишь.

— Хансулу!

Глухая ночь. Глухая река. Глухая темь. Будто поглотили они Хансулу. А может, она речку перешла и прямиком домой потянула?..

Щенок, крутившийся рядом, исчез. Не стало слышно его повизгивания. Потом Шеге услышал его лай в верхнем

течении реки. Вскоре щенок и сам объявился, язык от возбуждения вывалился из пасти. Стал путаться у Шеге в ногах, хвостом по земле стучит, тянет его куда-то. Шеге — за ним. На песчанике, в самом центре, еще издали он различил человеческий силуэт. Подошел ближе, спиной к нему в белом платье сидит Хансулу. Забавно сидит. Ноги под себя поджала. Как мулла, который молится. Обрадовался Шеге, что нашел жену. Тихо опустился рядом. Шлепалась о берег волна Жем. Оба молчали. Только щенок подавал голос, поглядывая на них:

— Ауф! Ауф!

— Сулу! — позвал он.

Хансулу не шелохнулась. Смотрела в ночь, будто и не было рядом Шеге.

— Ладно, виноват я...

Хансулу глуха.

— Пошли домой. Замерзла же...

К Хансулу вернулся дар речи.

— Можешь не жалеть! — отрезала она

— Сидеть, что ли, вот так будем?

— Уйду я!.. Не буду с тобой жить!

— Ночью?.. Давай уж завтра, с солнышком.

Хансулу надулась.

— Села в чью-то машину... Как это понимать?

Хансулу прорвало:

— Сам же кричал: мужчины и женщины равны!.. А если бы я тебя ударила?

Шеге смешался. Права Хансулу. Да, кричал он про равенство, но думал ли тогда, что равенство, которое он так горячо отстаивает, когда-нибудь ему самому выйдет боком! Да-а, задала ему задачку Хансулу, не знает, что и ответить. Злиться начал.

— Что молчишь? — наседала Хансулу.

Шеге взорвался:

— А ты, ты... ты чья жена? Моя или... или...

— Твоя, конечно, — растерялась Хансулу.

— Вот и прекращай бузить!

Хансулу молчит. Долго они сидели еще в полнейшей тишине. Щенок разлегся перед ними, мордочку на песок положил, глядит на них выжидательно, будто спрашивает, когда домой пойдете?..

От дома послышалось старушечье:

— Хансулу! Шеге!

Нехотя поднялись. Молча побрели назад. Щенок, обрадованный, помчался к дому.

...Через две недели после ссоры приехал Шарип. Искал он их. Ночь была такой же ветреной. Моросил холодный дождь. На улицах грязно. Шеге и Хансулу вышли из школы, побежали к дому у реки, дрожа под каплями дождя. Темно, под ногами ничего не видно.

— Ну и дождь! — в сердцах сказала Хансулу

— Как бы снег не пошел! Вот дела будут!..

— «Жана жол» нас забыл.

— Погоди, не забыл, — сказал вдруг Шеге, приостанавливаясь у дома. — Кто-то из наших, гляди!

— Где?

— А вон... Не наш ли крикун?

Верблюд, лежавший с подветренной стороны забора, услышав его, подал голос:

— Бак!

— Отец никак?..

Шеге посмотрел на жену — что делать будем, дескать? Та, в свою очередь, на него глянула. В окне с натянутым на него бычьим пузырем виднелся свет, слышались голоса.

— Пойдем, чего уж... Семь бед — один ответ! — сказал Шеге.

В тесном чулане Шеге перешагнул через щенка, растянувшегося перед порогом, рванул на себя обшитую драной кошмой дверь. В лицо пахнуло жарким дымом. Отец, развалясь, лежал на гостевом месте; под локтем — подушка, на голове — черная тюбетейка.

— Ойбай! — испугалась старушка, снимавшая пену с бульона на печи. — Вот и пришли детки-то. Давай приступай! — и рассмеялась, открывая беззубый рот.

Шарип от неожиданности дернул головой, а потом уставился немигающим взглядом на сына, облаченного в длинный камзол. За ним, прикрывая лицо, таилась молоденькая женщина в красном платке и красном платье.

— Ассаламагалейкум! — произнес Шеге, широко улыбаясь.

Шарип, покачиваясь на ослабевших вдруг ногах, поднялся. «Похудел Шеге, что ли?» — подумалось ему. Невестка, чуть

преклонив колено, отдала свекру традиционное приветствие.

— Долгих тебе лет! — растроганно произнес Шарип в ответ. Его глаза увлажнились.

Потянулся потом к руке Шеге, поцеловал длинные худые пальцы. Слезы покатились из глаз, стал вытирать их платком.

— Как ты здесь, вороненок мой?

Голос его задрожал.

— И это все, что ты ему показал? — и оборонила старуха и беззубо заулыбалась.

СМУТА

1

Сильный, с посвистом ветер преследует по пятам, гонит и гонит вперед, заставляя ежиться от холода. Путники — кто на конях, кто на верблюдах — трясутся по дороге из Наркомыса в Ханторткил. Они продвигаются к югу. Последним на игреневом пятилетке рысит Лис Курен. Чуть впереди на крикливом верблюде — Шарип, ветер треплет его треух. Хохочет, бедолага; его тонкий, визгливый смех слыхать далеко. Что ему так весело, думается Курену. Не менее веселым был Шарип и на конференции бедняков, которая только что закончилась. Как всегда, драл глотку: «Ойхой! Ай да речь!» Лис Курен подбирался всякий раз, когда тот кричал. Что так надрываться, думалось ему, глядишь, выступать полезет. Ох, не лежит у него душа к Шарипу, не лежит! Ровно пигалица, охраняющая болото, верещит, когда речь заходит о политике, слова ведь никому не даст. Будто другие — пасынки у новой власти, а он один ей— родной. Лис Курен давно уже аулнай, а Шарип перед ним не гнется, не хочет гнуться, в грудь себя бьет, активист я, активист. Жаль, что на таких и время сейчас работает...

И конференция сегодняшняя не понравилась Лису Курену. Калашников встал и заявил:

— Кулаков как класс уничтожим!

Будто мало до сего времени уничтожали. А какой лозунг кинул:

— За неделю кочевые аулы на оседлость переведем! Полная и всеобщая коллективизация, товарищи! Единоличникам среди нас нет места! Пусть мы и кочевой район, а закончим эту кампанию раньше оседлых центральных районов России!

Некто Суранышев вскочил с места и во весь голос завопил:

— Семен Харитонович, вы правы! Мы обгоним в коллективизации центральные районы России!

Горе-активисты, вроде Шарипа, давай хлопать и орать:

— Верно! Золотые слова!

— Ускорить надо коллективизацию!

— Что ее на три года размазывать?!

Лис Курен сидел себе и усмехался. Вот народ! Языком что серпом работает. С местными условиями и обстоятельствами не считается, в рот Калашникову заглядывает, что-де начальник скажет, того не разумея, что начальник-то пришлый и ему на местные условия и обстоятельства — наплевать: все равно, отсидев положенное в начальническом кресле, улетит отсюда. Потому он, Лис Курен, всю эту конференцию промолчал. Только усмехался. Желчно усмехался, делайте, мол, что знаете...

Недотепу Козбагара на конференции отстранили от должности председателя артели, направили на учебу. Лису Курену захотелось посадить на место Козбагара своего сына Ждахая. Комсомолец. С бандитами сражался. Из молодых-то и нет, считай, никого более подходящего. Шеге с дочкой Пахраддина спутался, куда ему! Принялся за дело Лис Курен прямо на конференции, стал знакомых по рядам обходить, сторонников сыну набирать, да, увидев рядом с председателем райисполкома Шеге, насторожился. Подозрения его оправдались: конференция заканчивалась, когда Афанасий Васильевич объявил, что председателем в артель «Жана жол» направляется член комсомола Шеге Каспаков. Это что-о! «Сбившийся с пути» Каспаков в довершение ко всему и заявление о приеме в партию написал — на глазах у людей... Понял тогда Лис Курен, что все это с ведома председателя РИКа делается. Злой он на него, а кому пожалуешься? Калашникову? Напрасный труд. Он брыкается, как дикий конь. Какая поступь — как говорится, головы ведь ни к кому не повернет! — такой и нрав.

Воротник кителя — торчком, и волосы, коротко стриженные, — торчком. Под характер. Не станет он на него, казаха-степняка, время свое тратить, нет! С начальником милиции Сур Жекеем довольно сносные у него отношения, вот и шепнул он ему: как же, мол, так, в председателях — зять кулака теперь? Сур Жекей задвигал жидкими тараканьими усами, протянул длинно: «Да-а...» По-русски протянул, стал потом махорку скручивать, вытянул губы трубочкой. Попробуй пойми, что этим «да-а» хотел сказать!.. Ничего больше так и не услышал от него Лис Курен, но задуматься, кажется, заставил.

Свистящий ветер подгоняет в спину. Тучи закрыли небо. На крикуне-верблюде — горячий, возбужденный Шарип, ветер треплет концы его треуха. Что-то напевает. Слыша его голос, Лис Курен подбирается, на губах у него, как всегда, — тихая, язвительная усмешка.

2

Сегодня у Хансулу торжественный день. Сегодня их с Шеге свадьба. Не такая пышная, как прошлым летом, но она для нее — праздник. Весь аул около юрты Шарипа. На очагах бурно кипят казаны. Рядами дымят самовары. У самоваров — смешливые молодые женщины и девушки. Среди них и Хансулу. Черные миндалевидные глаза сияют, щеки полыхают огнем. Осенняя свежесть ей нипочем. Как не сиять Хансулу, если эти люди пришли сюда ради них двоих, ради нее и Шеге?! И родичи вон взяли в круг ее отца Пахраддина, слушают его, как в былые времена, со вниманием. Неказистая юрта Шарипа стала средоточием людской солидарности. Никто никого не попрекает, бай ты, дескать, или бедняк, забыли люди о классовых различиях. Это и радует Хансулу. Хочется, чтобы взаимосогласие продолжалось, чтобы отца не мучило одиночество, чтобы окружали его люди.

Ни на секунду не забывает Хансулу, что сегодняшней радостью она обязана Шеге, думает о нем благодарно, нежно, вся во власти особенного, доселе незнакомого ей чувства. И Шеге испытывает то же. Он, в окружении товарищей, родичей, старых и молодых, беседует с ними и не упускает

из поля зрения Хансулу, ослепительнейшую из звезд. Он, если и не смотрит на нее, чувствует, где она, что делает. Видит ее — высокую, гибкую как лоза, — слышит звон шолп. Скорей бы этот праздничный день кончился!

Но чем больше нетерпения они испытывают, тем дольше тянутся часы...

К вечеру молодежь, уединившись, устроила игры. Ждахай, распахнув полушубок, показал на горлышко «четушки», задвинутой в нагрудный карман, хохочет, довольный.

— Ой, Ждеке-е! — расшумелись парни. — Давай-ка ее сюда!

— Ждеке все найдет!

Свадебный пир закончился к полуночи. Последним покинул молодых Ждахай. Долго тискал в объятиях Шеге, слюняво целовал, приговаривая:

— Твоя радость — моя радость отца твоего в душу!.. Ох и отхватил ты красоточку! Утрем всем нос! Дай-ка твою руку!

Тряс руку товарищу до тех пор, пока тому не надоело. Развезло Ждахая от водки.

...На улице темно, хоть глаз выколи. Ночной морозец — ничто для разгоряченного водочными парами Ждахая. Мысли его заняты Раш, симпатичной «вдовушкой» при живом муже. Ноги сами к ее дому понесли. С того дня, как Раш в колхозе «Жана жол», Ждахай не выпускает ее ни из памяти, ни из поля зрения. Взял, так сказать, под защиту женщину, которую из-за того, что она жена Азбергена, нарекли здесь «бандитской бабой». От мужа вестей нет, так опека комсомольца Ждахая в какой-то мере поддержка для одинокой Раш. Только его ночные заботы раздражают. Неустроенность жизни научила женщину осторожности: стоило ли шутить с судьбой в такое переменчивое время? Умоляла парня — не ходи, не срами. Ходил Ждахай. Препираются иной раз ночь напролет: он — по одну сторону двери, она — по другую. О, сгинула бы напрочь жизнь одинокой женщины!.. Ждахай не принимал во внимание ее просьб. Как ночь, так в дверь. Сегодня Раш не успела закрыться. Провозилась с очагом, раздувая огонь. Только со свадьбы, а в доме холодно.

— Добрый вечер! — приветствовал ее Ждахай, переступая через порог. Глаза блестят.

— Тише... Зачем пожаловал?

— Э, со свадьбы, — заулыбался он, поглаживая ладонью жесткие волосы.

— Сыт. Вижу.

— Да, слава богу, перепало... ых!

На Ждахая нашла икота.

— Прибавляется свадеб... ых!

— Кто-то еще женится?

— Да. Ждахай. Знаешь такого? Ых...

Черные глаза Раш блеснули. Не верит она ему.

— Ых... что вылупилась? Назвать? Ых... Имя будущей супруги назвать?

— Назови. Кто это? И мы узнаем.

— Наркыз. Ых...

— Нар-кыз?!

— А что?

Раш смотрит на Ждахая: смешной он. Волосы, как ежовые колючки, торчат в разные стороны, лицо в пятнах. Женщина рассмеялась:

— Нашел бабу! Уф!

Сама своего голоса испугалась, прикрыла рот рукой.

Но и смех разбирал, аж слезы из глаз потекли. Остановиться не может. Не заметила даже, как Ждахай подступился сзади, облапал ее, стал слюнявить лицо и шею.

— Ах гаденыш! Ты что?! — рванулась она из его рук. Перешла на шепот. Боялась — услышит кто. — Зазнобу свою иди целуй, гаденыш!

Ждахай не подумал ее отпускать, не для того пришел. Зарылся лицом ей в шею. Присосался как клещ. Сопит.

— Молодой, а экий бессовестный!..

Ее старания вырваться оказались тщетными. Горячие губы Ждахая обжигали шею, грудь.

— Ох и недоумок ты, — сказала она совсем уж тихо. Замолчала. А когда огонь в очаге стал гаснуть, ее белая рука обвилась вокруг шеи Ждахая.

3

Не успел и день пройти после свадьбы Хансулу и Шеге, как в ауле началась горячка. Опять приехали уполномоченные. Нашлась работа и подручным — активистам, и они сели на коней. У всех на устах одно, точно сговорились:

— Бой кулакам!

— Даешь стопроцентную коллективизацию!

— Срок — неделя! Таков план!

— Кто с нами — тот свой! Кто не с нами — того заставим быть с нами!

Народ затаился. Кому охота в кулаках оказаться? Старики молились:

— О аллах, пронеси! О аллах, спаси!

С сумерками, ближе к ночи, в «Жана жол» прибыл на саврасом жеребце грузный черный мужчина с заплывшими глазами. Хмур, точно зимняя вьюга. Лис Курен забегал у стремян его лошади, хотел помочь гостю спешиться. Уполномоченный — Бухарбай. Вечно, бывало, подремывал в седле, а тут — ни дать ни взять новый человек! Непривычно деловой. Энергичный. И в лице уж больно черный, точно пожар где тушил, но это оттого, наверное, что сердит был.

— Давай, табарыш аулнай, собирай народ! С ходу! Быстренько-быстренько! — проговорил он, мешая по обыкновению русские и казахские слова, что лишний раз говорило о значительности его визита.

— Оу, Буха, сначала бы, как говорится, в дом, перекусили бы, — аулнай, как всегда, завлекал к себе высокого гостя.

— Чаи гонять?! Ты что, табарыш?! Время, время, — уполномоченный сверкнул глазами. — Некогда мне с вами тут шалтай-болтай!

Курен испугался, залебезил:

— О, Буха, вы правы, правы. Я сейчас, — и побежал к своему дому, крича на ходу: — Ждаха-ай! Выходи!

Люди потянулись к кирпичному зданию с вывеской: «Школа имени Асана Айтжанова». За столом, покрытым красным сукном, восседал нахохлившийся Бухарбай. Мрачно смотрел он на народ, вливающийся в помещение. Не в себе был уполномоченный; сказано — собраться, стало быть, собраться надо, а эти — тянутся, тянутся... Усталый был Бухарбай. Двое суток, почитай, не касался головой подушки. Понимают это люди? Эх... Будут ли они утруждать себя пониманием? Им бы бумагу портить. Все сейчас горазды катать. И чего ведь не придумают! Водку пил, к дочери чьей-то лез — ну и наро-од! Что ж ему в седле-то трястись, если и стаканчик нельзя нигде пропустить? Угощают. Как

откажешь? А что к дочке чьей-то лез... Ну так кто ж до девушек не охоч?! В седле казах, и холостой. Так думает Бухарбай. Лопается от дум голова.

Школа заполнилась до отказа. В рядах глаза Бухарбая выхватили красавицу, совсем юную. Румянец на щеках, длинные ресницы, поднимет их — так глаза блеснут, точно звезды в ночи. Кто она?..

И Наркыз он увидел. Стоит про ту кошмарную ночку вспомнить, скверно он себя чувствует, готов сквозь землю провалиться — не от стыда, нет, от досады.

— Открывай, открывай! — затормошил он Лиса Курена. Пятнами изошел от злости.

Кулачок у этой Наркыз что у мужчины, а отец-то, отец... Жумаш преподобный, весь вечер мозги ему парил, на жизнь жаловался, а тоже потом зверем обозвал, за дочку вступился. Нет, Бухарбай Игенсартов подобного — умрет не забудет!..

— Товарищи! Успокойтесь! — засуетился Курен улыбаясь. — Сами себя задерживаете. Итак, общее собрание аула «Жана жол» предлагаю открыть. Надо, товарищи, избрать председателя собрания.

— Есть предложение! — сорвался с места Ждахай, он сидел в первом ряду.

— Говори!

— Предлагаю избрать председателем собрания аулная, а в помощники ему — председателя нашего товарищества Каспакова Шеге и активиста Каукаша!

Уполномоченный, вновь остановив взгляд на красавице с длинными ресницами, буркнул:

— Из женщин бы кого... Женщину в президем![1]

— Товарищи! — поспешил исправить оплошность аулнай. — Есть предложение. Забываем о существенном вопросе. О женском. Пусть-ка Шеге обождет. Предлагайте-ка вместо него женщину, ну!

— Хансулу! — опять сорвался с места Ждахай.

— Э, что ж! Пусть Хансулу, — согласился аулнай.

— Молода еще, — заметила какая-то старуха.

— Молодых и надо! — оборвал ее Бухарбай. — Такая политика.

---

[1] Президем — искаж. от «президиум».

Лис Курен не замедлил спросить:

— Кто за то, чтобы названные товарищи были избраны? Поднимите руки!

Подняли руки. Одна Торка не подняла. Бухарбай указал на нее подбородком:

— Вон там не поднимают...

— Женеше, а вы что же против течения? Объясните, — распелся Лис Курен, очень, видно, довольный тем, что Торка оказалась против.

Торка, припав на хромую ногу, встала. Люди, шумевшие было, притихли, повернулись к ней.

— Чтоб ей пропасть! Против я! Вот так! — сказала она и махнула рукой.

— Ойбай, женеше, — залился мелким смехом Лис Курен, — а понятнее нельзя?

— А куда понятнее? Это она, Хансулу, там сидеть будет?

— Что вы имеете против?

Торка блеснула глазами, поправила платок. Подбоченилась.

— Сабетски бласты в этом ауле есть или нет?

— Ойбай, есть, женеше, бог с вами! Кто это сказал, что нет?

— А ты не веселись! Если Сабетски бласты есть, откуда, скажите, закун, чтобы кулацкая дочь, как это... в преземе сидела? Вот ты, Курен, и объясни, не улыбайся...

Бухарбай поднял голову.

— Кто это — табарыш Хансулу? Покажитесь, — попросил он гнусаво, делая вид, что не знает, о ком идет речь.

Люди оглянулись. На задних рядах сосредоточились женщины. Верещага Шарип не выдержал, заерзал на месте.

— Поднимись, келин, покажись, — попросил он.

Хансулу стыдливо поднялась. Щеки ее горели — от смущения и от обиды на Торку. Бухарбай, оглядев ее, склонился к уху Курена. Тот незамедлительно встал.

— Названных товарищей прошу пройти! И ты, милая, проходи, проходи! — сказал он, обращаясь к Хансулу. — Мы с мнением большинства, а не отдельных товарищей считаемся. Такой порядок.

Хансулу была рада, что Торке дали по рукам, но и идти в президиум не решалась. Робела. Поглядывала на свекра со свекровью в передних рядах, будто разрешения у них спрашивала. Шарип, встрепенувшись, закивал:

— Иди, детка, иди. Большинство желает.

И Жайбаскан закивала.

Хансулу пошла. Зазвенели шолпы на ходу. Идет и чувствует взгляд жирного уполномоченного. Это ее возмущает. Хотела сесть подальше, но Лис Курен, холуйствуя, рядом с ним и пристроил ее. Обомлел Бухарбай, завидев в соседках красавицу: райская птичка, считай, на ладонь к нему опустилась. Аромат духов опьянил его. Забыл он на миг и про народ, и про собрание, которое затеял, всеми его помыслами завладела Хансулу...

— Слово предоставляется товарищу Игенсартову!

Бухарбай вздрогнул, будто его окатили ледяной водой. Встал. Холодно поглядел на людей, двойной подбородок отвис.

— Так-так, — начал он и замешкался. Постучал пальцами по столу. — Все вы, конечно, о последних новостях в районе наслышаны. Рассказали, я думаю, табарыш аулнай и новый председатель товарищества Каспаков Шеге. Так вот — распространяться не буду. Главное скажу. Та-ак. Кампания по ликвидации кулаков — серьезная кампания. — И не слово, а фразу уже присовокупил по-русски: — Ошен сыльный палитишески знашени имеет. — Сделав паузу, оглядел зал, перешел на родной казахский вперемешку с отдельными русскими словами: — Сегодня мы боржоев, которые как пиявки кровь трудового народа сосут, под корень рубим. Навсегда кулаков и прочую контру уничтожаем! Мы им так и должны заявить: убирайтесь, любезные, подобру-поздорову, такой порядок. Верно я говорю? Вот так мы себя от контры освободим. Понятно?

Все знают, что значит русское «боржой». Никому неохота в буржуях оказаться.

— А кто боржой-то? — спрашивают.

— От-от! — вскинулся Бухарбай. Ждал он, видно, такого вопроса. — От где проблема! Кто боржой, спрашиваете? Вот именно, кто боржой? — и вытаращился на всех так, что люди отвели глаза. — Мы с вами и должны найти, кто

боржой. Найти — и срубить под корень! От так! Для этого мы и собрались. Такой порядок.

— Спаси аллах! — зашептались старики. — Кого еще искать?

— Сохрани, о создатель!

Голоса множились. Шум... гу-гу...

— Мы разве в прошлом году не сдали... боржоя?

Это с места спросил Уап.

— Кто это? Стоя прошу! — сделал замечание председательствующий Лис Курен.

Уап встал.

— Я не у тебя, а вот у табарыша хотел спросить, — он кивнул на уполномоченного. — Кампеске в прошлом году была, так мы Мажана сдали. Бая. Тогда нам сказали, боржоя больше нету, с боржоями покончено. А что получается? Опять кого-то уничтожать? Боржой, они что, каждый год нарождаются?

— Кто это? — спросил Бухарбай.

— Ты что мелешь? — вспылил Курен. — Ты давай что надо говори!

— А я что надо и говорю! — вскричал и Уап, тоже выкатывая глаза — они у него как у козла. — Что, и спросить теперь нельзя? А если узнать хочу? Зачем район людей посылает? Затем, чтобы они нам, людям простым, разъясняли, разве не так?

Курен в президиуме выразительно вращал глазами. Понял его Уап.

— Ну, если надо, чтобы я молчал, пожалста, я кончил...

— Как фамилия табарыша? — полюбопытствовал уполномоченный.

— Жартыбасов.

— Табарыш Жартыбасов! Та-ак. Сколько в ауле очагов?

— Да больше сорока.

— Сколько еще не в артели?

— Да с пяток наберется.

— Так-та-ак, табарыш Жартыбасов! — уполномоченный вытянул в его сторону палец. — Хозяин одного такого очага, который еще не в артели, — Пахраддин. Так, табарыш?

Пахраддин, сидевший в задних рядах, поднял голову. К нему обернулись.

Уполномоченный продолжил:

— Пахраддин во времена царя Мекалая бием был — раз! Пусть не такой крупный, как Мажан, но тоже бай был — два! Батраков держал — три! Нет, скажете?

Никто на вопрос не ответил.

— Если бы Пахраддин был за Собетски бласты, он бы давно записался в артель. Так или не так?

— Товарищ уполномоченный! — не выдержал Пахраддин. — Я вас попрошу не извращать политику партии. Совсем она не такая, политика партии!

— Та-ак. Объясните, в таком случае, — Бухарбай устремил на него застывшие глаза; такие глаза у кабана, попавшего в западню.

— В коллективе не состою, верно. Но — не по своей охоте. Не берете. Все это знают. Но и газеты я читаю, господин уполномоченный. Сам Сталин сказал, что вхождение в коллективы — дело добровольное. Так что вины за мной за то, что не в коллективе я, похоже, нет.

— Законоучитель, гляди-ка, — буркнул под нос Бухарбай, озлившись. — Хорошо, табарыш Пахраддин, допустим, ты не бинауат[1], что не в каллектепе, — он перешел на «ты». — А вот до кампеске у тебя более трехсот голов мелкого и более сотни голов крупного скота было, неправда это? И батраков держал. Тоже неправда?

— Под батраком, надо полагать, пастух разумеется. А под пастухом — Козбагар. Ночь, люди мои, на дворе — лгать грешно; но— не просил я его быть пастухом. И тем более — не заставлял. Родители его тут, Уап и Торка, пусть скажут, если неправда. В двадцать первом, сами знаете, голод был. Никому, помнится, пропасть не дали, кому — коня, кому — еду, ни один очаг в ауле не погас. Козбагар в пастухи пошел. Как я мог отказать? Семья их нищенствовала, как и другие...

— Верно говорит Пахраддин! — поддержали его.

— Правду би-ага сказал!

Пахраддин продолжил:

— Года три пас скотину Козбагар. Так за то, наверное, что кормился, одевался. И я теперь — виновный?! Уважаемые, пусть бог свидетель будет, что вы от меня худого видели, скажите? Справедливость, полагаю, еще есть.

---

[1] Бинауат — искаж. от «виноват».

— Ойхой, вот слова! — не удержался Шарип.

— Верно!

Соскользнула с места Торка:

— Пусть ему от бога воздается за доброту! Я к нему лично ничего не имею. В трудную минуту помог. Не оставил. Ну а если что не то по его адресу говорила, так то же не о нем, о молодых, черт бы их побрал!

— Тихо! Не шумите! — призывал к порядку председательствующий Лис Курен.

Уполномоченный ему что-то выговаривал. Он почернел. Зверем смотрит на Пахраддина.

— Ты, табарыш Пахраддин, погоди минуточку — скажу я. — Уполномоченный в конце концов встал. — Ты понимаешь, что ты делаешь, табарыш Пахраддин? — Указательный палец представителя района повис в воздухе. — Ты мешаешь работать! Ты срываешь собрание! Это — саботаж! Это как раз по-боржойски. Ты дезорганизуешь работу. От так! Главное в нашей кампании — вовремя вот таких боржоев выявлять. Они-то и мешают нам строить, новую жизнь. Потому мы от них должны избавляться. Долой их! От так!

Люди притихли, стали переглядываться.

— От так! — захлебывался между тем в краснобайстве Бухарбай, вскидывая вверх руку. — Район, возглавляемый табарышем Калашниковым, взял повышенные обязательства. Хоть у нас и отсталый район, поскольку отдаленный, — это Калашников сказал — мы работу по очищению нашей среды от кулаков закончим за неделю, а всеобщую коллективизацию — за три месяца. Не за три года, как сказано в плане, а за три, повторяю, месяца! Это, табарыши, большой переворот! За три месяца на оседлый образ жизни перейдем, будем один каллектеп! Вот так мы срубим под корень старую жизнь. От так, табарыши!

Ждахай, возбужденный, вскочил, захлопал. Обернувшись к залу, завращал круглыми глазами, хлопайте, мол, тоже. Но его поддержали лишь несколько человек, в том числе и Шарип.

— Ай да слова! Жми! Не жалей! — вопил он фальцетом.

— Сатсилизм, табарыши, на огненной арбе летит вперед к счастливой жизни! Поспешать нам надо, на верблюдах не угнаться нам за огненной арбой!

— Не угнаться! — подхватил Ждахай, потрясая кулаком.

— Я кончил, — сказал, садясь, Бухарбай. Поглядел на Курена: — Дайте теперь табарышам беднякам слово!

Ждахай выступил. Пламенно. Как всегда.

— Верно табарыш уполномоченный тут говорит. Двенадцать лет уже, как пал царь и Сабетски бласты установилась. Все кругом меняется. Города, железные дороги строятся. А у нас почему, зараза, ничего не меняется? Школу построили. Хе! И довольны. Провались всё к черту, не в три года, а в три месяца у нас каллектеп будет! А что? Кто не захочет, силком толкнем!

— Табарыш, погоди! — Бухарбай полез в карман. — Та-ак. Вопрос у меня. Список кулаков. Сам составил. По вашему старому списку, между прочим. Та-ак. Пахраддин первый, потом — Кулатай, в Ханторткиле он, потом — Жумаш.

Жумаш взвился с места:

— Что-что?! Жумаш — кулак?! Я не ослышался?

— Бестереков? — уточнил Бухарбай, подумав про себя злорадно: это тебе за «зверя».

— Бестереков, ну и что? Клевета, браток, клевета. Не веришь, скотину посчитай в сарае. Какой я кулак?

— Та-ак. У тебя в сарае тридцать овец, шесть коз, три верблюда, если, конечно, верблюжонка считать, одна лошадь, так? — Бухарбай вперил в Жумаша глаза-щелки.

— Да съели уже одну козу. Пять осталось, — защищался Жумаш.

— Погоди. У сестры в Донызтау — верблюдица с верблюжонком. Так? Скрыл от людей, якобы не твои они.

— Да не скрывал я! Сам отдал. Без молока они.

— Этому мы не верим, табарыш! Так что не обессудь, ты, так сказать, на уровне кулака, если все сложить.

— Несправедливо! Ложь! Зря верблюдицу на меня записали. Обман! Клевета! У всех тогда считайте. И которая скотина в сарае, и которая у родичей!

— Жумаш, все-то при чем? — толкнул его кто-то.

— Других-то не пристегивай.

— Да вы что, я теперь — кулак?!

Жумаш, бедный, обмяк в мгновение ока. Дочь Наркыз, сидевшая рядом, побледнела — проклинала она на чем свет стоит уполномоченного и ту злосчастную ночку, когда он к ней приставал. А Бухарбай как ни в чем не бывало повернулся к Ждахаю — тот стоял на трибуне.

— Та-ак... Что ты, табарыш, насчет кулаков скажешь?

— Что скажу? Кулак есть кулак. Пусть получает положенное.

— От слово настоящего батрака! — торжественно провозгласил Бухарбай. — Кто еще желает сказать?

Никто больше не желал. Лис Курен, чтобы слышали все, пропел на ухо уполномоченному:

— А среди нас — Шеге, свеженький председатель артели. Почему он молчит? Вопрос злободневный, горячий. Или он не председатель?

— Э, верно, пусть выступит. Послушаем, — согласился Бухарбай.

Большинство выразило желание послушать председателя.

Улыбка, застывшая на губах Лиса Курена, взъярила Шарипа. Уж он-то понимал смысл этой улыбки. Под меня, гад, копаешь, ах ты лис, встал же я тебе поперек горла?..

Когда Шеге поднялся, в зале стихло. Хансулу разволновалась. Что-то сейчас произойдет, показалось ей. Стало страшно. Хотелось убежать отсюда, от всех этих людей, грызших друг друга. Вон отец, потерянный, убитый сидит. Вон Шеге меж двух огней. Шеге, милый Шеге, не молчи! Единственная вера, единственная опора, Шеге, говори же!

— Кампания горячая предстоит, — сказал Шеге. — Товарищ уполномоченный прав, ее политическое значение велико. Поддерживаю и я как председатель политику уничтожения кулаков как класса.

Лис Курен расплылся в улыбке.

— Ты мне скажи, Шеге, — попросил он, подаваясь вперед. — Ты скажи, Шеге, Пахраддин — кулак или не кулак?

Довольный, откинулся аулнай к спинке стула.

Глаза Шеге вспыхнули.

— Кулак! — выкрикнул он зло. — Кулак! Это вы хотели от меня услышать?

Всё! Вот она, катастрофа! Этого и боялась Хансулу. Будто ветер раскачал собрание — такие разыгрались страсти. Кто-то уже и кидался на кого-то. Хансулу зажмурилась.

Потом она услышала голос свекра:

— Ты... лис чертов! Ты что смуту разводишь?..

Хансулу открыла глаза, а Шарип расталкивая людей, пробирается к столу. Кому-то отдавил по пути ногу, у кого-то шапку с головы смахнул. Вырвался к президиуму, треух здоровенный с головы стянул и кинул на пол. Пыль взметнулась до потолка. Уполномоченный вздрогнул. Лис Курен почернел. Шарипу того и надо:

— Ты тут всё злодейство заворачиваешь... Ты — предатель! Кампанией, понимаешь, прикрываешься, чтобы народ сосать! Что, неправда? Середняка кулаком заделал. А я сейчас твое классовое лицо открою! Ты, ты — лис мажановский, ты, торгаш, все его байские дела на базарах обстряпывал. Говорил и буду говорить про твои дела! От так! Он тебя кормил, а ты Лис, его сожрал! Вот тебе и вся правда!

— Верно! Верно говорит! — закричали тут.

— Чистая правда!

— Так-то вот!

— Давай открывай свое классовое лицо! Хватит таиться! — продолжал Шарип. — Кто, как не ты, народ по родам разбивает? Кто палками бит, с тех пор как ты аулнай? Ажымы и жалпактили. Неправда, скажешь?

— Правда!

— Чистую правду говорит Шарип!

— А что бы я неправду говорил? — воодушевился Шарип. — Почему в списке нет каражонов? Почему нет твоих родичей?

— Де-ельно!

— Куда надо разговор пошел!

— А потому в списке каражонов нет, что ты сам каражон. Не бедняцкие, родовые интересы ты защищаешь! Скажешь, неправда?!

— Правда! — кричали из родов.

— Несправедлив аулнай!

Уполномоченный счел нужным вмешаться:

— Табарыш Каспаков! Вы расстроили собрание! Вы сводите счеты! Это несерьезно! — Он застучал по столу кулаком.

Шарип и ухом не повел:

— Слушайте меня, люди! Я сейчас объясню. Нас тут три поколения от трех дедов: ажымы, жалпактили и каражоны. Жили не тужили, главное, дружно жили, пока этот каражон не стал аулнаем. И пошло! Ажымы и жалпактили уже не люди. Неправда, скажешь? Справедливо, скажешь? Если ты власть, Бухарбай, ответь напрямки, честно, справедливо это?

Люди расшумелись:

— Несправедливо!

— Пора бы уняться каражонам!

Некоторые крикуны, типа Кикымбая, уже повскакивали с мест, машут кулаками:

— Кровь за кровь!

— А ну, каражоны, выходи!

— Каспаков, прекрати! — вскипел Бухарбай. — Это саботаж! Прямой саботаж! Ты ответишь за это перед законом!

— Я?! Как бы не так! — Шарип подскочил к столу и, подступившись чуть ли не к самому подбородку уполномоченного, заверещал: — Ты, сын Игенсарта, ты кого из себя корчишь? Да знаю я и тебя, и твоего дерьмового отца! Что ты тут трясешься, кого закуном пугаешь? Не тебе меня стращать. Что мы — слепые? Только и знаешь что по бабам шастать да водку хлестать. Гляди, возьмемся за тебя скопом! Думаешь, управы на тебя не найдется? Знай, как Шарипа трогать!

— О, Шаке!

— Да здравствует голытьба!

— Вот так активист. Сказану-ул...

— А кто же скажет, как не активист?

— Держись бедняк!

Шарип поднял с пола треух, вытряс его, нахлобучил на голову. С чувством исполненного долга пошел, не оборачиваясь, к дверям.

— Ох, Шаке! Куда вы? Собрание еще не кончилось, посидите, — заискивающе заговорил вслед Лис Курен, будто и не было неприятного для него инцидента.

Тот лишь рукой махнул. Громко хлопнул дверью.

— От так! — констатировал кто-то.

— Что ему собрание? Человек на съезде был...

— С активистом не шути!

После ухода Шарипа собрание не затянулось. Оставив Пахраддина и Кулатая в кулаках, а Жумаша в середняках, люди разошлись.

4

Снаружи темно. Ночь ветреная. Хансулу видела, как ушел с собрания отец, и теперь спешила, спотыкаясь на бегу, к юрте на окраине аула. Ее мысли — об отце. Ей хочется поскорее добраться до него, посрамленного, униженного в глазах большинства. Каково ему? Подвывающий морозный ветер обжигает лицо, норовит вытолкать в студеную степь. В ушах звучит: «Кулак! Кулак!» И кто ведь это сказал? Шеге. Ее вера, ее опора — Шеге... Это он так сказал! Чего, спрашивается, ждать от других? Одна надежда была у Хансулу и ее отца — Шеге. Погасла эта надежда. Одна опора — Шеге. Эта опора треснула. Обрушилось на голову небо. Пошатнулась под ногами земля. Что происходит с миром, что?..

Побрехивали собаки, гудел заунывно ветер. Не слышала Хансулу ни псов, ни ветра. Она слышала лишь собственный голос, повторявший смятенно: «Кончено все... Все погибло».

Из тундика одинокой юрты на окраине аула вылетали искорки огня. Хансулу, борясь с ветром, отбрасывающим ее назад, ощупью набрела на дверь. Дома было светло. Жарко горел очаг в самом центре. Отец сидел согбенный, лицом к огню. Справа от него — мать. Обо всем, похоже, переговорили. Молчат. Вздрогнули, когда появилась дочь. Воззрились на нее, удивленные неурочным приходом,

Белая шаль сползла на шею Хансулу, стоит простоволосая. В глазах — страх. То на мать смотрит, то на отца. Пламя гудит-шумит в очаге. Ветер воет снаружи, рвет кошму на юрте. А здесь — тишина; трое взрослых людей слушают ветер и — молчат. Притихшие, как дети после страшной сказки. Мать, взяв кочергу, стала шуровать ею в очаге, разгребая угли. Пламя занялось жарче.

— Проходи, Сулужан, — сказала она.

Отец безучастно глянул на дочь. Хансулу, бросившись к матери, обняла ее. Обняла и — разрыдалась. Пахраддин

посмурнел. Но не шелохнулся. Орудуя кочергой, которая была в левой руке, байбише правой погладила дочь по голове. Ни отец, ни мать не проронили ни слова, пока Хансулу плакала. Кто-то заскребся в дверь снаружи. Судя по тому, что Кутжол не залаял, свой человек. Кто-то вошел. Шеге. Застыл у порога, смотрит на Хансулу. У нее вспухли глаза. Сердитая. Вот-вот вспыхнет. Не зная, что сказать, Шеге затоптался на пороге.

— Я тебя искал, — пробормотал он.

— Не искал бы! — отрезала Хансулу, обжегши его взглядом.

Не посмев поднять глаз, Шеге прогундосил что-то под нос и бросился к выходу. Широко распахнул тяжелую дверь, исчез.

Опять нависла тягостная тишина. Пахраддин все глядел на огонь, горькие мысли ворочались в отяжелевшей голове. О чем-то думая, помалкивала и байбише, вскидывая свои красивые тонкие брови. Хансулу посмотрела вслед ушедшему Шеге... Гудел-потрескивал огонь в очаге. Выл снаружи ветер, рвал кошму. Его вой — как предвестие надвигающейся беды. Жутко от этого воя, неспокойно на душе.

— Сулужан! — спохватилась мать, вставая. — Иди домой!

Начала стелить.

— Не пойду! Не хочу, — ответила Хансулу.

Пахраддин, зажмурившийся было, открыл глаза, вздохнул. Неодобрительно глянул на дочь. Но сдержался, не сказал ничего, хотя глаза говорили многое. Хансулу смешалась от его взгляда, боязливо поежилась.

— Не надо так, дочка, — урезонила мать. — Силком вас никто не женил. Из-за нас не ссорьтесь. Что Шеге? Все — от бога. Такая уж, видно, судьба наша. Ступай, будь умницей!

Хансулу, сверля взглядом пол, продолжала сидеть. Мудрая, много повидавшая на своем веку Сырга-байбише подошла к дочери, приласкала ее. Руки матери нежно касались волос, шеи, спины. Они снимали боль с души. Хансулу оттаивала. Потом встала и пошла.

Мать проводила ее.

...Шеге лежал отвернувшись лицом к стене. Кизяк в очаге угасал; пробежит по головешке слабое, едва тлеющее

пламя — и пропадет. Лечь отдельно — другой постели в доме нет. Пришлось пристроиться рядом, лицом к очагу. Шеге не спал, вздыхал. И Хансулу не спала. Она думала. Опять собрание перед глазами. Все можно простить, но как простишь такое?.. Бросить в лицо отцу: «Кулак!» Ластится к ней, когда одни, люблю-горю, говорит, а до дела дошло... Э-эх! Слова не мог сказать в защиту, комсомольцем, глядите-ка, заделался неподкупным! Ни слова, ни слова не мог сказать, мало того, что не защитил, еще ведь и прокричал публично: «Кулак!» Это ее-то отец — кулак?! Никогда. Хансулу не думала о Шеге так плохо, как в этот час. Он был для нее хуже врага...

Шеге, вздохнув, перевернулся на спину. Открыл глаза. Угольки в очаге погасли. Темно. Ветер. Все тот же ветер. Не уймется. И у него в голове — ветер, холодный, вышибающий слезу из глаз. Грудь жжет злость, необъяснимая, непонятная ему самому. На ком ее сорвешь? Не на ком. Но почему, почему за то, что он сказал правду, а ведь он сказал правду, он же и виноват?! Можете он в том виноват, что дочь кулака взял в жены? А может, и не он виноват, а Лис Курен, потому что спровоцировал его на такое выступление? Или Пахраддин, потому что некогда был состоятельный. Или Хансулу, потому что не за правду встала, а за отца? Кто виноват во всем, что происходит? Кто виноват в смуте, которой нет объяснения? Кто, кто виноват?!

5

Всю неделю аулы на плато Устюрт бурлили. Днем и ночью собрания. От уполномоченных на взмыленных конях нет спасения. Мнения среди населения относительно кулаков самые разные. Кто-то высказывается за политику партии, чтобы кулаков как класс ликвидировать, а другие, наоборот, против; народ темный, к тому же не оставляющий мысли о кочевничестве, волновался, не зная доподлинно, чего держаться; каждое новое собрание обрастало слухами, причем таких фантастических размеров, что казалось, под угрозой — благополучие каждого. Из-за излишнего усердия некоторых горе-активистов в самых разных местах целыми аулами сбегали из артелей. Активисты их, конечно, преследовали, такая у них была работа, и, если

преследование заканчивалось удачно, степняков снова заталкивали в коллективы; аксакалов, старых и средних лет, милиционеры как подстрекателей гнали в район. Те же из мужчин, что помоложе и посмелее были, что не желали привычной воли менять на узду, подались в степь. Прозвались басмачами. Промышляли они на дорогах. Стали убивать уполномоченных. Советская власть, объявившая им борьбу, опиралась на голытьбу, которую так и прозвали: «красная палка Советов». Эта палка ощутимо прошлась по спинам баев и кулаков — многих в ту пору согнали с родных земель, много скрипучих арб потащились к станциям. Аулы утонули в прощальных слезах и причитаниях.

По единственной тропе, идущей из «Жана жола» в Наркамыс, трусит Пахраддин. Тропа, поднявшись на перевал, спустилась затем по склону на желтое плоскогорье. За Пахраддином на коне рысит Сур Жекей. День ясный, полдень, ни малейшего дуновения ветерка. Степь просматривается отчетливо, как на ладони. Вон вдалеке, справа, — Акшокы, а слева — Ханторткил. Знакомый глазам край в ореоле желтых и черных теней. Знакомые глазам кусты баялыша по низинам; изень, полынь, пырей — по песчаным гребням; будто замерли растения, затаились, глядя вслед Пахраддину, уж его-то они знают. Так, во всяком случае, Пахраддину кажется, будто кустарники его — провожают. А что? Эта земля — с ее оврагами и лощинами, с ее многочисленными тропами и тропками, заросшими пообочь устели-полем, зверобоем, ковылем, покрытыми белесым слоем дорожной пыли, — близка ему; она — очевидец его жизни, начиная с самых ранних, детских и юношеских, лет... Все-все вспоминается теперь, все оживает перед глазами. Чем больше он думает о прожитом, тем очевиднее встает вопрос, ранящий душу: «За что? За что-о?..» За срок, отпущенный ему на земле, люди узнали его как бия. С малых лет он отличался тягой к справедливости, что потом стало для него жизненным правилом. Участвовал в тяжбах. Сначала выделялся среди ровесников. Что обыкновенно решал Пахраддин, с тем соглашались и спорящие. Возмужали ровесники, стали взрослыми, обзавелись семьями; вырос, обзавелся семьей и Пахраддин. Жизнь не стоит на месте. А там, где жизнь, там житейские заботы, склоки, ссоры. Жизнь

не обходится без тяжб, они сопутствуют ей. Степному люду, слыхом не слыхивавшему о суде и тюрьмах, истина необходима как воздух. Вот и шли они к Пахраддину как к объективному началу, мерилу справедливости, шли, короче, к тому, кого знали. Верил народ Пахраддину. Через них, через людей, и заслужил Пахраддин славу бия, они сами возвели его в судьи. За мудрость, за объективность ценили его, уважали. Верно, не бедствовал Пахраддин. Благодаря состоянию, не столь уж крупному, но и не совсем малому, которое оставил покойный отец Муса, ему не пришлось испытать горечи нужды. И родичам бедствовавшим, когда это требовалось, помогал... Время переменилось. Жаль, конечно, что его поколению, как говорил Асан Айтжанов, первый в этих краях большевик, до будущих райских дней не дотянуть — не хватит века, и все же хорошо, что они, эти дни, будут... Так размышлял о времени и о жизни Пахраддин, не ведая о том, что клещи новой власти, сошедшиеся на глотке баев, ухватят в один прекрасный день за ворот и его. Баев, положим, было за что хватать: за скотину, от которой ломились дворы, за золото в сундуках, которое они утаивали. А середнякам, подобным Пахраддину, за что ответ держать?! Но такая сегодня политика, к сожалению, — ветру она уподобилась, который сотни раз за день меняет направление. В результате такой политики, точнее, в результате одного собрания и он, Пахраддин, — нынче кулак. А кулаков как класс Сталин велит уничтожать. Сам про это в газетах читал...

Нынешний утренний час подходил к концу, когда объявился Сур Жекей. Похоже, из райцентра, из самого Наркамыса. Лицо, всегда смуглое, черно, будто пожар где тушил. Ни приветствия, ничего.

— В район пойдешь! — говорит.

Сырга перепугалась. А он смотрит на милиционера, не поймет, зачем ему в район, а тот его поторапливает: скоренько, скоренько, говорит.

— Нельзя ли узнать, браток, зачем? — спрашивает он.

А милиционер:

— Пойдешь — узнаешь. Давай-давай!

Такой вот разговор. Пахраддин поднялся, накинул на ходу чапан, молча пошел. Сырга что-то сказала. Не услышал Пахраддин.

— За конем я, — говорит.

Милиционер вне себя:

— Не надо коня! Пехом... пехом просвежишься!

С той минуты и трусит. Только замедлит бег, слышит свирепое:

— Марш!

Сур Жекей командует по-русски. Надо полагать, для устрашения. В руке — камча. А что? Ударить он может. С него, милиционера, станется. В восемнадцатом году, говорят, он каких-то баев из Оя в степи расстрелял — без суда и следствия... Пот крупными каплями катит с Пахраддина. На плече — коржун. Он не тяжел. Бедняжка Сырга заталкивала туда что-то обернутое в полотенце, не то хлеб, не то смену белья. Грузен Пахраддин, вот и трудно ему бежать, задыхается, постанывает на ходу.

Сур Жекей молчит. Видит он, каково Пахраддину, но не сочувствует ему. Напротив, чем больше тот стонет, тем большее удовольствие испытывает. Пыхти-пыхти, думает, тебе на пользу, когда-то и я, будучи сиротой, пыхтел, когда овец у бая Есенкула пас. Босиком бегал, а вы, сволочи, на конях разъезжали. Плевать вам было на мальчугана у отары, размазывающего слезы по лицу. Вы разве считали его за человека?! Нет! Побегайте вот теперь, потрясите брюхом перед вчерашним сиротой Жекеем! У него такая рана на душе — врагу не пожелаешь. Вечна эта рана, не зажить ей, разве что боль иногда снимешь слезами вот таких, что в шелковых чапанах перед ним трусят. Есенкула он тоже по этой дорожке гнал. Пешочком. Руки ему за спину скрутил — и вперед! Как последнюю скотину гнал. Не хотел, толстозадый, пешочком, а он его камчой — поперек лба! Всю ненависть в удар вложил — за унижения, за слезы детских лет. О, если бы видел кто, как затрепетал Есенкул, когда он, Сур Жекей, наган из кобуры вытащил! Как вспомнит Сур Жекей, тепло у него по телу разливается, так ему хорошо и благостно делается. Вытащил он наган и говорит, сейчас я с тобой, сын собачий, за все посчитаюсь... Одной-единственной свинцовой пулькой. И наган, значит, ко лбу. Есенкул — на колени, рыдает; голубчик, говорит, да я ли тебя не кормил, да я ли тебя грамоте не учил? Не стал стрелять Сур Жекей. Положил наган обратно. Ему то и надо, чтобы Есенкул перед ним на коленях повалялся. А рыдал-то

как, пес!.. Сейчас бай в тюрьме, а перед Жекеем теперь Пахраддин трусит. Пот у бедняги пятнами по спине пошел — прямо через одежду. Не бай и не бедняк Пахраддин, образованный человек, бий, уважаемый в народе. Заговорит — так все, считай, в рот ему смотрят, такой он краснослов. И стар и млад с почтением к нему относятся, как к справедливейшему в округе человеку. Что бы, спрашивается, его гнать? Да в том-то и дело, что Сур Жекею не Пахраддин нужен, а его братец Азберген. Тот, стервец, почувствовал, что несдобровать ему, улизнул из рук. Ах как он нужен Жекею!.. Азберген!.. Вот кого бы заставить посопеть пешочком да в тюрьму. Но Азбергена нет. Зато есть Пахраддин. Чист перед народом, перед богом, но тому злодею — брат...

Глядя на широкую, во влажных пятнах спину Пахраддина, Сур Жекей почему-то взъярился. Поддал коню в бока. Жеребец всхрапнул, скакнул вперед. Сшиб грудью Пахраддина, тот упал. Сур Жекей натянул поводья, останавливая разгорячившегося жеребца. Развернул его, поглядел на Пахраддина. Тот, опершись на руки, сплевывал песок, набившийся в рот, вытирая рукавом мокрое лицо, стал подниматься.

Сур Жекей терпеливо ждал, пока он поднимется. Лошадь поставил поперек тропы, преграждая дорогу. Весь внимание и слух. Ждет, что скажет Пахраддин. Тот поднялся. Снял с плеча коржун, бросил на землю. Отряхнулся, не смотрит на Сур Жекея. Милиционер в ожидании того, что он скажет, стал пепельно-серым, молчит, ест глазами.

Пахраддин заговорил, когда привел себя немного в порядок.

— Браток, — начал он, — зачем, я думаю, тебе меня мучить? Смерть, считай, одна. Чем вот так унижаться, а потом в вонючей тюрьме кончаться, давай-ка я, браток, здесь, в степи привольной, останусь. Пристрели и оставь, вот и просьба, родной!

Сур Жекей не издал ни звука. Молча сошел с коня. Спутал тому ноги. Взял в руки наган, оттянул курок.

— Вот так, сделай милость, уважь старшего брата, — повторил Пахраддин и отошел шагов на шесть назад, облюбовав себе крохотную, с густой жухлой травой лужайку. Встал боком. Не хочет видеть Жекея.

У милиционера вислые губы собрались, в трубочку, зашевелились тараканьи усы. Поднял вытянутую руку с наганом, в висок прицелился.

Стало тихо. На миг установилась великая тишина. Даже конь милицейский замер, выжидательно уставившись на людей.

В сердце Пахраддина не было страха. Как говорил Абай, «к чему мытарства в жизни и униженье, когда в могиле отдохнуть возможно?» Он и решил — отдохнуть. Устал, жить устал. Невысокий хребет вдалеке пересекал степь. За ним — аул, в ауле — Сырга, Хансулу. Бедняжка Сырга, ее жаль больше всех. Он даже и голос причитающий услышал. Его суженая... Его единственная любовь... Вот уж кто хлебнет горюшка без него! Он-то что? Он — ничего. Умрет и уйдет. Был он — и нет его. Где-то в вышине запел жаворонок. В полыни под ногами застрекотали кузнечики. А Пахраддин стоял и ждал звука, одного-единственного, который все, что он сейчас слышит, оборвет — раз и навсегда. Отойдет Пахраддин в небытие. Там он ничего не услышит... Но выстрела, как ни странно, не последовало, и Пахраддин повернулся к врагу.

Сур Жекей, так же вытянув губы трубочкой, вкручивал цигарку из махорки. Наган — в кобуре. Будто забыл про Пахраддина. Вот тогда и почувствовал Пахраддин, как стучит его сердце, как пронзительно звенит в ушах. Одрябло тело, так расслабляется, раскручиваясь, нить в мотке; Пахраддин рухнул на землю как мешок. Опустился рядом с муравейником. Снующие туда-сюда мураши, о создатель, продолжали свое нескончаемое действо, как будто ничего, ничегошеньки не произошло. Их суетное движение, получается, продолжалось бы, как вчера, позавчера, как всегда — и несколькими минутами назад, когда его, Пахраддина, не стало бы?! О, подлый мир, как ты коварен!..

6

Пахраддину повезло: на одной из улиц Наркамыса он случайно попал на глаза председателю райисполкома, а то бы, как знать, пропадать ему в неизвестности, как многие тогда пропадали. Афанасий Васильевич проезжал на коне, когда среди арестованных, месивших глину на улице, он

увидел Пахраддина. Срочно вызвал к себе в кабинет Сур Жекея, велел после обеда доставить Пахраддина в РИК.

За два дня пребывания в тюрьме Пахраддин сильно сдал. Когда его, грязного, испачканного глиной, милиционер повел в РИК, он не мог понять, кому он понадобился и зачем. И только когда в распахнувшуюся дверь он увидел склонившегося над столом Афанасия Васильевича, глаза его озарились светом. Худой пожилой русский был ему сейчас ближе брата. Они обнялись. На глаза Пахраддина навернулись слезы. Он был рад неожиданному вмешательству Апанаса в ход событий, решавших его судьбу: теперь он чувствовал, его дела поправятся, должны, во всяком случае, поправиться.

Когда они остались наедине, Пахраддин без обиняков выложил Апанасу все, что у него накопилось на душе. Не скрыл и своей обиды на Советскую власть, сконцентрировав внимание на таких ее «деятелях», как Лис Курен, Бухарбай, Сур Жекей, которые, по его мнению, дискредитируют власть в глазах народа. Их действия, подчеркнул он, противоречат указаниям Ленина в проведении кооперирования на национальных окраинах.

Афанасий Васильевич задумался, крепко задумался. На лице обозначились морщины, следствие его трудной жизни. Все-то этот чуткий человек принимает близко к сердцу. Зашагал он взад-вперед по кабинету. Долго покряхтывал, поглядывая на невольного посетителя.

— Э-э, друг мой Пахраддин, — сказал он. — Если бы дело было в Бухарбае и Сур Жекее, это, скажи, полбеды бы. Дело ведь не в них, милейший...

Пахраддин, развернувшись на стуле, вопросительно уставился на предрайисполкома.

— Не в них дело, голубчик ты мой, — повторил он.

— Не в них. Пойми, кругом враги. У государства нет сил. Чтобы они были, силы-то, заводы нужны, техника нужна. А чтобы построить заводы, хлеб нужен, мясо рабочему человеку, который их строить, будет. Хлеб и мясо — у кулака. Купить — денег у государства нет. Что делать? Ликвидировать кулака как класс и все у него изъять: продукты, скотину. Ты вот не кулак. Середняк.

— Кулак я, кулак, Апанас. Собрание решило.

— Ах так даже? Плохи твои дела раз кулак. Раскулачивать будут, изымать скотину и зерно.

— Ну а что же кулаку тогда? С голоду помирать, все государству отдав?

— Во-о... Советская власть тоже помирать не хочет. Никто с голоду помирать не хочет. Ты меня понял?

Подобное Пахраддин слышал впервые. Переменился в лице.

Афанасий Васильевич прохаживается по кабинету.

— Хоть и горькая, но такая вот истина, друг мой Пахраддин. Государству зерно требуется, мясо требуется. Не могу сказать, что ситуация в скором времени изменится. Слыхал? «Не сметь против Голощекина переть! Никому — ни жита, ни копыта!» А ведь не зря, скажи?.. Все лишнее — государству. Так что сложно сейчас тому, у кого какая-никакая скотинка водится, будут тучки над головой...

Предисполкома задумался.

— Я ведь с Калашниковым, бывает, до белого каления, а откуда оно, брат, все идет? Оттуда, — и Ананас показал на потолок. — Сам с некоторых пор дошел, понимаешь?

Пахраддин ошалело вылупился на потолок.

— Что я для тебя могу сделать, так дам-ка письменное разрешение на выезд в любом направлении, по твоему выбору. Это, к сожалению, все, что в моих силах...

Так заключил Афанасий Васильевич и вздохнул.

С этим документом Пахраддин вернулся, опустошенный, в «Жана жол». Лис Курен, увидев подпись предрайисполкома, почесал затылок. Тем не менее Шойынкару, по его же воле ставшего коллективным достоянием, он не вернул. Вместо него двух других верблюдов из общественного стада выделил — с виду смирных, покорных. Не желая унижаться перед врагом, Пахраддин не стал настаивать на любимце-наре. Так поздней осенью 1929 года куцее, похожее на вдовье кочевье Пахраддина двинулось из аула. Вместе с Пахраддином покинула аул и мать Булыша — Дау-апа.

— У вас нет разрешения на выезд, — попробовал опротестовать ее желание Лис Курен. — Бумага, Дау-апа, нужна, вот как у Пахраддина.

Старуха ему и отрезала как всегда:

— Бумага тебе, может, и нужна, а мне ее не надо! Жила до сих пор без нее, без бумаги, а теперь жить осталось сколько козе, бог и без нее меня приберет. Вот так!

Громко говорит Дау-апа, все ее услышали, а Лис Курен знал, что мужеподобная старуха так ему и ответит, потому

и пугал «бумажкой», чтобы она при всех высказалась: тем он себя избавлял от последствий, которые мог иметь как аулнай за ее исчезновение.

Многие аулчане пришли проводить Пахраддина. Когда груженные поклажей верблюды поднялись на ноги, женщины расплакались. Старухи по очереди обнимали Даулапу.

— Может, не свидимся, — говорили они. — Так пусть тебя бог хранит...

И Торка приковыляла. Утирая жаулыком глаза, припала к Пахраддину, запричитала:

— Не раз за твоим дастарханом сиживала. Прости, если что не так тогда сказала...

Другие старухи еще больше разревелись:

— Ойхо-ой! Сколько жили вместе, как родные уж...

Кочевью пора было трогаться.

Туманное зимнее небо. Недвижная снежная степь. Равнодушна она к людским причитаниям.

— Апа! Апа! — заливалась слезами Хансулу, не в силах оторваться от матери.

Плакала, сотрясаясь плечами, и Сырга-байбише, беззвучно плакала.

Пахраддин в дорогу оделся тепло. Безмолвствует. Впереди дальняя дорога, чужие люди. Что ж, он готов схватиться с жестокосердною судьбой, с неизвестностью. Аллах свидетель, он не хотел покидать аула, не хотел...

С того самого мгновения, как понял он, что покинуть аул придется, что это для него — неизбежность, проснулась в нем старая боль. Два дня саднит рана. Пахраддин подумал о своем одиночестве. Горько ему, что в трудный для него час нет рядом сына, готового последовать за ним, готового поддержать в дороге. Были бы живы Али и Кали, слов нет, не испытывал бы он скорби, не терзался бы... И кочевье было бы полным. Безжалостна ты, судьба, ох-как безжалостна!..

Хансулу подбежала, обняла:

— Коке!

Дрогнули плечи Пахраддина. Хорошо, Шарип вовремя вмешался:

— Что это вы все расхлюпались! — говорит. — Кончайте! Вот же соседи наши — каракалпаки. Рукой подать.

Ай-ай! Свидимся еще, даст бог. Ох, бабы, им бы только поскулить...

Так простился «Жана жол» с кочевьем Пахраддина.

...Тянулась белая гладь, унылая, удручающая. Длинные, тоже белые, но с темными склонами гребни перечеркивали ее поперек. Из-за горизонта, далекого-далекого, выкатывалось солнце — холодное, без тепла. Туда, в сторону солнца, и двинулось кочевье. Медленно, но верно оно погружалось в горизонт.

7

Сколько времени не сходит с головы Шойынкары недоуздок, а со спины жазы — опора для вьюка?! Давно улетели-испарились дни, когда он, важно выступая, гнал куда хотел свой табун. Нет дорог и перевалов в степи от Жем на севере до Сама на юге, которых бы не касались его широченные ступни. Даже в Кандыагаше побывал Шойынкара, аж за Наркамысом и Темиром. Он, Шойынкара, единственный из верблюдов в этом ауле, которому довелось увидеть железную дорогу и огненную арбу на ней.

Чего он только не доставляет в «Жана жол»! Мешками — тук, горы железа, дерева, камня. Где дальняя дорога и весомая кладь — там могучий, черный, как туча, Шойынкара. Все к этому привыкли. И сам он привык. Поджарый стал с годами, подтянул брюхо. И шерсть не дыбится на голове, как бывало, — поулеглась. Постарел Шойынкара, постарел, а не обходится без него, как прежде, любая маломальски тяжелая работа. Вот и сейчас, навьюченный, с косяками собратьев и лошадей, с отарой овец тащится он к зимовью в Саме. Старое зимовье, теплое зимовье в песках посреди саксауловых деревьев. Знакомо оно Шойынкаре. Истосковался он по нему. Но необычное нынче кочевье: мало, очень мало следует с ним людей. Потому мало, что «Жана жол» остался зимовать в Ханторткиле, в пески с семьями лишь пастухи подались — Каукаш и Серикбай, а с ними Ждахай и Шеге. Всю аульную скотину они гонят, исключая ту, что на забой отобрана. Шеге, как только определит на месте пастухов, вернется, а Ждахай останется в Саме на всю зиму как бригадир. Новое назначение

позволило Ждахаю заявить единоличные права на Шойынкару. Возликовал он, когда знаменитый в округе нар с его высоченным горбом и валкой, удобной для седока поступью остался за ним— да ведь не на день, не на два, навсегда, считай; не скоро он, Ждахай, с бригадиров-то уйдет...

— Сечешь, чудак? — хохотал он, занося камчу над наром. Он обращался к Шеге. — Что значит новая жизнь, а? Ты на дочку Пахраддина залез, а я на его верблюда, ха-ха! Чу-у, зараза! Шевелись!

Шеге не слышит Ждахая. Не до Ждахая ему.

В океане дум Шеге. Не выплыть ему никак — не видать берега. А думает об одном: о собрании том злополучном, об отъезде Пахраддина, об их с Хансулу отношениях, которые далеко уже не прежние. Разобиделась на него Хансулу. Позовет он ее: «Сулу!», а она: «Чего?» И тигрицей смотрит. «Что теперь? И поговорить нам с тобой нельзя?» — «Нельзя, — отвечает Хансулу. — Я — кулацкая дочь». В постели ложится к нему спиной. Обнимает, а она его руку сбрасывает: не тронь, говорит, кулацкую дочь, нельзя, говорит, тебе, председателю, с кулацкой дочерью якшаться. Из-за чего, спрашивается, она так? А из-за того, что он отца ее, видите ли, не защитил. Вся и обида. Но как, как мог защитить Пахраддина он, если и Апанас — уж какой влиятельный человек! — и тот не защитил? Тысячу раз объяснял он ей это, а она — дуется... Вот такие непонятные теперь между ними отношения. Невесело у семейного очага. Остыла супружеская постель. Кто — прав? Кто — не прав? Об этом и думает Шеге. Но ответа на этот вопрос не находит. Все для него в конечном счете свелось к одному: не любит его Хансулу. Если бы любила — поняла. Постаралась понять. Раз не любит, то и повод, ясное дело, ищет, чтобы рассориться.

Да-а, вот, стало быть, в чем причина их частых размолвок в последнее время! В нелюбви к нему Хансулу! Как просто! Чем больше он себя в этом убеждает, тем больше укрепляется во мнении, что Хансулу использовала его как шанс, да, как шанс в пору жизненных неурядиц, когда ей позарез надо было оказаться за чьей-то спиной. Его спина подвернулась. Если бы Хансулу его любила как он ее, разве

бы она села тогда легкомысленно в чью-то машину? Не села бы... Если бы, например, тот шофер Ибрагим встретился ей раньше, слов нет, она пошла бы замуж за него. Не задумывалась. На шее бы повисла. Какого еще мужа надо? Машину водит. По городской моде одевается. По-русски свободно тарабанит. О-о, побежала бы за него Хансулу!..

Шеге вздохнул. Вот же чертовщина! Чем больше думаешь, тем больше подозрений... Еще одна история была. Приехал на днях к ним учитель по имени Андалы. Одних лет с Шеге, а может быть, чуть помоложе. Стройный, симпатичный. Учеба из него, видать, все соки выжала, худой. В Актюбинске учился. Губоно направил его учителем в «Жана жол». В первый день у Шеге гостил — как у председателя артели. Учтив, и одежда не аульная. Драповый с блестками бешмет с прямыми плечами, пуговица на пуговице — все блестят; узкие тонкие брючки. Волосы длинные, чем-то напомаженные, назад зачесаны, наодеколонен. Первая, так сказать, ласточка культуры, в их провинциальную глушь залетевшая. Хансулу, завидев его, переменилась на глазах — запорхала, засуетилась, соорудила необыкновенный дастархан. Раскраснелась, еще краше стала. Напружинился Шеге, но внешне сохранил спокойствие. Трудно ему пришлось, потому что весь вечер Хансулу на гостя и смотрела, гостя одного и слушала. Много знал гость. Про поезда рассказывал, которые казахскую степь от сна пробудили, про заводы новые, которые строились, про новую столицу Казахстана — Алма-Ату. А когда он с Казахстана на Москву переключился, а потом на зарубежные страны, люди за дастарханом — их пригласили, чтобы гость не скучал, — рты пораскрывали, до того занятно он говорил. Шарип, как всегда, встречал с обычным: «Ай, не скупись, что значит ученый человек!» Что-то учитель про капиталистов сказал, про их намерения относительно Советской власти, будто готовы они задушить молодую Советскую власть. Шарип вскипел. «Ах, — говорит, — чтобы и в могиле им выть, боржоям! Азбергенов везде, оказывается, хватает!..» Всех, короче, гость очаровал, и в частности, Хансулу. Из-за этого весь вечер Шеге просидел в напряжении, толком-то не послушал ничего, а жаль, интересно джигит рассказывал. Когда они с женой остались

одни, она и на него, помрачневшего, внимание обратила, спросила: «Что с тобой?» А он еще больше насупился — спрашивать, дескать, смеет, что с тобой...

— Басеке! Басеке-е![1]

Ждахай кричал, думы оборвались.

Приятель спешил к нему как сумасшедший, безжалостно погоняя Шойынкару.

— Место нашли, басеке, где отобедать можно! Во-он! — и показал камчой в сторону ближнего кургана.

— И из-за этого орал? — рассердился Шеге. — Я-то подумал, басмачи...

На кургане они разгрузили животных, спутали им ноги. Женщины занялись костром. Шеге, все такой же смурной, поднялся на вершину. Плоская она, сплошь усеяна камушками и галькой. Кругом равнинный простор Устюрта с растрепанными пучками изени и баялыша. Не на чем остановиться глазу. Пески Сама на южном горизонте. Поспешить, так сегодня можно будет и заночевать там.

Перед наспех возведенным шалашом — чадящий огонь. Дедовская жизнь глазам представляется — такой она, наверное, была в далекие, давно уже минувшие дни битв. Рассказывают, враг с севера подступал, там люди на таких вот курганах огни разожгли. Батыр Барак в Саме был, он эти огни увидел и — на коня! Оружия у него полный набор — лук, копье, секира, сабля, щит. Войско собрал — и в бой!..

Место захоронения знаменитого предка Барака, отстоявшего в том сражении отчизну, — там же, в виднеющихся отсюда голубых песках. Оно называется Тураш.

К могиле батыра Барака к заходу солнца ранее других поспели трое: Ждахай, Раш и Серикбай. Они ехали налегке. Без скотины. Шеге остался с погонщиками. Задача троих — подготовить для всей группы удобное для ночлега место.

Квадратное сооружение с четырьмя ушками по углам на заросшем ковылем кургане — могила батыра. Чуть ниже — кладбище, на котором в разное время были погребены другие видные люди округи. Склон пестрит захоронениями. На песчанике в изголовье могилы Барака древний, высохший на солнце и ветру саксаул со множеством разноцветных лоскутов на сучьях. Казахи называют его священным. В лучах заходящего солнца дерево отсвечивает

---

[1] Басеке — от «бастык», что означает «начальник».

алым, будто горит; кажется, самой судьбой оно вознесено над степью, чтобы хранить покой уснувших тут сыновей степи.

— Уа, дед святой, лежишь? — еще издали прокричал Ждахай, явно рисуясь перед спутниками «новизной» своего отношения к усопшим.

— Сдурел, что ли? — возмутился Серикбай, оборачиваясь.

— Ты, ты кому — «сдурел»? — Глаза Ждахая вытаращились как у дикого козла.

— Святое же место, вы что? — укорила их Раш.

Ждахая и вовсе прорвало:

— Ты это кому «сдурел», а? — заорал он, подгоняя верблюда к Серикбаю. — Ты давай пасть поменьше открывай, а то мне раз плюнуть — на сторону ее свернуть! Кто здесь бригад[1] — ты или я?.. Вот-вот, осмотрись маленько!

— Да что это с вами, в самом деле! В таком месте... Грехто какой! — Раш опасливо покосилась на вершину кургана.

Серикбай промолчал. Он переварил то, что сказал Ждахай: бригадир-то и правда не он, что на скандал нарываться?.. Ждахай, лупцуя Шойынкару, погнал его мимо могилы.

— Что он делает?! — вырвалось у Раш. — Помолиться ведь надо, с коней сойти... — Она придержала свою лошадь.

— Ну и молитесь на здоровье! А я вам не мулла! — бросил им Ждахай не оборачиваясь.

Раш и Серикбай остановились. Ждахай, проехав чуть вперед, оглянулся. Его спутники, сойдя с коней, о чем-то переговаривались: они стояли близко, почти соприкасаясь головами. Ясное дело, его обсуждают. Ну, востроглазый, погоди! И ты, плутовка, вижу не прочь его приголубить. Знать бы этому олуху, почему Раш с ними! Ждахаю Шеге пришлось уговаривать, так и сказал, приглаживая свои торчащие в разные стороны волосы: если ты друг, отправь и ее; вот так эту свеженькую, белокожую, как только что очищенное яичко, бабенку он заполучил, а тут, гляди-ка, востроглазый к ней лепится. Этого Ждахай не потерпит, да еще в бригадирах-то!

---

[1] Бргад — искаж. от «бригадир».

Злой, опустил Шойынкару на колени неподалеку от конышного кургана, с подветренной его стороны. Снял поклажу. В коржуне — две бутылки водки, он вынес их тайком из дома родителей; одну еще в дороге раскупорил, прикидывался, что замерзал. И сейчас вот глотнул — раз, другой. Сразу стало тепло. Серикбай и Раш, обсуждая его «дурость», возились где-то там, где он их оставил, ему и голоса их почудились, и даже смех. Вон как! Да кто здесь, в конце концов, бригадир? Кто начальник?!

— Дурак! — выругался он вслух. Это, по-видимому, относилось к Серикбаю, потому что следом он сказал: — Погонщики подойдут — шалаша нет. Костер разводить надо — топки нет. А солнышко заходит. Дел — куча, а этот дурак от бабы отлипнуть не может...

Вновь взлетел он на освободившегося от груза Шойынкару. Наученный горьким опытом общения с этим человеком, верблюд вскочил, не дожидаясь камчи. «Молящиеся» шли навстречу, лошади, как и положено в святом месте, в поводу следовали за ними.

— Это что за гулянки? — напустился на них Ждахай. — Чем огонь разводить? Где шалаш? Я вас спрашиваю, это что за беспечность?

Начальник есть начальник. Он волен распекать.

— Ты! — Ждахай повернулся к Серикбаю. — За топкой, живо! Не подыхать же тут с холоду!

Серикбай исчез, захватив топор.

Ждахай и Раш принялись за шалаш. Работают молча. Но и ей, улучив момент, выдал:

— Еще раз увижу, что с ним, с востроглазым, балакаешь, — прирежу! Ей-богу!

Раш только рассмеялась.

— Ты про это Наркыз скажи! — говорит.

Серикбай притащился с охапкой сухостоя.

— В могилу бы тебя, к дедам, зараза! — обругал его Ждахай. — Ну кто в холод сушняком греется?! Он же сгорает быстро! Саксаул где?!

— А нет его, где взять? Могилы там, как возьму-то?

— Что-о? Загнуться теперь, раз могилы?!

— Боже сохрани! — простонал Серикбай, вскидывая на него глаза, полные ужаса.

— Не смейте трогать священные деревья! — встрепенулась и Раш.

«Заступница», — подумал Ждахай злорадно. А вслух упрямо повторил:

— Сушняк — не топка! — И встал, взяв топор и веревку. — Пошли! Кому я говорю, пошли! Ну!.. Саксаулу, олух, нарубим!

— Ойбай, не смей! — вскричало Раш. — Забыл, как сына Ташти перекосило? Ойбай, не гневи духов предков!

— Брехня это — духи-мухи. Дурачат вас муллы. Ничего не будет. Айда, Серикбай!

— Не пойду! Боюсь, — отказался тот решительно.

— Эй, да ты баба, что ль, боишься? — удивился Ждахай. — Хм... Тогда оставайся. Вон и баба — тебе в пару...

Заткнул топор за пояс и вскочил на спину лежавшему Шойынкаре. Раш ухватилась за недоуздок:

— Не ходи-и!..

Верблюд, поднявшийся рывком, едва не сбил ее грудью.

Шойынкара бежал во весь опор, далеко вперед выбрасывая голенастые ноги. Ноздри у него — что мехи, на всю степь шумят. Очень скоро они были у захоронения святого человека. Ждахай не впервые на могилах. Случалось, и ночью забредал. Ничего пока с ним не произошло. Чего бояться? Всякая могила — лишь горка земли. Ждахай оглянулся: Раш и Серикбай забрались на холм, за ним наблюдают. Солнце уже зашло, потемки сгущаются, а у них — ни-че-го! Вот так подготовили место!..

Ждахай остановился у священного дерева, у того, которое в лоскутьях. Рубить — так его! На мазар деда Барака — квадратный, с четырьмя ушками по углам и месяцем при входе — он глянул лишь краешком глаза. Прямо посмотреть не посмел. Дерево трепетало на ветру своими разноцветными лоскутами; в разное время оставлялись они на нем путниками в дань памяти тем, кто здесь успокоился, оттого дерево и священно.

Ждахай опустил Шойынкару на колени. Что-то, кажется, закричали там, сзади. Пусть повизжат. Саксаул высокий, разлапистый. Обошел он его с крепким конопляным арканом в руках. У корня ствол толщиной с верблюжье бедро. Топором, считай, до утра махать придется, пока перерубишь. Потому, пока не стемнело, он этим трусливым зайцам покажет, какое у него, Ждахая, железное сердце. Одним концом аркана он обвил дерево у основания, а второй привязал к поясу Шойынкары. Вот так-то!

Глядите теперь! Смачно, с размаху оттянул камчой по боку верблюда. Вскочил бедный Шойынкара как ошпаренный. Не ждал, видно, удара. Бросился вперед — аркан впился ему в грудь.

— Ынк! — вырвалось у животного непроизвольно.

Саксаул не дрогнул.

— О-ой, предков твоих в душу!.. Ты что-о?! — возмутился Ждахай, замахиваясь камчой.

Ох как приелась Шойынкаре камча! Всю дикую силу свою вложил он в рывок. Саксаул качнулся. Но по-прежнему остался на месте.

Ждахай был близок к умопомешательству.

— У а, деда твоего... чу-у! — взревел он. — С корнем справиться не можешь, какой же ты после этого на-ар?! — и давай лупцевать несчастное животное — ни дать ни взять бахсы, обезумевший от своего бессилия.

Шойынкара и голову к нему повернул, будто что-то хотел сказать — не переносил он камчи, он и без камчи был исполнителен, — да кончик камчи, отяжеленный свинчаткой, как раз в это время угодил в глаз. Темно стало в нем — верблюд замотал головой.

— Мало тебе? Так вот — получай еще! На, кулацкая скотина, на!..

Разошелся Ждахай — бьет без разбору. После каждого удара рассекается кожа. Кровь из разбитого надбровья потекла в изувеченный глаз. В нем все еще темно.

Если Шойынкара и испытывал когда-то унижение, так только от людей, когда они его били. Но и, претерпевая это поганое для себя состояние, он — хотя бы приблизительно — предполагал, за что получает наказание. Сейчас Шойынкара не понимал, за что истязает его идиот-хозяин. Хорошо бы камча касалась бока или спины, это для него значило бы: «Тащи!», «Круши!», «Вали!» или еще что-нибудь в этом роде; все зависело от того, какой работой предстояло заняться. Но почему били по голове?.. Для него это ново. Саднил глаз, тело горело, как на пожаре; злоба, негодование, протест закипали в нем. Сила, дикая, неистовая, готовая все под себя подмять, распирала грудь. Застонал он, черный, грозный, как туча, которая вот-вот низвергнется ливнем. Глухо, утробно рыкая, покачиваясь на ходу, он обошел ствол. Последними матерными словами поносил его хозяин. Что бы другое, может, нар и не понял бы,

но матерщину, которой одарял его постоянно этот двуногий, он различал, она-то и сопровождалась побоями. От ярости он заскрежетал клыками.

— А-а, зараза! Сдохни, раз тебя на саксаул гнилой не хватает! Сдохни! Что зубами-то скрипишь?

Камча прошлась по мощному бедру. Это было уже понятнее, это значило — тащи! Шойынкара собрался. Подсознательно, чутьем одуревшего от боли животного чувствовал он — последний будет рывок. Или он сломает дерево — или дерево его. Чудовищная, невероятная в своем напоре сила всколыхнула его, и он кинулся очертя голову вперед.

— А-а-ап! — подсобил ему криком Ждахай, хлопая себя по ляжкам.

Никогда Шойынкара, с тех пор как он Шойынкара, не выкладывался так, как в этом последнем, отчаянном усилии выиграть поединок. И стороннему глазу ясно: выстоит кто-то один. Или дерево, или животное. Лишь бы земля давление опорных ступней Шойынкары выдержала. Но — не выдержала земля, провалилась куда-то, и задняя нога нара по щиколотку ушла в пустоту. Влекомый великой силой инерции, Шойынкара упал.

Что-то треснуло.

Ждахай подумал, вывернулся саксаул, но нет — цело и невредимо стояло дерево. Обошел Ждахай Шойынкару, дрожащего, мокрого, и увидел: кость из земли торчала, белая-белая.

Присел было Ждахай, чтобы получше осмотреть перелом, но раздалось злобное: «Аф!» — что-то в ту же секунду хватануло его с неимоверной силой за плечо, отшвырнуло прочь. Ждахай покатился со склона вниз, аж земля в рот набилась. На миг, на короткий миг успел он увидеть холодные, сверкающие глаза Шойынкары. «Все, — подумалось ему. — Все! Он меня загрызет!»

— Ойбай! — возопил он, вскакивая на ноги, и — побежал.

Но не преследовал его Шойынкара, не до Ждахая ему было. Он и с места-то не сдвинулся. Лежал, возвышаясь горой. Только отбежав, Ждахай ощупал плечо — оно было целым. Зубы нара кусок рукава у телогрейки отхватили, вместо него зияла дыра. Ждахаю стало страшно, затрясся телом. Вокруг темно. Погонщики уже подходили, он даже

верблюдов впереди увидел. Заметался: что скажет Шеге? Тьфу! Какой конфуз!

По склону карабкался Серикбай. В темноте белеют зубы, кажется, что скалится он, издевательски скалится. Подает руку Раш, она сзади. Ишь, торопятся, друг друга волокут, рады над ним посмеяться. Сгорел Ждахай от невезения.

— Что случилось? — спросили оба, Раш и Серикбай, когда взобрались. Запыхались.

— Нар убился. То и случилось, — бросил Ждахай.

Шойынкара лежал, чуть скошенный набок, его большая голова сиротливо торчала над землей, он постанывал. Весь в крови. Правый глаз закрылся,

— Шойынкара, бедненький...

— Грех-то какой...

Раш и Серикбай обошли нара. Увидели сломанную голень. Покачали головами:

— Конец ему теперь...

— Конец так конец! — прорвало Ждахая. — Сопли, понимаешь, распустили. А топка где? Топка где, говорю? Времени нет над верблюдом плакаться!

— А твоя топка эта, что ли? — не остался в долгу Серикбай, показывая на верблюда.

— Что ты сказал, эй! — взвизгнул Ждахай, не знавший, к кому придраться.

— А что слышал. Вот это, что ли, говорю, твое топливо? — и опять показал на верблюда. — Нара убил... Нара из наров... эх!

Ждахай кинулся на Серикбая. В мгновение ока Серикбай, длинный, худой, оказался под ним. Лупит его Ждахай — по голове.

— Ойбай! — кричит Раш. — Прекратите! Прекратите!

Схватила Ждахая за руку. Ждахай и ее не пожалел — стукнул по лбу. Отлетев, женщина растянулась навзничь.

Первым к священному саксаулу на кургане, заслышав крики, подоспел на своем горластом верблюде Шеге. События, разыгравшиеся тут, говорили сами за себя: лежал изувеченный Шойынкара, валялся, обхватив руками землю, Серикбай; плакал, его плечи сотрясались; плакала, прислонившись к могильному камню, Раш.

Не было только Ждахая.

— Что тут происходит? — возмутился Шеге, опуская верблюда на колени.

Серикбай поднял голову, встал кое-как, отряхнул одежду.

— Где Ждахай?

— Зде-е-есь Ждахай! — раздалось громко со стороны захоронения. Оттуда слышались удары топора.

— Эй, иди-ка сюда! — велел Шеге и стал успокаивать Раш: — Да бросьте вы, что за слезы! Ну-ка, ну-ка! — помог ей подняться.

Утирая слезы жаулыком, Раш взмолилась:

— Вернусь я, Шеге, не хочу... Захвати с собой в аул. Не могу. С бригадом, нет.

— И я вернусь, — загундосил Серикбай.

Пришел Ждахай, скалясь как ни в чем не бывало, жесткие, торчащие в разные стороны волосы приглаживая рукой.

— Что же это ты, без году неделя начальник, а такой погром?

Все разом заговорили. Но Ждахай в конце концов забил и Раш, и Серикбая, и в результате события в его устах получили такую интерпретацию: он-де, Ждахай, за общественный интерес и в огонь, и в воду, он-де ради бригады и священное дерево не пожалел, не мерзнуть же людям на холоде, а Раш и Серикбай за подвиг, ну как же не подвиг — на священное дерево запахнуться! — в их же интересах делающийся, его же на посмешище выставили, неблагодарные, попрекнули гибелью животного... Да-а, умеющий говорить помощи не попросит, сам из любой ситуации выкрутится. И все же выволочку от Шеге краснобай Ждахай получил.

— Зачем ты священное дерево трогал? Что тебе до деда Барака?

Ждахай молчал.

— Нара сгубил... Пастуха бьешь... Чем ты лучше, скажи, бая Мажана или Азбергена?

Тут уж, нечего делать, Ждахай изобразил на лице смущение, погладил колючую голову.

— А он же сам первый, — извернулся он.

Спустилась ночь. На наспех сколоченном стане вскоре занялся костер. Шойынкару после чая решено было прирезать.

Тихая выдалась ночь. И ветра нет. Полный покой. Как и положено, на кладбище. Живой лишь Шойынкара. Кругом

— могилы о четырех ушках. И они — молчат. И нар молчит. Корявый саксаул, так ему и не поддавшийся, смотрит в высоту. На фоне его сучьев некоторое время спустя нарисовался месяц.

По степи бродили верблюды. Темнели вдалеке их горбы. Животные ничего не ведали о жуткой участи собрата, паслись себе беспечно. Кстати, его табунок, его, Шойынкары...

Шойынкара застонал. Как знать, может, дни ему вспомнились... далекие-далекие... когда он, еще молодой, гонял по степи стадо, ему одному подвластное... Протяжный стон у нара. Тоскливый. Он оглядел округу. Ни души, кроме него, Шойынкары, надорвавшегося бесславно на кладбище...

Тяжелая тишина.

Шойынкара прислушивается к этой тишине, а из глаз его крупными каплями выкатываются слезы.

8

Полуденное время. Небо с утра обложено тучами. Повалил снег. Хлопьями повалил. Первый снег. Поздно он нынче выпал. До зимовья в Саме недалеко, и погонщики решили пообедать в юрте. Только к столу блюдо с мясом прирезанного вчера Шойынкары подали — аппетитно подрагивали на пару жирные оранжевые ломти горба, — расшумелся снаружи Борибасар. Сотрапезники переглянулись — кто там мог быть?

Простучали конские копыта, кто-то спешился, и дверь широко распахнулась. Гость шагнул через порог, уж очень большой, едва помещается в юрте. В руках — ружье. Ушанка надвинута низко на заросшее бородой лицо. Шуба старая, кустарно выкрашенная. На носках больших сапог-саптама со вдетыми в них войлочными голенищами лежит снег.

— Не двигаться! — басом прогремел человек, направив на хозяев ружье. Тон резкий. Ослушаетесь — пристрелю, так, видно, следовало такой тон понимать.

Никто не двинулся с места. Глаза незнакомца остановились на старой винтовке, она висела на стене.

— Подай-ка, — велел он Раш.

Голос знакомый. Шеге, мучительно размышлявший, кто

бы это мог быть, вдруг воскликнул:

— Булыш-ага!

И вскочил, порываясь к нему навстречу.

И остальные повскакивали:

— Булыш?!

— Ойбай, Булыш?!

— Ассалаумагалейкум, Булыш-ага!

Но радостные возгласы не смягчили выражения лица гостя.

— Давай сюда! — прикрикнул он на Раш, замешкавшуюся с винтовкой. Взял, рассмотрел. — Чья винтовка?

Все посмотрели на Каукаша.

— Скотину охранять дали, государственная винтовка, — ответил тот.

— Где патроны?

Все в недоумении. Человек у порога — Булыш, но по тому, что делает, — не Булыш. Чужой, незнакомый им головорез, такой никого не пожалеет.

Каукаш, засуетившись, вытащил узелок, который завалялся между двумя большими тюками, отдал Булышу. Тот сунул узелок за пазуху. Затем, указывая на Шеге и Ждахая, сказал:

— Вы двое, вынесите-ка один из этих мешков.

— Голодом, браток, уморить хочешь? — не удержалась жена Каукаша.

— Ты! — зыркнул на нее глазами Каукаш.

Глаза Булыша впились в жену Каукаша.

— Правительство вас не заморит. Оставшегося мешка мало, что ль? Хватанули, — с этими словами Булыш покинул дом.

Снег по-прежнему валил хлопьями, вокруг белым-бело.

Шкура освежеванного верблюда лежала перед порогом.

— Шойынкару, что ли, прирезали? — спросил Булыш.

— Да, — ответил Шеге.

— Другой скотины не нашлось?

— Убился. Вот и прирезали.

— Давайте! — Булыш кивнул на мешок с просом.

Шеге и Ждахай, подняв мешок, положили его перед Булышем, поперек седла.

— Как моя старушка? — полюбопытствовал Булыш у Шеге. Смотрит на него испытующе.

— С Пахраддином к каракалпакам откочевала.

— Меня не ищите, не советую, — предупредил Булыш на прощание. — Чу!

Шеге и Ждахай уставились ему вслед. Одинокий всадник, растворившийся в снежной метели, был как волк, средь бела дня забравшийся в овчарню.

— Вот смерть, убил! — произнес Ждахай. За это время он и слова не сказал. Не посмел. Только-только в себя, бедняга, пришел. Булыш — единственный на свете человек, которого он боится. Он даже следов его боится.

— Эй вы! Ушел этот? — прокричал из юрты Каукаш.

— Ушел!

— О покровитель небесный! Сохрани!

Все, кто был в юрте, выбежали на воздух.

— О Барак-ата, спаси!

— О Бекет-ата, спаси!

— Куда поехал-то?

— Тебе не сказал.

— Скотина, ойбай, цела?

— Скотину он не угнал?

— Да не-е, не трогал он скотину.

— Ну что делать-то будем? Ломаной винтовки и той нет.

— Он нас тут укокошит!

— А-а, не верили, что бандит. Поделом!

— А поверили бы, что? Солдат попросил бы скотину пасти?..

ЛИХОЛЕТЬЕ

1

Лис Курен пробудился в ужасе. Ему приснилось, что бай Мажан, который некогда был им выслан, явился к нему домой. Непокрытая голова бая выбрита до синевы. Не успев переступить порога, велел сыновьям, на него, на Лиса Курена, показывая:

— Держите его, предателя, вот он!

Вид у сыновей Мажана — Мотана, Шотана, Капана — такой, что можно свихнуться от страха. С растопыренными пальцами к нему идут. Мажан-то родич Курену — хочет он

на радостях его обнять, расцеловать, ведь столько не виделись, хочет свое истинное отношение ему открыть, да разве же трое насевших громил дадут ему это сделать? Дыхнуть нельзя, на глотку давят. Душа, считай, на кончике носа, вот-вот улетит. Захрипел он от натуги и... проснулся. Тяжело дыша, поднял голову, посмотрел на дверь. Закрыта она. Через бычий пузырь в единственном окошке на потолке землянки проступает рассвет.

Попробуй усни теперь! Курен лежит с открытыми глазами. Думает о времени, на его долю отпущенном. Слава богу, какие только передряги он не пережил, головы и справа и слева летят, а его — еще на плечах. И все потому, что мозгует. Чем он лучше того же Мажана, скажем, или Пахраддина, ведь им не хотелось, наверное, родину покидать? Но осень и зима 1929 года беспокоят его. Боится он. Хоть и аулнай, хоть и печать у него в руках, а боится, как бы под шумок и его головка с плеч не покатилась. Слышал он, в Каракумах басмачи поднялись. Вполне возможно, что сыновья Мажана, бандиты нынче, в аул заявятся. Много, рассказывали, убийств в стороне Жем и Донызтау. Коммунисты, комсомольцы и те, что в аулсоветах служат, что ни день — погибали. Вчера в обед руководящие работники из района нагрянули, с ними первый секретарь райкома партии Калашников и предрайисполкома Гринин, проездом. В Оймаут они держали путь, непорядки там якобы, смута в аулах, люди из товариществ в Каракумы, в Каракалпакию бегут. Активисты сообщали, что в некоторых местах люди аулами снимаются с мест. Не в себе начальство, не задержалось оно в ауле. Заседаньице в школе провели, на нем Курена, кстати, кандидатом в партию приняли; теперь в ауле два коммуниста — Лис Курен и учитель Андалы; в их присутствии и говорил Калашников о неотложных задачах партии в связи с обострением классовой борьбы на местах. Из всего сказанного Лис Курен запомнил одно: «Будьте, товарищи, бдительны!» Оттого, видно, и сон ему такой кошмарный приснился сегодня...

К полудню на горластом верблюде возвратился с зимовья Шеге. Рассказал обо всем, что там было.

— Один Булыш? — переспросил потом Курен.

— Один, — ответил Шеге.

Усомнился Курен, вряд ли Булыш один. Такая пора... Бегут семьями, аулами; самое время головорезам, таким,

как сыновья Мажана, удачу ловить. Эти-то волки выйдут на след. Уж они-то будут мстить за отца...

— Ты не задерживайся! — сказал Курен, насилу отвлекаясь от дум. — Калашникова догони! В «Алге» они, наверное, сегодня. Встретиться просил. Да и про это сообщи, про Булыша!

Шеге с верблюдом в поводу отправился к себе.

Лис Курен, взяв лопату, стал расчищать снег перед домом. Опять мозгует. Неспокойно ему, ох неспокойно! Плохо, что бродят безнаказанно по земле люди, твои враги, о том только и мечтающие, чтобы снести тебе голову. Сообщение Шеге только усилило его страхи. Общественный скот, говорит, в опасности. Да пропади он! Пусть целиком его угонят! У Лиса Курена ничего не убудет. Лишь бы его голова была цела, лишь бы его дома не коснулась беда.

Отныне Курен тем и был занят, что, запершись дома, ловил каждый подозрительный шорох. Двух кобелей, привязал он по обе стороны от дома. Ночами под подушкой держал берданку.

2

Ребятишки во дворе, женщины успели известить Хансулу о прибытии Шеге — она показалась перед порогом. В белой шали, в длинном черном, туго обхватывающем ее по талии бархатном полушубке с белым мерлушковым воротником. Глянула на Шеге, привязывающего верблюда, блеснули как зарницы ее агатовые глаза, чуть даже, кажется, и задержала на нем взгляд и — скрылась. Но этого было достаточно, чтобы на сердце у Шеге потеплело. Подозрения последних дней охладили, надо сказать, его чувство к Хансулу, будто нарос на душе лед, который ничем не растопишь. Всегда тосковавший по Хансулу, стоило той хотя бы на миг исчезнуть из виду, на сей раз он возвращался озлобленным; зачем, думалось, ей Шеге, когда есть учитель Андалы, образованный, культурный, блестящие волосы назад зачесывающий? Каждый день, он знал, они встречаются в школе, может, снюхались. Повезло джигиту — красивую молодую женщину обучает! Разливается, поди, соловьем у доски — он умеет, а сам на нее, на черноокую, пялится, на ее соблазнительную, чуть вздернутую по-заячьи верхнюю губу. Пялится, конечно. Да и Хансулу,

поди, на него заглядывается... Подобные мысли как комары кусают — назойливо, больно.

А тут сердце дрогнуло, стоило показаться на порожке Хансулу. Удивился Шеге, что с ним? Ну вышла, ну глянула. Несколько дней не видела. Задержала, кажется, взгляд на миг, будто спрашивала: «Что, приехал?» И исчезла. Только и всего. А ему вдруг отчего-то хорошо стало. Шеге усмехнулся.

Сестренки расшумелись:

— Ага приехал!

— Наш ага!

«Ага» — это он, Шеге.

Погладил он их по головкам и пошел к землянке. По центру она разделена печью на две половинки. Жарко. Отец, разложив у печи свое немудреное хозяйство, вбивал один за другим в сапог тонюсенькие гвоздики. Гвоздики — в углах рта; так, с гвоздиками во рту, и повернулся к нему, округлил глаза, немо спросил: как дела? Мать латала одеяло на полу, тоже подалась к нему. Хансулу за печью наливала воды в чайник. Балжан заталкивала в печь кизяк. Короче, оживился дом с приездом Шеге, все ему были рады. А Шеге выглядел скучно. Видно, устал с дороги, решили домашние.

Шарип собрал инструменты в сундучок, обрезки кожи и сыромятины, гвозди.

— Что новенького? Рассказывай! — попросил он сына и стал обминать руками жиденькую бороденку.

Рассказывая, Шеге наблюдал за Хансулу, за каждым ее движением и жестом. Единственного он искал: нет ли в ней перемен, не появилось ли чего-нибудь новенького в ее поведении за его отсутствие? Хансулу, сбросив полушубок, осталась в камзоле из тонкого красного вельвета. При каждом наклоне вперед, позванивая шолпами, ниспадают до земли две тяжелые косы, и тогда четче вырисовываются ее полные груди и гибкий, изящно вычерченный стан, белые, унизанные кольцами и браслетами руки, пульсирующая на белой шее жилка. Не та Хансулу. Не рада она ему. Одна не рада. Обиду, значит, копит. Не рада, что ж, и он тогда, ей назло, поведет себя соответственно. Не смотрит теперь на Хансулу, будто ее нет. Молчит.

— Собирайся, сынок, да поживей! Допей чай и скачи! — торопил Шарип. — Нельзя медлить, когда райком ждет!

Сам факт, что райком нуждается в Шеге, льстит самолюбию Шарипа, очень льстит. Со вчерашнего дня, кто бы ни заглянул в дом, он начинал:

— Ойпырмо-ой, начальники в районе с ног сбились, про Шеге спрашивают, к чему бы?..

Что люди скажут? Райком, они понимают, дело серьезное, кто знает, зачем ему сын Шарипа понадобился? Но некоторые, угадывая сокровенное желание Шарипа — угадать-то несложно, все у бедного сапожника на лице, — в тон ему шепчут заговорщически, дескать, райком зря не потревожит, мол, повышение по службе парня ждет. Шарип ликует, гостю говорит благодарные слова, да еще и масленку со сливочным маслом к нему пододвигает...

Опрокинув пиалу вверх дном, что означает конец трапезы, Шарип встал. Посеменил к порогу. Пока Шеге чаевничал, оседлал гнедого и с ним у порога дожидался сына.

— Давай, давай! Райком есть райком!

День безветренный, тихий. Степь белая-белая. Снег, поблескивающий на солнце, немного подтаял. Гнедой жеребец, на спину которого взлетел Шеге, застриг ушами, резво взял с места. Оставив позади пригревшийся у южной оконечности сопки небольшой аул, Шеге отправился в путь.

Шеге удалялся, а вслед ему смотрела Хансулу. И она, крутясь у очага, разливая чай, исподволь наблюдала за Шеге. Разве что глаз не поднимала, а все подмечала — ни жеста, ни слова не пропустила. Если она сердитая, понятно, есть причина, ну а что Шеге? Что с ним-то? Он-то за что ее казнит? В первую минуту, как он уехал, Хансулу растерялась. Не улыбнулся. Слова не сказал. Сел на коня. Поехал... Почему? Это было непонятно. Долго простояла она у порога, глядя ему вслед. Глаза утонули в предательской влаге, она почувствовала себя униженной. На глазах у своих же родных Шеге безжалостно растоптал ее своим молчанием. Хансулу не знала, что и делать. Пока Шеге, обратившийся в черную точку, возвратится, пока они, оставшись наедине во всем разберутся, сколько, бог мой, времени-то утечет!..

Хансулу стало плохо, вернулась бледная. Болезненный у нее вид. Ничего-то и никого, бедненькая, не замечает: ни девчонок, занятых у печи игрой, ни Балжан, единственной в доме, кому она поверяет свои секреты, ни свекрови, корпящей над одеялом, ни свекра, опять постукивающего

молоточком. Перед глазами — пелена. Как тень проскользнула на свою половину, опустила занавес, бросилась на аккуратно заправленную постель. Собралась в комок, закрыла лицо руками.

Пришла Балжан, спросила:

— Что-нибудь болит, Хансулу?

Она не ответила. Обыкновением ее стало отмалчиваться, когда бывало плохо. Поняла Балжан, вышла потихоньку, оставив ее одну. Хансулу через некоторое время подняла голову. Взгляд ее упал на домбру, которой она давно не касалась.

Еще через некоторое время домбра подала голос, чему немало удивились домочадцы. Хансулу долго нащупывала мелодию, пробовала наиграть в одном ритме, другом, третьем. Грустная мелодия напевалась. Что делать, и на сердце грусть. Не кюйши[1] Хансулу, но звуки, извлекаемые из инструмента, трогают душу. Редко она берет в руки инструмент, разве что в такие горькие часы одиночества...

Двое в семье увлекаются музыкой — Шарип и Балжан; примолкли они, прислушиваясь к домбре. Скорбный кюй. Он о безграничности вселенной, о возможностях осмысления этой безграничности человеком; мир широк и просторен, поет домбра, но — случаются минуты, когда он сужается до размеров лисьей норы, и тогда жить становится невмоготу... Плачет сердце, томится душа...

Шарип встал. И про сапог забыл, который шил. Посыпались на пол обрезки кожи, лоскуты сыромятины. Постоял он, прислушиваясь к печальной мелодии, пошел из дому. Гульжан через щелку в занавесе заглянула на половину молодых и за отцом побежала, как была — босиком, без головного убора.

— Коке! Коке! — кричит. — А женеше, женеше плачет.

Промолчал Шарип. Вытянул из нагрудного кармана высохшей и оттого гремевшей на нем шубы роговую табакерку, отсыпал на ладонь насыбаю[2]. Прежде чем метнуть насыбай под язык, поглядел на небо. Высокое оно, голубое, ясное.

— Ойхой, мир, нет тебе меры, — сказал он, тоже погрустнев.

---

[1] Кюйши — исполнитель (-ница) кюя, инструментальной пьесы.

[2] Насыбай — жевательный табак особого приготовления.



А домбра разразилась короткими отчаянными всхлипами.

...Ночь. После долгих раздумий задремала и Хансулу. Проснулась от прикосновения к лицу чего-то холодного, будто пес к ней ледяным носом припал; испугалась. Подняла голову — темно, не видать никого.

— Это я! — послышался шепот.

Шеге! Он, оказывается, принюхался к ней, ласкаясь. У него было хорошее настроение.

— Что это ты? — спросила Хансулу, отворачивая лицо от него, пахнущего снегом и морозом.

— Соскучился! — сказал он, хватая ее за горячий локоть.

— Бр-р... Какие ледяные руки!

Хансулу показалось, что Шеге — с хорошей вестью.

— Ну, что там? — спросила она тихо.

— Что-что? Кандидат я! — объявил Шеге ликуя.

Было темно. Хансулу не видела его лица, но представила какое оно сейчас. Он давно готовился к приему в партию. Дождался. Что ж, и Хансулу этому рада. Только слышала она, что бандиты в первую очередь «комонистов» убивают...

— Что молчишь?

— Поздравляю, — произнесла она со вздохом. — Для этого, значит, вызывали...

— Для этого, — ответил Шеге уже менее воодушевленно. — Что с тобой?

Хансулу поднесла тяжелую ручищу мужа к своему пылающему лицу.

— Всякое на ум идет, — выдохнула она.

— А ты не бойся. А что? С теми, кто стрелять будет, поборемся. Борьба есть борьба, — бодро откликнулся Шеге, поняв, что Хансулу опасается.

Потом они замолчали. Каждый со своими думами. Покойно, тепло в землянке. За печкой дружно посапывают во сне домашние. Снаружи поднялся ветер, в окошко бьет. Бычий пузырь, натянутый на него, расшуршался. Аул спал. Даже собак не слышно.

— Ты не голоден? — спросила Хансулу, обнимая Шеге за шею. У нее сорвался голос, перешла на шепот: — Если обидела я тебя, прости, — и прижалась к нему.

Понял Шеге — рада ему жена. Их жаркие объятия сплелись. Вскоре они забыли обо всем...

Еще не рассвело, а Шарип обошел все дома в ауле. Народ, не успев подняться с постели, узнал в то утро, что Шеге стал «комонистом».

3

Через три дня после отъезда Шеге на горластом верблюде к зимовью с севера задул буран. Повалил снег. Крохотный аул в степи затаился безвылазно у своих очагов; Шарип за утренним дастарханом наслаждался еще горячим чаем, когда в землянке, потаенно улыбаясь, возник Лис Курен. Шарип поперхнулся чаем. Сколько уж не заглядывал к нему Лис Курен! И тот и другой думали — разошлись их пути-дорожки...

Хансулу, вскочив, дала гостю пройти. И Шарип поднялся, закрутился на месте. Раз уж враг сам со склоненной головой пришел, принять его — долг хозяина. Язык-то у Курена без костей, долго Жайбаскан про всякое расспрашивал, пошутил даже — зима, дескать, нынче строптивая, нравом на уважаемого хозяина дома похожая, — и на Шарипа посмотрел, посмеявшись, а потом, напустив на себя должный людям от власти начальственный вид, сказал:

— Причина есть, по которой я у вас, — и пристально на Шарипа поглядел. — Член аулсовета ты, а вот последнее время в общественной жизни не участвуешь.

— Когда я в чем отказывал? — вспыхнул Шарип.

— Оставим обиды. Наслышан, наверное, о последних новостях? Советская власть в опасности. Англичане и турки, говорят, силы собирают, в пеленках хотят Советскую власть задушить.

Глаза Шарипа разожглись как угольки.

— Туркменские и казахские кулаки объединились, говорят, восстание готовят!

— Ах сволочи, будь они прокляты! — вскипел, не выдержав, Шарип.

— Такие вот дела. Трудно Советской власти. Помощи она просит... На таких вот активистов, как ты, и рассчитывает Сталин.

Мягко стелет Курен. Замаслились глаза Шарипа. Приятно ему такое слышать. Еще ниже шляпу на лоб надвинул, бородку свою теребит.

— Да разве я что жалел для Советов? А ценят это люди, скажи, ценят?

— Зерно государству нужно. Городам, где заводы, фабрики, хлеб, говорят, требуется. По ведру зерна с каждого двора просят... Такой план.

— Бог ты мой! Не ведро, два дадим!

— Эй, что ты дашь?! — вскинулась Жайбаскан, в упор глянув на старика. — Что ты дашь, я тебя спрашиваю! Разве не все ты отдал, а? Вот же додумался — не ведро, два, говорит! Сдуреть с ним можно!

Лестные слова и чай расслабили Шарипа, он пребывал в блаженном состоянии покоя. Настроение чудесное — и надо же! — бурный натиск жены все испортил. Поначалу даже оторопел:

— Старушенция, эй, да ведь два-то мешочка было?..

— Какие два мешочка? Ойбай-ай, да в уме ли ты? Это ты про осенние два мешка, что ли? А что, по-твоему, вот они всю зиму ели? О-ой, сумасшедший, что с ним делать! — и Жайбаскан, которую обычно и с места не сдвинешь, встала и заходила у порога взад-вперед.

— Шаке! — сказал Лис Курен. — Сколько дадите — ваше дело. Но мне нужно, чтобы ты меня как член аулсовета сопровождал. Сам знаешь, из активистов ты у нас наиболее уважаемый. Политики государственной не разъяснишь, так народ, видишь... — и, как бы невзначай, пробежался глазами по Жайбаскан.

— Ым-м, — замычал Шарип, слушая Курена.

Лис Курен ждал ответа. Не торопил.

Шарип, вскинув голову, вытаращился на жену:

— Шубу давай, старуха!

Так Лис Курен вытянул из дома Шарипа. Пошли в школу. Уговорить учителя Андалы не составило труда. К полудню и начались кампания по сбору зерна «в помощь городу». Аул, обложенный после бурана огромными снежными валами, тихий-тихий, сразу наполнился криками. Никто по своей воле ведра пшеницы или проса не выставлял, а уж если выставляли, то с проклятиями: сначала

бога честили, потом— власть, потом — Лиса Курена. Особенно старались женщины:

— Каллектеп! Каллектеп! Райскую жизнь обещали. Где он, ваш рай?!.

— Что ни месяц, так выколачиваете чего-нибудь, пропадите вы с таким вашим раем!..

У Лиса Курена ухмылочка на лице. Ничего-то он не требует. Не кричит. Не спорит. Он — на службе. Но с самыми несговорчивыми хитрит. Переждет, когда те успокоятся, а потом и говорит:

— Хорошо, не даете — что делать... Силком брать не можем. Что мы? Государство поручило, вот и пришли. Распишитесь вот тут — не даем. Что делать... 107-ю статью повесим. Другого выхода нет.

Даже самые горластые из баб и их тихони-мужья начинают переглядываться, нервничают. И зерно находится.

С самыми упрямыми, которые разводят руками: нет ничего, и все тут, — Лис Курен еще одним способом обходился — пускал в ход железный костыль. Всё вокруг дома — в сарае, во дворе, короче, там, где может храниться зерно, — протыкал этим костылем, и зерно, погребенное под землей, обнаруживалось...

4

В последнее время Шарип испытывает огромное удовлетворение жизнью. Всему он радуется. И как ему не радоваться? Никто за полы не тянет, не срамит, дескать, грязный сапожник ты. И сапожники, получается, «сатсилизму» нужны. Был один враг — Лис Курен, да и тот поумнел как будто, первый к нему пришел. Авторитет Шарипа в ауле еще больше вырос. Разве это не радость?

Еще радость — Шеге. Сын. Тьфу-тьфу!.. Его отпрыск у людей на виду. Сохрани, господь, мальчика, от сглазу! Когда он услышал, что Шеге стал баскармой-председателем, он сперва не поверил: какой, дескать, из Шеге председатель, зеленый еще! А вышло-то по-иному — сумел мальчик повести хозяйство. Возмужал. Особенно когда «комонистом» стал. В словах и делах доверие внушает. Тьфу-тьфу, в кого он только, в самом деле, уродился?! А что задумал-то? Тентексай, говорит, перегородим, воду в долину Сарыжазык

пустим, сеять будем. Из района сам предисполкома Апанас и еще какой-то «табарыш» из земотдела приезжали, окрестности «Жана Жола» осматривали. И Тентексай тоже. Короче, с того дня расшумелась молодежь— Тентексай с весной оседлаем!

Солнце перекатилось на вторую половину безоблачного неба. Без устали перепархивают с места на место, синички, они как вестники ранней весны. Снег с гребней и плоскогорий давно сошел, но ветер, поддувающий с севера, дышит стужей. В тени и по оврагам снег лежит остаточными пластами, как старый, оброненный кем-то конский потник. Но сбрасывает с себя природа тяжелое зимнее одеяло, расправляет плечи; ожила степь, хорошеет с каждым днем. Ребятишки предались на свежем воздухе шумным играм. И старики потянулись на солнышко — погреться. Как сурки из нор... Истосковались люди по юртам— возводят их спешно за аулом...

Глаза Шарипа упали на Хансулу у самовара. Волна радости опять подкатила к сердцу. Беременна невестка. Как сытая гусыня передвигается. Даст бог, торжество будет в доме Шарипа весной. Лишь бы дожить до этого дня!..

Вечером Шарип долго, до седьмого пота, пил чай, который наливала ему невестка; сидел довольный, в окружении детей. Не чай, а нектар жизни принимал, бодрил он его. Шарип посмеивался. Какое это счастье — вот так, в кругу семьи, пить терпкий, крутой чай!

— О алла, за все спасибо, что даешь! — приговаривал он, преисполненный благодарности к всевышнему.

Но ведь и жизнь временами как та старушка, что скупа на дары. Не знал бедняга Шарип, что через несколько дней благополучию в его доме придет конец. Да и есть ли на бренном свете человек, способный предвидеть, что ему уготовила судьба?

На следующий день ближе к полудню все в «Жана жоле», кто мог держать в руках кетмень и лопату, пришли к началу Тентексая. Сияющий день ранней весны обильно сдобрен солнцем. Улыбчивы люди — какая уж хмурь на лице в такую погоду! Будто праздник. Семья Шарипа пришла на работу чуть не в полном сборе. Даже Хансулу не усидела дома — ходит-переваливается с боку на бок. Шеге ее выта-

щил — хоть покажись, сказал, а работать — уж как получится...

Тентексай — путь вешних дождевых вод, рассекающих пополам гребень за такыром Жыланды и направляющихся к Сарыжазыку. Глубокая промоина, в ней может укрыться верблюд; по дну она засыпана галькой, крупным песков, шарами перекати-поля, оставшимися после осени.

Люди, пошумев, разбились на две бригады. Одну Лис Курен возглавил, вторую — Шеге.

— Сатсилистическое соревнование? — спросил кто-то.

— Да, что-то вроде.

— Э, какая разница, как называется работа.

— Кетменем побольше махай! Вот и соревнование!..

— А что передовикам будет? Сухая ложка глотку дерет! — пошутил Шарип, глядя поочередно то на Шеге, то на Лиса Курена.

— Приз! Вот он! — воскликнул Шеге и полез за пазуху, вытянул оттуда кусочек красной ткани — флажок. К гребню его и пришпилил.

— Флажок победителю!

— Ой, была охота ради тряпки! Ну и приз! — расхохотались женщины.

— Э-э, тряпка-тряпка, за ней смысл. Кто выиграет, выручки побольше тому запишут.

Люди встали по обе стороны промоины. Замелькали кетмени. Прекратились смешки и разговоры. Начался поединок людей с тем, что сотворила природа — с огромным песчаным гребнем. Кетмени с хрустом вонзаются в грунт. Влажная земля захватывается лопатами и летит в промоину. Начальный темп заразителен. Можно подумать, что людям хочется за день закончишь работу, но больно глубок ров; неделя, а то и десять дней уйдут на то, чтобы его осилить.

— Ну, голота! Налегай! Не жалей! Э-эх! — верещит Шарип, утирая пот со лба.

И без него «налегают» — старые и молодые, мужчины и женщины.

— Жми! Давай, родные!..

Шеге в гуще людей, там, где кипит работа; рукава верблюжьего чапана закатаны. Шарип-то к физическому труду в силу своей немощности не годен. Глядя на сына, взмахнет

раза два кетменем и — отдыхает. Потому и хочется ему, видно, свое бездействие возместить бодрящими криками, вот и надрывается:

— И-их! Налегай! Давай!..

Шарип отдыхает. Оперся на кетмень. Вытер пот со лба. Взгляд пошел гулять по окрестностям. Велика степь. Она по кругу окаймляет небесный купол. Вспомнил о скотоводах, пора б, подумал, им вернуться. Перевел глаза на аул, он притулился с южной стороны высокой сопки; аул как аул, что бы, казалось, на него глядеть, да вот загляделся Шарип. С сопки в аул споро съезжала пароконная бричка.

— Э, кто-то приехал!..

Люди услышали его, подняли головы. Бричка остановилась перед землянкой Шарипа. С нее сошли двое. Растявкались собаки. Из дому показалась женщина в белом жаулыке — Жайбаскан.

— Кто бы это мог быть? — гадал Шарип.

— Это кто же еще... Уполномоченный какой-нибудь...

И тут к ним побежала девочка в красном платьице, подал на ветру бьется.

— Гульжан? — вгляделся Шарип из-под ладони.

— Начальство, стало быть, — решил Шеге, вонзая лопату в землю.

Люди продолжали работу. Шарип не выдержал, кинув под язык щепотку насыбая, засеменил навстречу дочери.

— Ай, ай, что там?

— Милиса приехала! Двое их. За агой, — закричала еще издали Гульжан. Косички на спине прыгают.

— Милиса? — переспросил Шарип.

— Милиса! Двое их! — повторила девочка. — Один — Козбагар-ага, у него клинок. Просят, чтобы ага скорее шел.

— Схожу-ка я, пожалуй, — сказал Шеге.

Шарип почти вплотную подошел к сыну, спросил раздумчиво, смяв в ладони жидкую козлиную бородку:

— Зачем ты им понадобился, бог мой?..

— Не знаю.

Тотчас же их окружили Хансулу, Балжан, Маржан, Айжан. Все смотрят на Шеге.

— Ладно, работайте! — велел им Шеге и пошел к аулу, отряхиваясь на ходу.

Он торопился. Всякое передумал, пока шел. В соседнем товариществе «Алга» председателем был некий Жолай.

Баламут, драчун. Когда потребовалась стопроцентная коллективизация, он загонял в коллектив людей всеми доступными и недоступными средствами. На него жаловались. На днях его арестовали, шло следствие по его делу. Вот теперь Шеге и старался припомнить, где он переусердствовал. Но не вспомнил ничего. Сердце, однако, чуяло недоброе. Боязливо открыл собственную дверь. Взгляд сразу же упал на начальника райотдела милиции Сур Жекея — он лежал на гостевом месте, подложив под локоть подушку. Из расписного тостагана начальник неторопливо цедил айран, явно его смакуя. Увидел, конечно, Шеге, но позы не переменил. Здесь же сидел кругленький Козбагар. Только нынешней зимой на курсы уехал, закончил, видать. Милицейская форма не шла ему.

— Ассалаумагалейкум! — поздоровался Шеге.

Козбагар, вскочив, подал ему руку. Жайбаскан, разливавшая шубат, робко глянула на обоих. Сур Жекей протянул Шеге кончики пальцев. Ледяные. Серое лицо зловеще, от него веет холодом, как и от винтовок и сабель у стены.

Шеге опустился рядом с Козбагаром. Тишина. Нарушить ее мог лишь Жекей. Все и ждали, что он скажет. А тот, нарочно усугубляя ситуацию молчанием, тянул с айраном, пока не допил его и не поставил тостаган на дастархан. Вытер полотенцем губы.

— Товарищ Каспаков! — только теперь он взглянул на Шеге. — Поедешь в район. Собирайся!

Ещё переступая порог, Шеге чувствовал, что этим примерно и закончится их разговор, но на всякий случай переспросил:

— В район?

Сур Жекей повернулся к Козбагару. Тот затрепыхался-задвигался, как зайчонок, завороженный змеей. То смотрит на начальника, то на Шеге. На висках засеребрились бусинки пота.

— Шеге, — заговорил он упавшим голосом, — дело вот в чем...

Жайбаскан и Шеге напряженно замерли в ожидании нехорошей вести.

— Дело в том... Факт такой есть. В вашем доме золото и серебро Пахраддина хранится. Заявление пришло, что у

вас он свое добро оставил, поскольку ты зять. Вот и пришли... проверить.

— Какое золото и серебро, бог мой?! — изумилась Жайбаскан.

— Ну так проверяйте, проверяйте! — произнес Шеге, побледнев.

— Апа, раскройте в таком случае сундук, развяжите тюки! — попросил Козбагар, почесывая затылок.

— О боже! — проворчала Жайбаксан, сбрасывая на пол одеяла с сундуков и тюков.

Первым она открыла большой ларь. Ничего, кроме тканевых отрезов и одежды, в нем не нашлось. Развязала тюк. Ковер да текемет — приданое для Балжан, сама Жайбаскан его собирала. Золота и серебра, потребного милиционерам, не оказалось и там. Нераскрытым остался железный сундучок, убранный белой кошмой.

— А этот сундук почему не открываете? — спросил Сур Жекей, шевельнув тараканьими усами и вытягивая трубочкой губы.

— Ой, это невесткин сундук, ключа у меня нет! — сказала Жайбаскан.

— Невестка где?

— На работе. Тентексай перегораживают.

— Давай ее сюда! — велел Сур Жекей Козбагару.

Козбагар ринулся к порогу, да тут дверь открылась, и показалась заметно отяжелевшая Хансулу. Она задержалась на пороге, пораженная беспорядком в доме.

— Вот и сама пришла! — взволнованно проговорила Жайбаскан. — Открой-ка, милая, сундук! Вот, домогаются!

Хансулу, сделав два шага, остановилась. Не поймет еще ничего.

— Ключ дай от сундука! — рассердился Шеге.

Только тогда Хансулу пришла в себя. Перекинув движением плеча одну косу на грудь, потянулась к шолпам на ее конце, отвязала ключ, дала свекрови. Та никак не могла попасть ключом в замочную скважину.

— Да чтоб тебя пес съел! — ворчала она и стучала по сундуку кулаком. — Смотрите, коли надо вам! — бросила она, отходя.

— Давай смотри! — приказал Сур Жекей Козбагару, который, чувствуется, не очень хотел этим заниматься.

Покраснел бедняга, неловко ему копаться в женских вещах. Но приказ есть приказ. Начал кидать на кошму летние наряды Хансулу, платья, бешметы, камзолы, следом и нижнее белье пошло. Сур Жекей, дымя махоркой, сидел на тюке, не сводил глаз с сундука. Последним Козбагар извлек со дна небольшой позолоченный ларец.

— Не тронь! — вскрикнула Хансулу.

Тут-то и встал, вытянувшись во весь свой рост, Сур Жекей. Самокрутка — в углу рта.

— Давай сюда! — велел он.

Взял ларец. Попробовал на вес.

— Хм... Где ключ? — спросил он, и тараканьи усы его дрогнули.

— Нету ключа от него! Зачем он вам? — вскричала Хансулу

Сур Жекей поднес ларец к уху, потряс им. В чем-то, видать, убедился, подняв ларец над головой, бросил его с силой оземь.

— Ах! — вскрикнула Хансулу, закрывая лицо.

Мать Сырга при откочевке оставила ей ларец, наказав: «Сохрани. Неизвестно, что впереди будет. Пригодится, если тяжело придется. Никому не показывай». Она и не показывала никому, даже Шеге. А хранились в том ларце драгоценные камни, ювелирные украшения из золота и серебра.

Сундучок разлетелся вдребезги. Рассыпались по кошме ожерелья и колье с дорогими каменьями, золотые и серебряные браслеты, кольца, бусы, перстни, серебряные монеты с изображением царя Николая II. Сур Жекей, попыхивая самокруткой, присел. Поднял тяжелый золотой браслет, взвесил на ладони. Покачал головой.

— Коммунист еще, — фыркнул он.

— Он не виноват, ага! — вскричала в отчаянии Хансулу и, присев, закрыла лицо ладонями. — Он не знал. Я... Я...

Козбагар по распоряжению начальника собрал в кожаную сумку валявшиеся на кошме драгоценности.

Шеге будто языка лишился. Лица на нем нет.

— Каспаков! Пошли!.. — сказал Сур Жекей, все еще дымя махоркой.

Шеге сменил рубашку. Надел драповый пиджак, который купил, когда стал председателем. Мать засуетилась, айрану, дескать, попей, но не до айрана ему. Положил

документы в карман и пошел из дому. Не проронив ни слова, сел, угрюмый, в бричку к милиционерам.

Мать выскочила следом, сунула ему за пазуху что-то обернутое в полотенце: хлеб.

— Чу! — тронул вожжи Козбагар.

Жеребцы, нетерпеливо грызшие удила, сорвались с места. Старики и дети «Жана жола» наблюдали за тем, что происходит. Даже там, на Тентексае, приостановили работу. К аулу бежал бедняга Шарип, что-то крича на ходу. Одна Жайбаскан и слышала, что он кричал. А милиционеров, которых уносили резвые кони, это не интересовало. Как вихрь мчались кони.

— О боже! Что мы тебе сделали? — запричитала Жайбаскан. Не знала женщина, что за золото, обнаруживаемое в тайниках, многие тогда поплатились головой. Такое было время...

Так нежданно-негаданно занялся пламенем семейный очаг Шарипа.

5

Шеге и милиционеры достигли районного центра в послеобеденное время. Предрайисполкома Гринин дождался Шеге в своем кабинете.

— Ну, как это понимать? — спросил Афанасий Васильевич сразу, кладя перед ним на стол лист бумаги, исписанный латинскими буквами.

Шеге взял лист. «Заявление», — значилось на нем. Письмо адресовалось Калашникову.

— Читай! Читай! — сказал Афанасий Васильевич, вставая. Принялся скручивать цигарку.

Кто бы ни писал заявление, но Шеге он знал хорошо. Писака заходил издалека, аж с момента его женитьбы на Хансулу. Из-за неопределенности классового мировоззрения, из-за мягкотелости, писалось в заявлении, женился он, то есть Шеге, на дочери кулака Пахраддина, прямого врага Советской власти; так стал родичем «боржою», так стал родичем Булышу, раскрывшему в последнее время свое классовое лицо. Все знают, что он бандит, убедились при конфискации имущества бая Мажана. Намекалось также на родственные связи Булыша с Пахраддином. Первая, покойная, жена Булыша и в самом деле приходилась дальней родственницей Пахраддину. Далее говорилось: «Волк

Шеге, обрядившийся в овечью шкуру, и нынче зимой позволил бандиту Булышу ограбить скотоводов на зимовье. Сам, своими руками положил на седло бандита мешок зерна... В 1928 году во время конфискации Пахраддин не сдал государству имеющееся у него золото и серебро. Ходят слухи, что он отдал драгоценности на хранение Шеге, своему зятю. Товарищ районный секретарь! Наступило время, когда вот таких леваков типа Каспакова, которые, как было указано выше, лизались с нашими классовыми врагами и свернули с пути партии на путь Тротского[1], следует изобличать!» Подпись: «Группа активистов из бедняков».

Шеге, прочитав письмо, поднял голову. Посмотрел на Афанасия Васильевича.

— Кто это написал? — спросил тот, оборачиваясь к нему.

— Курен... Курен, возможно, — сказал Шеге.

— И я так думаю,

— Но почерк не его, Афанасий Васильевич!

Тот только рукой махнул.

— Писаки найдутся! Ты лучше подумай, какой ответ будешь держать на бюро. Один из рассматриваемых вопросов — твой. Подумай, хорошо? — С этими словами он ушел с заявлением.

Шеге уставился в спину согбенному худому Апанасу.

Не понимал ничего, так был ошарашен.

— Я вернусь. Я только к Семену Харитоновичу загляну! — сказал тот, приостанавливаясь на пороге.

В голову ничего не шло. Одно знает — честен он, чист. «Левак», «боржойские наклонности»... Клевета.

— Пошли! — сказал через некоторое время Афанасий Васильевич, открывая дверь. — Говори обоснованно, слышишь! Соберись с мыслями!

Перед кабинетом Калашникова Шеге опередили несколько человек. Из его знакомых — секретарь райкома комсомола, тощая смуглая Нурила, районный прокурор Суранышев и Сур Жекей. Остальных он не знал. Дверь закрылась перед самым его носом.

Сур Жекей, высунувшись, позвал:

— Проходи!

Люди за длинным столом заинтересованно оглядели его. Были и откровенно враждебные взгляды. Калашников,

---

[1] Тротский — искаж от «Троцкий».

восседавший под портретом Сталина, задержал на Шеге усталый взгляд. Ручкой показал на стул у стены: «Присаживайся!»

Шеге сел. Смял на коленях шапку.

— Читайте! — попросил Калашников Нурилу, передавая ей заявление.

Нурила, вскочив, звонко зачитала его. «Наступило время, когда леваков типа Каспакова следует изобличать!» — закончила она.

В просторном кабинете повисла тяжелая тишина. Калашников кивнул Сур Жекею:

— Ну-ка!

Сур Жекей положил на стол газетный сверток, развернул его. Щеки Шеге вспыхнули. Золотые и серебряные украшения ослепили всех.

— Это анонимка, — сказал Калашников, показывая письмо, — а это факт!

Шеге, слабый в русском, не все понимал из того, что говорил Калашников. Но тон и жестикуляция секретаря подсказывали: не щадит он его. Глаза Калашникова под густыми бровями впились в Шеге. Он похолодел, сжался от страха.

— Встань, — сказала Нурила, переводя слова секретаря.

Шеге встал.

— Семен Харитонович спрашивает, что ты думаешь по поводу этого заявления?

Шеге не ожидал, что ему так быстро дадут слово. Посмотрел в окно. Туманный день был за окном. Близился вечер. Хансулу, поди, вот так же в окошко смотрит, поджидая его...

— Все в письме ложь! — сказал он. — И написали его не активисты-бедняки. Его написал человек, прикрывающийся именем активистов. Булыша, говорят, защищал. Если я его защищал, так тогда, когда он не был бандитом, не хотел я, чтобы он вставал на ошибочный путь. Ну а про мешок зерна, который я ему якобы отдал, — это верно. Но на деле все было иначе. Я в свое время докладывал об этом Афанасию Васильевичу.

— Да-да, докладывал! — подтвердил предрайисполкома.

Шеге продолжил:

— Булыш с ружьем пришел, а до этого нашу единственную винтовку, которая на стене висела, забрал. Как

противиться вооруженному человеку? Вот и вынуждены были отдать мешок.

— А что свояк ты Булышу — это неправда? — спросил Суранышев. У него тонкий бабий голос.

— Был бы свояк, если бы та его жена не умерла... Давно, еще до того, как я женился, — сказал Шеге, внимательно вглядываясь в красный затылок отвернувшегося от него Суранышева. «Ах ты, собачий сын, дать бы тебе по затылку!» — подумал он зло.

— И что кулацкую дочь в жены взял — тоже неправда? — как комар прозвенел Суранышев, все так же демонстрируя ему свой красный затылок.

— Правда, — буркнул Шеге.

Нурила слово в слово переводила диалог Суранышева и Шеге.

— Что же это тогда, как не лизание с нашим классовым врагом?

— Извините! — прервал Суранышева Афанасий Васильевич. — Разрешите? — он поглядел на Калашникова.

Тот жестом попросил его помолчать.

— Я никому ничего не лизал! — вскричал Шеге. — Взял кулацкую дочь. Верно. Но с кулаком из-за этого не лизался. Не клевещите!

— Эй, а что ты кричишь? Ты на кого голос поднимаешь? Ты на кого голос поднимаешь одурачить? — взвизгнул Суранышев, наконец-то поворачиваясь к нему. — А это золото и серебро в твоем доме ведь нашли! Или, скажешь, и это неправда?

— Вот-вот, — подхватил Калашников, заскрипев стулом. — Что скажешь? Это уже факт, товарищ Каспаков!

Здесь Шеге и потерялся. Он решил, что теперь-то уж никто ему не поверит, что он ни скажи. Тихо, едва слышно, он пробормотал:

— Про все эти вещи я, ей-богу, ничего не знал. И не видел даже. Сегодня только увидел... вместе с милицией. Жена, оказывается, скрывала...

Суранышев усмехнулся, покачал головой.

Калашников посмотрел на предисполкома Гринина:

— Пожалуйста!

Афанасий Васильевич с готовностью встал.

— Семен Харитонович! Дорогие товарищи! — начал он, сочувственно поглядывая на Шеге. Он говорил по-русски.

Шеге, хоть и не все понимал, но предполагал, о чем может вести речь Апанас. Да, знаю Шеге, говорит, в прошлом году в стычке с бандитами как настоящий воин себя проявил, бесстрашный, находчивый, предан Советской власти...

— Афанасий Васильевич! — это опять Калашников. — Мы про это знаем. Вы лучше скажите...

И — непонятно опять, о чем Калашников говорит. Нурила, будь она неладна, тоже умолкла, не переводит. Но Шеге чувствует, напор Калашникова. Гринин сбился с первоначального тона. Смотрит на дорогие украшения на столе и не знает, по-видимому, что по их поводу сказать. Обидно Шеге за доброго Апанаса, ринувшегося ради него в бой, но терпящего — опять же из-за него! — поражение. Обидно и за себя, что не понимает более половины произносимых здесь слов.

Калашников остановил Апанаса:

— Я вас понимаю. Это ваш кадр. Это вы дали ему рекомендацию в партию. Вы обязаны его защищать. Но, товарищи! — и секретарь встал.

Он высокий. Говорит горячо, темпераментно. Перечеркивает, похоже, что тут до него говорили. Даже Апанас, олицетворение могущества в глазах Шеге, поблек рядом с секретарем. Все, разинув рот, слушают Калашникова, глотают каждое его слово, согласно кивают.

— Где наша партийная принципиальность, товарищи?! — взревел какой-то момент Калашников, потрясая кулаком и останавливаясь рядом с Афанасием Васильевичем.

Тот зашевелился, прокашливаясь, но Калашников поднял руку: помолчи, мол. Потоптавшись на месте, Семен Харитонович так же азартно продолжал:

— Товарищи! Вы прекрасно знаете, что по всей стране идет чистка партии от таких вот сорняков, — показал рукой на Шеге. — Хорошо, что он у нас пока кандидат. Иначе бы, дорогой Афанасий Васильевич... — и снова поток слов, недоступных Шеге.

Слово «опозорил» Шеге услышал. Не по себе ему стало.

Заговорил Суранышев. Частит на ломаном русском:

— ...совершенно согласен с вами, Семен Харитонович! У нас пережитки много. Много вот таких! — показал на Шеге. — Когда он был комсомольца... на кулацкую дочь женил-

ся! Активист называется. Какая он активист? Гнать надо таких политишески неграмотных из наших рядов!

— Ваше предложение?

— Исключить из кандидатов в партию! От работы освободить!

— А вы что скажете? — Калашников повернулся к Нуриле.

— Согласна! Исключить! — заявила она, вставая. — Он не оправдал нашего доверия!

До Шеге наконец-то дошло, что решается вопрос о возможности его пребывания в партии. Все, кто выступали, предлагали исключить его из кандидатов в партию.

— Тогда, товарищи, — сказал Калашников, — переходим к голосованию. Большинство членов бюро вносят предложение исключить товарища Каспакова из кандидатов в члены партии. Кто за это предложение? Прошу поднять руки! — и сам первым проголосовал.

Его примеру последовали и остальные, кроме Афанасия Васильевича Гринина.

— Предложение принято. Товарищ Каспаков, вы свободны. Вашим делом теперь следственные органы займутся.

Шеге, услышав свою фамилию, встал. Не понял последних слов Калашникова. Сухая Нурила с готовностью объяснила:

— Из партии тебя исключили, от работы освободили. Теперь твое дело в следственные органы передают, там и решат, какой ты перед законом чистый...

Во весь рост возвышался Шеге перед ними и мял в руках шапку, пот катился с обветренных загорелых висков. В какое-то мгновение он оказался у двери. Снова до него донесся пронзительный голос Нурилы, до того пронзительный, что даже Сур Жекей, который шел за ним, остановился.

— Карточку оставь, Каспаков! Карточку!

«Какую карточку?» — подумал он. Вспомнил про партбилет. Вон какая карточка... Полез в нагрудный карман, документы извлек, их Хансулу увязала в ситцевый платочек. Крохотный красный билет отыскал, подошел к столу, не знает, кому отдать. Нурила протянула руку. Шеге стоял до тех пор, пока билет из рук Нурилы не дошел до рук Калашникова. Сам не знал, зачем стоял.

— Пошли! — буркнул с порога Сур Жекей.

Его голос вернул Шеге к действительности. Пошел по коридору впереди милиционера. Бухает в тяжеленных сапогах. Вот что значит «арыстыбай». Арестовали, получается, Шеге, как когда-то Азбергена. Когда того вот так уводили, они всем аулом глядели вслед...

На улице Шеге молил судьбу, чтобы не встретился никто из знакомых. Сур Жекей знай распоряжения отдает — туда... сюда... Они идут по единственной улице поселка. Отделение милиции, или «милисахана», как его здесь называли, — на краю улицы; туда, видно, и вели его. В воздухе пахнет ранней весной, склоны оврагов и холмов потемнели, а на берегу Жем пробилась зелень. Откуда-то наплывает ласковый ветерок. Солнце, багряно-красное, скрывается впереди за отвесом — закатный час.

Вот и старухин дом, тот самый, где они с Хансулу, квартировали в прошлом году. Знакомый сарай. Осевшая глинобитная мазанка. Защемило сердце. Что ни говори, прекрасные были дни! День ссорились, день мирились — это тоже оказывается, прекрасно!..

«Милисахана» представляла из себя длинный, с жестяной крышей барак. Там Сур Жекей сдал «арыстыбая» Козбагару. Тот, бедняга, не отводит глаз от Шеге, чувствует себя крайне неуютно. Со связкой ключей пошел вдоль барака, велел Шеге следовать за ним.

— До суда тут подержат, — сказал он, давая понять что ему не совсем приятно выступать в такой роли.

С детства они росли вместе — Козбагар и Шеге. Козбагар и сейчас недотепа. Хоть и милиционер. Не изменился ничуть. Не смеет поднять на Шеге глаз. Как и в детстве. Что уж об остальном говорить, если Козбагар остался Козбагаром даже тогда, когда от него невеста Хансулу сбежала и стала женой Шеге?! Так уж получилось, с малых лет Козбагар любил Шеге, ценя в нем прямоту, честность, смелость. И Шеге знал, что Козбагар незлобив и простодушен. Потому понимал его смущение сейчас, когда тому приходилось обращаться с ним как с «арыстыбаем».

— Следователь — знакомый парень... Попробую поговорить, — пообещал Козбагар.

Шеге ничего не сказал. Но почувствовал в ту секунду, насколько он жалок в своей положении, если уж даже Козбагар ему сочувствует. Тяжелые железные двери на другом конце барака Козбагар открыл двумя ключами. В нос

ударило холодом. Полутемки, сено на полу. Силуэты лежавших вповалку людей.

— Вот здесь и побудешь, — сказал Козбагар стесненно.

— Да ладно, — бросил Шеге и шагнул через порог.

Справа — единственное окошко. И то зарешеченное. Козбагар закрыл за ним поскрипывающие железные двери. Будто в подземелье очутился Шеге. Глухая тишина придавила его.

В углу начали подниматься какие-то типы, видать, спали. Разглядывают без стеснения. Жутко Шеге. Стал высматривать себе местечко на ковыльной перине. Перед окошком нашел — плюхнулся обессиленно, успокоился. Пускай теперь смотрят, ему все равно. Надо отдохнуть, с духом собраться. Откинулся спиной к стенке, вздохнул, закрыл глаза.

Соломенный настил хрустнул.

— Ой! — вскрикнул некто широколицый и черный опускаясь перед ним на корточки. Смеется, глазки при этом закрылись. Бухарбай! Бывший милиционер, потом уполномоченный. Хлопнул его по плечу широченной ладонью.

— Шеге! Табарыш Каспаков! Какими судьбами, а?

Шеге усмехнулся:

— А какими судьбами тут объявляются?

— Перегиб?

— Нет. Лизание.

— А-а, кулацкую дочь взял и прочее-прочее...

— Да-да. Угадал.

Бухарбай опять его по плечу шарахнул, расхохотался, явно чем-то удовлетворенный, жирное тело затряслось всеми складками. Стеганка на голое тело надета, вислое брюхо виднеется.

— Не робей, — произнес он, переставая смеяться. — Все джигит испытать должен. Будь они прокляты, и меня три дня назад сюда упрятали. Перегиб, говорят... Пустомели, я тебе скажу, наше начальство. Сами не ведают, что творят. То план давай — сто прасент. Сам Калашников глотку драл. Поскакали мы. Приказ есть приказ. Дали план. Потом, говорят, каллектеп — сто прасент. Народ что? Политику понимает? Нужен ему каллектеп! Побежал. Кто в Иран, кто в Ауганистан, кто к каракалпакам. Кто потом бинауат? Бухарбай опять бинауат. От кебенемат!

Бухарбай от злости разворошил под собой солому, не сидится ему на месте.

— Жаловаться буду! Туда жаловаться буду! — вскочив, ткнул пальцем вверх.

Слышал Шеге про одну историю с Бухарбаем, которая с ним в одном из аулов в Донызтау случилась, осрамился, говорят, он там. Напившись, полез средь бела дня к чьей-то молоденькой жене. А в ауле этом из рода адай разве пожалеют развратника? Избили, испинали, говорят, до полусмерти и, задом наперед на конский круп посадив, восвояси отправили. По степным канонам возвращаться на конском крупе да еще задом наперед — позорнейший для джигита удел. Аул, говорят, после таких нечистоплотных притязаний «государственного человека» с места в один день снялся, исчез в туркменских песках...

Что-то еще говорил Бухарбай, а потом умолк и сделал знак Шеге, кивнув на окошко:

— Отец твой!

Шеге повернулся к окну, а там и впрямь — отец. Малахай как попало нахлобучен на голову. Всматривается в барачную темноту. Пока Шеге встал, убежал куда-то.

Козбагар открыл дверь. Вывел Шеге на свидание с отцом. Вечерняя мгла сгустилась, но Шарип увидел, как осунулся за день сын. Бросился к нему, прижал к себе, сердце в груди таяло от жалости к родному чаду. Крупные капли сорвались с ресниц. Не смог он сразу ничего сказать. Отвернулся.

— Пошли! — молвил он и потащил сына в уединенный угол. — Слышал я все от Апанаса, — сказал он, когда они остались одни. — Хотел по горячке к Калашникову сунуться, да Апанас не пустил, испортишь дело, говорит. Обещал все сделать, что может. Не бойся, говорит.

— Следствие будет. Суд решит, — пояснил Шеге.

Отец долго молчал, уставившись в землю. Потом поднял голову, смял в руках козлиную бородку.

— Ым-м... — замычал он. — Деньги, деньги нужны. Следователь, говоришь, судья, говоришь, они — люди... с потрохами... со всем. Глотку им надо залить.

— Зачем?! — вскипел Шеге, сверкая глазами. — Не смей. Пусть сначала расследуют. Посмотрим.

Шарип, отступив назад, уставился на сына.

— Ты в уме, сынок?! — Он затрясся от злости. — Что мне теперь делать... не учи. Понял? Не учи!

Шеге в эту минуту показалось почему-то, что отец и в самом деле опытный в подобных делах человек, что найдет он заковыку, за которую можно будет зацепиться... Шарип не стал медлить, сел на крикуна-верблюда и понесся вперед не оглядываясь.

6

Началось расследование по делу Шеге. Следователь дважды побывал в «Жана жоле», записал все, что узнал, что услышал. И Шарип не сидел сложа руки. Последние два месяца проводил время в дороге между «Жана жолом» и Наркамысом. Всю скотину, считай, на дворе, за исключением крикуна-верблюда, продал. Каждого, кто называл себя начальником и мало-мальски тепло его принимал, он, на худой конец, одаряя барашком, приговаривая: «Вот вам, милые, от меня, не сидите без мяса. Пусть господь бог облегчит участь моего сына». Даже Сур Жекею, который не был к нему расположен, в его отсутствие завез домой две части конины, остаток от зимнего забоя. Вислогубый Жекей стал его замечать и здороваться за руку.

Помогал и Козбагар. Небольшая, может быть, услуга с его стороны, но все же... Как бы ни любил он Хансулу, никогда не допускал и мысли, что ровня ей. Он даже закономерность некоторую усматривал в том, что судьба в конце концов их не соединила. Слава богу, избавила она раба божьего Козбагара от мук! Стоит ему про ту уединенную с Хансулу ночку в юрте-отау вспомнить, про первую их брачную ночь, о-о... До сих пор волосы дыбом встают. Надо же, торчал в темноте у порога собственной жены, не в силах двух слов связать. А что было бы, если бы Хансулу не убежала и, став ему женой, каждый день, как говорится, обе его ноги в один сапог вталкивала? Не-ет. Пронесло беду. Своенравная Хансулу — это уж точно! — в ишака бы его превратила и всю жизнь каблучками по бокам подгоняла бы. Как подумает про это, так тысячу раз готов благодарить судьбу за то, что уберегла она его от красавицы. Но сердце, что с ним поделаешь, разве оно понимает? Каждый раз, как видит он гнущуюся тростиночкой Хансулу у порога Шеге, воет, воет оно, как пес, которого покинули на становище. Потому-то и в аул старается ездить реже, больше в районе крутится, ссылаясь на службу. Но, бог свидетель, и

крупицы зла не замышлял он никогда ни против Хансулу, осрамившей его перед всем миром, ни против Шеге, своего соперника. Все зло, которое, бывает, в нем просыпается, — это то, что не хочется ему видеть их вместе. А увидит — великая тоска нападает; кажется ему, что нет на белом свете его ущербнее. Острый, как лезвие ножа, Шеге и гибкая, как соломинка, Хансулу смотрятся, что ни говори, как солнце и луна. Счастливы оба, он это видит... И вот — дело на Шеге. Наполнились слезами глаза Хансулу. Упал шанырак счастливого дома, на который засматривался Козбагар.

Лукавая мыслишка нет-нет да и поднимала в нем голову: «Это твоя обида, Козбагар, покарала их. Не вздумай им помогать, пусть летят в тартарары, пусть пропадут!» Но нечто, более действенное и могущественное, вскипало в нем тут же, никак не позволяя ступить на тот лукавый путь. Сур Жекей, вытянув губы трубочкой, сказал ему на днях: «Не знаю, кто тебе Шеге, брат или приятель, но предупреди! Пусть куда хочет свою красотку девает, но чтобы ноги ее тут не было, пока суд да дело, понял?» Сур Жекей никогда зря ничего не скажет.

И без того худой Шеге совсем отощал, считай, остались живые мощи. Сообщение Козбагара он выслушал молча, потом нахмурился:

— Знал я, что так будет, — и, подумав, добавил: — Отец должен быть...

Отец приехал до захода солнца. Верблюд ревел, мотал головой, пока Шарип привязывал его к стволу торангыла. Последнее время он его оставлял у глухой старухи, у которой Шеге и Хансулу квартировали, а сам отправлялся к бараку пешком. Сегодня, похоже, его приезд вызван чрезвычайными обстоятельствами. Шарип даже старуху миновал. Шеге сгорал от нетерпения. Он слышал голос отца: они шли с Козбагаром. Широко раскрылась тяжеленная дверь. Видит Шеге: рыжие отцовские усы лихо расправлены, в глазах — радость. Шеге шагнул к нему через порог. Тот, не в меру суетясь, взял его руку, поднес к губам, поцеловал.

— Сюинши! — смеясь, потребовал он подарка за радостную весть. — Родила сношенька. Тугелбек на свет появился, черт его побери, вот какое у нас прибавленьице! Вчера родила...

Кровь ударила в щеки Шеге, ясная улыбка озарила лицо.

— В честь того, чтобы все мы снова были вместе... все... Тугелбеком назвали. Нравом в материн, что ли, род пошел, не знаю, но уж больно из себя тако-ой, — и Шарип, изобразив руками нечто неопределенное, опять рассмеялся.

Пришлось Шеге, несмотря на радость, рассказать про то, что услышал угрозы в адрес Хансулу. Веселье Шарипа как рукой сняло. Смял в руке козлиную бородку, задумался.

— Коке! — обратился Шеге решительно. — Отвези Хансулу к родителям. Другого выхода нет.

— Но ведь суд завтра... что же я...

— Нет, коке, — возразил Шеге, — возвращайся! А здесь... что будет, то будет...

И Шарип нехотя поскакал обратно в аул. Не жалел животное, хлестал камчой пуще обычного. Бедный верблюд, весь мокрый от пота, примчался домой еще до рассвета. Рано пробудившиеся женщины, доившие верблюдиц, редкие единоличники-старики, выгонявшие на пастбище скотину, повернули головы к Шарипу, возвратившемуся так рано. Ну-ну, злорадствуйте, злорадствуйте, думал Шарип. Мол, сам был начальником, потом сынок... А теперь покрутись, покрутись... Не вечно же царствовать... Ну, теперь грызите, рвите на части. Ушла от Шарипа удача, ушла... Не зря он тогда сна испугался. Жуткий был сон. В белой просторной юрте, которой у них отродясь не было, они с Жайбаскан пьют чай. Тишь, благодать. И вдруг — вихрь! Раскачал он юрту. Рухнула она. Шанырак, круглый как колесо, покатился в степь. Шарип — за ним. Бежит-бежит, не может нагнать... Дурной, право, сон! И время скользкое. Переменчив его ветер: то слева задует, то справа. Ойхой, такое уж нынче житье-бытье!..

Пока Шарип привязывал верблюда к столбу, из дома вышла Жайбаскан. Глянув на старика, сразу поняла — с недобрыми он вестями.

— Раненько ты, — произнесла она осторожно.

— Иди-ка сюда! — позвал он ее, уходя в глубь двора, за юрту, которая стояла рядом с землянкой. — Дело такое, — начал он. — Суд у него сегодня. Но он заставил меня уехать. Сур Жекей через Козбагара передал, чтобы он поскорее убрал куда-нибудь свою жену, пока эта история забудется. Ей тоже, получается, беда грозит: кулацкая, мол, дочь,

золото отцовское припрятала. Сын требует, чтобы я ее к родителям свез.

— Бог мой, да как же она с новорожденным-то? Собачья даль...

— Что делать? Нас с тобой не спрашивают, — Шарип, нахмурившись, посмотрел на не менее хмурое небо.

Из дома послышался плач: «Нга-нга!»

— Давай-давай! Предупреди ее! — поторопил Шарип.

Хансулу кормила малыша. Подняла голову, когда вошла свекровь.

— Ата приехал, да? — спросила она.

— Ата, да, — ответила Жайбаскан спокойна и, ступая осторожно, почти на цыпочках, приблизилась к колыбели, опустилась на колени.

Хансулу почуяла недоброе. Ее сердечко, привыкшее уже к ударам судьбы, боязливо сжалось. Робко глянула на свекровь.

— Келин, — произнесла Жайбаскан.

От испуга у Хансулу, видимо, перестало течь молоко, малыш закряхтел.

— У Шеге сегодня суд. Но он отослал отца обратно. Велел тебя к родителям доставить.

— Меня? Зачем? — удивилась Хансулу.

— Наберись терпения, милая, сам начальник-милиса, говорят, передал это Шеге. Могут, говорят, тебя к ответу призвать. Ата в ужасе...

Хансулу побледнела. Замолчала.

— Ата просит, чтобы ты собиралась, детка, отвезу, говорит, — у Жайбаскан задрожал подбородок. Отвернулась, утирая слезы. — Чем-то мы провинились перед богом?!

— Никуда я не поеду! — отрезала Хансулу сердито. — Подумаешь, в тюрьму упрячут! Пока с Шеге не увижусь, никуда не поеду!

Крупная Жайбаскан, опершись рукой об пол, встала, пошла к двери. Шарип, услышав ответ снохи, вскипел:

— Да как она с ним встретится, когда там милисы тьма-тьмущая! Нет, ты ей объясни, там мы на глаза попадем. Раз говорят не показываться, значит, и не надо показываться!

Жайбаскан снова вернулась к снохе, опершись рукой об пол, присела рядом. Передала слова мужа. У Хансулу ответ готов:

— А если ночью поехать, кто увидит? Если начальник милисы сам предупреждает, то не будет, наверное, мешать. Я только переговорю чуть-чуть, и все!

После такого ответа Жайбаскан и сама насела на Шарипа:

— Вези! Она права. Хочет, наверное, чтобы Шеге малыша увидел, мало ли что может быть... Вези! Да сохрани вас аллах!..

Шарип не стал спорить со старухой. Молча сжал в кулаке бороду — обдумывал решение невестки.

— Ночью опять Курен был с каким-то представителем, — сказала Жайбаскан. — Еще четыре пуда зерна требуют.

— Четыре пуда? Какие еще четыре пуда? Изничтожить, что ли, хотят?

Поперхнувшись, Шарип закашлялся.

7

Вечерний мрак скрыл горизонт. Лишь на западной окраине неба — отсвет недавнего зарева, и то угасающий. На небе замигали первые редкие звезды. Пользуясь темнотой, путники пересекают Жем — кто на лошади, кто на верблюде. Въезжают в поблескивающий огнями поселок на песчаном взгорье. Остановились у домика глухой старушки: Шарип, Хансулу с младенцем и Балжан. Привязав животных, отправились к бараку, где находился Шеге. Молча, торопливо идут.

— О, духи предков, благословите и защитите! — прошептывает по пути часто-часто семенящий Шарип.

Они долго шли темной улицей, которая пересекает поселок прямо по центру, и, когда приблизились к большому, барачного типа строению, Шарип приостановился. Огляделся.

— Всё, — прошептал он чуть слышно.

Глаза Хансулу наполнились слезами. Будто она Шеге увидела, как услышала это «всё», будто воздух кругом его запахом пропитался — так остро ощутила она его присутствие.

— Никуда не двигайтесь отсюда! — Указал Шарип и торопливо засеменил вдоль барака.

Когда они остались одни, Балжан начала поучать Хансулу:

— Не плачь, а то и он расстроится, увидев твои слезы. Ему и так тяжело.

Взяла у нее ребенка.

Послышался шорох шагов. К ним приближались двое, огибая барак. Один — ее ата, второй — великан какой-то. «Милиса»?! Великан оказался Козбагаром.

— Приветствую всех! — сказал он, не глядя ни на кого, но обращаясь, по-видимому, к Хансулу и Балжан. А Шарипу сказал: — Сейчас приведу! — и ушел.

Шарип, прокашлявшись, подошел к ним, что-то, видно, хотел сказать, да не решился.

— Коке, брата освободят? — спросила Балжан.

Шарип мял в руках бороденку,

— Детки мои, будем крепиться...

Голос его задрожал.

— Два года ему дали... Молитесь, чтобы живой и здоровый теперь был...

Балжан, вскрикнув, прижалась лицом к младенцу. Хансулу, покачнувшись, оцепенела на месте. А Шарип все мял, мял бороденку.

Ночь вокруг. В темноте появились два силуэта. Балжан, передав малыша отцу, бросилась навстречу длинному, что шел впереди, обняла его, беззвучно оросила слезами толстую телогрейку.

— Не надо, Балжан, — попросил Шеге погрустнев.

— Дочь, брось! — одернул ее Шарип. — Судьба, значит. Ты лучше поддержи, пусть брат крепится!

И давай укачивать на руках младенца, который и без того не плакал.

Балжан, всхлипнув, вытерла кончиком платка глаза.

— Вот такие наши дела, — сказал Шеге так, чтобы слышали все, но его внимание приковано к Хансулу, стоявшей поодаль. Он чувствовал ее взгляд. Не решилась, бедняжка, ни подойти к нему, ни хотя бы слово вымолвить. Как же это можно при свекре-то?!

Шеге захотел взглянуть на первенца, и тогда Шарип, Козбагар, Балжан, вручив ему младенца, отошли в сторону, оставив супругов наедине. Шеге присел на корточки, всмотрелся в личико запеленатому существу, улыбнулся.

Хансулу, вздохнув, тоже присела, положила руку ему на плечо.

— Ишь, засоня, едва глаза продрал, — усмехнулся Шеге. Поблескивающие глазки ребенка его умилили.

Припавшая к его плечу Хансулу задрожала всем телом. Понял Шеге — плачет она. Знал, что так будет, что Хансулу расстроится. Но что делать? Вгляделся потерянно в ночь. Нужные слова ушли. Приобнял левой рукой съежившуюся жену, сжал плечо — держись, мол.

— Из-за меня, из-за меня ты... — всхлипнула Хансулу приглушенно.

Он сжимал ей плечо и молчал.

— Сулу! — сказал он потом. — Поезжай к родителям, так будет лучше. Признал я, что те штучки сам спрятал. Иначе, подумал, тебя к ответу призовут.

— Знала ведь я, что ты так сделаешь, — еще пуще залилась слезами Хансулу.

— Сулу! — У Шеге дрогнул голос. — Если ты думаешь обо мне, не плачь! Будь мужественна!

Хансулу утерла глаза. Подняла голову.

— Два года пролетят быстро, если живы будем.

— Учитель Андалы сказал, жаловаться будет, если тебя осудят. До Москвы, сказал, дойду.

Шеге промолчал. Не понял, с чего это учитель взялся за него ходатайствовать.

— Сестренку твою Балжан он заприметил. И дома уже знают. Два тоя сразу хотели, если бы тебя отпустили...

Шеге промолчал. И Балжан, стало быть, уже невеста?..

Те, что отошли, стали переговариваться. Понял Шеге — кончилось время. Улучив момент, чмокнул жену в висок.

— Прощай! Дай бог свидеться снова! — прошептал он.

Хансулу подалась было к нему, да опомнилась — к ним уже подошли.

— Шеге! Время! — буркнул Козбагар не глядя. Нестрого сказал, но он же «милиса».

Шеге стал прощаться, обнимаясь то с сестрой, то с отцом. У Балжан снова мокрые глаза. И у отца слезы текли по лицу, по бороде: не скрывая их, твердил без конца:

— Одному богу вверяю тебя!..

Лицо его кривилось в плаксивой гримасе. До угла дошли вместе. Дальше сопровождающим идти запрещалось. «Милиса» повел Шеге одного. Они скрылись за углом.

Балжан и Хансулу, обнявшись, разрыдались. Плакали тихо, не смея подать голоса.

Переночевали в доме глухой старухи. Спозаранок отправились в обратный путь.

...Наступило время суток, когда ночная тьма рассеивается и становится мало-мальски видимой окрестность. Обозначился степной горизонт, он зовет в путь. Старая караванная дорога. На западе подергивающегося желтизной неба сияет утренняя звезда. Трое путников — двое на верблюде, другой на коне — едут по степи, держась курса так; чтобы звезда была им по правое плечо. На верблюде — Хансулу. Прижав к груди запеленатое дитя, покачивается она в такт валкой верблюжьей поступи. Всматривается мерцающими в полутьме глазами в окружающий ее широкий мир, только пробуждающийся ото сна. Справа в сторону каменистого обрыва несутся вспугнутые антилопы. Взлетела, зашелестев крыльями, стая гусей, вновь опустилась — чуть в стороне от дороги, на траву. Раз-другой оглянулась Хансулу на Наркамыс, оставшийся позади. Захотелось увидеть Шеге... Глаза наполнились влагой. Обида на судьбу пролилась горючими слезами. Выплакалась вволю и почувствовала — стало легко. С надеждой поглядела на блистающую в небе утреннюю звезду. Стоит ли так убиваться? Ведь Шеге ее жив-здоров...

Впереди — дорога. Долгая дорога через великий Устюрт, которая потом выведет ее в Бескалу, к землям каракалпаков и туркмен. Так началось длинное, полное неожиданностей странствие оставшейся без Шеге, с ребенком на руках Хансулу по тем шатким годам.

В ПЕСКАХ

1

Луна изливается молочным светом. Спит схоронившийся в песках небольшой аул, его-то и ласкает ночное светило. Горами возвышаются на привязи верблюды. У стенок юрт разноцветными пятнами пестреют овцы и козы, они пофыркивают, покашливают. Вокруг беспорядочные нашлепки барханов, между ними, редкие островки белесого

ковыля. В низинах тенями скучились кусты тамариска, столетника, караганника. Ночной мир, купающийся в серебрящихся лунных лучах, полон таинственности, как некая сказочная планета. Тиха округа под волшебной чашей, неторопливо плывущей по небу. На всю эту удивительную по красоте и шири землю взирает с песчаного гребня человек, бодрствующий в ночи. Стоит он, возвышаясь на холме, как страж аула, захваченного сном, как страж бескрайней вселенной, погруженной в дрему. Этот человек, набросивший на могучие плечи шелковый чапан, — Пахраддин. Много дорог он прошел, перемещаясь ближе к каракалпакам. Тот, кто обжегся чаем, потом всегда дует на него, так и Пахраддин, обходя теперь города, подыскивал для пристанища укромный, скрытый от властей уголок.

Здешняя земля во многом отлична от равнинной казахской степи. Пески поросли тугаями, камышом, тамариском, джидой, встречаются и белесые солончаки. Попадаются барханы, как в Айту. Тугаи кишат дичью — кабанами, джейранами, шакалами. Подобно диким зверям, и людское отребье шастает — воры, бандиты, басмачи. Беженцам — из казахской степи в основном, из родов адай и табын, — от них покоя нет. Растут аулы в тугаях вокруг городов Коныpат, Ходжели, Коне. Число их множится день ото дня. У них с Пахраддином одна доля. Как и он, в пески хлынули люди, услышав, что в Бескале порядки не так круты. Аулы, часто менявшие становища в страхе, что их обнаружат, охотно пошли за Пахраддином — бий им внушал веру; перед самой зимой они обосновались в песках Айту. Хорошее это место для скотоводов. На базар — Коныpат рядом, полдня езды. Устюрт? На северо-запад иди — на плато и выйдешь. С юга — великие туркменские пески; какая беда — беги, растворяйся в них, не найти тебя там никому.

Кочевники, истосковавшиеся по прежней степной воле и надеявшиеся обрести ее на каракалпакской земле, и здесь, однако, столкнулись с настоятельными призывами вступать в колхозы. За последние два-три года, выплачивая тот или иной налог — а им не было конца, — аулы оскудели до нищеты, скотины во дворах не осталось. Баи, бедняки, середняки уравнялись, можно сказать, по достатку. Но ведь

кочевой народ живет скотом, скот — его одежда, пища, транспорт, по этой причине всякое посягательство на него казах издавна воспринимает как посягательство на свою жизнь.

Нашедшие укрытие в песках Айту степняки, а их тут около пятидесяти семей, встревожились: что же теперь делать? А весной из Коныpата нагрянула группа активистов, один представился агентом по заготовке, второй— членом аулсовета, третий — «милиса». Снова забрали «излишки» скота, заплатив за него по государственной цене. Операция называлась «Мясо».

Не успели люди опомниться, приехал кто-то и всех внес в список, сказав, что в скором времени аул будет преобразован в артель. Только уехал этот человек, женщины и раскудахтались: «Артели не видели? За ней, что ли, сюда ехали? Радость какая — кетменем махать да в земле копаться!» А некоторые упрямцы типа Кикымбая и заявили: «На аркане пусть тащат, а в артель не пойдем!» Пока аксакалы аула обдумывали положение, примчался на белом верблюде Лабак-ахун, объехавший в поисках земли для аула всю Амударью. Не встретив подходящей для скотоводов земли ни в Хорезме, ни у таджиков и туркмен, он в конце концов оказался в туркменских поселениях у афганской границы — и сюда люди после революции бежали.

Обыкновенные это были аулы: по-прежнему пасли скотину, вели нехитрое степное хозяйство. Ни афганскому правителю до поселенцев, ни переселенцам до правительства нет дела. Соседствовали они с кочевым афганским племенем пушту — скромный народ, чем-то напоминал тех же кочевых казахов и туркмен, мусульмане. Коран у них на устах, молятся исправно. Ахуна там приняли радушно... Когда старец рассказал про них землякам — а говорил он, как всегда, красиво, демонстрируя свой звонкий, напевный голос, — то у всех, кто его слушал, слюнки потекли. Каждый представил себе обетованный край, тихий, мирный, очаги во дворах, скотина на пастбище, о чем еще мечтать? Как сказочная страна Жер Уюк, которую легендарный Асан Кайгы весь свой век проискал. Многие поднялись воодушевленно: «Трогаемся! Откочевываем!» Но старики призадумались. Иным и до могилы недалеко, не могут они решиться уйти в край, далекий и чужой. Пахраддин — ум-

ный, образованный человек, бий в прошлом, у него открытые глаза, чуткое сердце, к нему обратили взоры люди — что скажет? Но и Пахраддин ничего не мог сказать, он сам слушал народ. Последние годы он занимался родословной кочевников, вот и ушел в свои записи слухом и зрением. Не до речей ему было. Из оставшегося далеко позади Ойматута заявились Хансулу с Шарипом, полмесяца в пути пробыли. О том, что Шеге арестован, Пахраддин слышал через степной узункулак, а вот о том, что у него появился внук, не знал. Не ведал ничего и о том, что Шеге на два года заключен в тюрьму. Но самой тяжелой новостью для него стало положение его дочери. Нет, ни в коем случае ни милиция, ни ГПУ никакого отношения к этой истории не имели. Ее возбудил Курен, эта гадюка ползучая, пригретая некогда Мажаном. Он. Только он. Сначала Пахраддина убрал, а потом и следы его понадобилось стереть. Не в такое ли неустойчивое время, как нынешнее, когда, как говорится, и ворон соколом смотрит, таким вот безбожникам-прохвостам и везет: альчиком вверх их асык падает? До разборов ли властям — кто прав, кто виноват? Некогда разобраться. Бурный поток времени устремлен вперед, он катится неудержимой лавиной. Обласканная солнцем и ветром Хансулу, его дочь, которую он растил как сына, в гордости и любви к себе, изменилась — сломила, укротила ее жизнь. Бедное дитя!

И все же Пахраддин воспрянул духом — жива Хансулу, его родная кровиночка! Тетради с родословной закинул в сундук, собрал на холме мужчин аула, позвал и Лабак-ахуна. Аул как-никак сборный, и народ в нем разномастный; люди, понятно, отовсюду, кто знает, как поведут себя завтра в случае, если придется с бедой встретиться? Вот и решил он их послушать, чтобы завтра уже никто, как говорится, за ворот не хватал. Из трех родов здесь люди — из алима, адая, табына. Всех он слушал с вниманием, никому не возражал, лишь кивал, кивал. После долгих разговоров большинство склонилось к мысли об откочевке; вел кочевье ахун, причем не по Амударье, а через туркменские пески напрямик, как раз к Афганистану и выводил такой маршрут.

Булыш вскрикнул:

— Пусть би-ага теперь выскажется!

— Послушаем би-ага!

Булыш с Балкией пришли в этот сборный аул в конце зимы. Здесь Булыш и встретился с матерью — Дау-апой.

Пахраддин не задержался с ответом.

— Что ж, — сказал он, обозревая собравшихся на холме мужчин, — принесем, как уж принято, на рассвете в жертву пути господнему бело-рыжую овцу!

— Ауминь! — благословил решение белобородый Лабак-ахун и провел ладонями по щекам.

— Ауминь! — гулко отозвалось по рядам. Люди так же прочертили ладонями лица.

Многодневные сборы наконец-то разрешились соглашением, устраивавшем всех, — наутро аул трогался с места. С тем люди и разошлись...

Пахраддин задержался на холме. Его бы воля, шагу бы не ступил он из родного края. Азберген Ираном соблазнял, Ермагамбет — Турцией, но Пахраддин не двинулся, с места, а теперь сам в Афганистан задумал. Вот она, жизнь! Жестокий удел. Судьба-плутовка! Плач Лабак-ахуна в ушах возник, слова знаменитого Аубакира:

Алатау и Туркестан
У истоков вод больших.
Город нижний — Аштархан[1],
Основал Аз-Жанибек.
Полумесяц золотой
Над воротами сиял,
Купол лит из серебра,
А порог, чтоб прочен был,
Отливали из свинца.
Из Ташкента лес везли,
А гранит — из Бухары.
Время крепость одолело.
Что мы значим для него?..

«Что мы значим для него?..» — повторил Пахраддин. Эхом отозвалась в сердце мелодия, которую пел ахун. Повлажневшими глазами обозрел Пахраддин бескрайний подлунный мир. Одиноко ему было. Точно почувствовав его

[1] Аштархан — Астрахань.

тоску, выскользнула из белой юрты Сырга. Как тень подпялась на холм. К нему идет... Не спала, выходит. О нем думала...

— Задержался ты, сокол мой, — произнесла она певуче и мягкими сторожкими шагами подошла к нему. Взглянула снизу вверх большими лучезарными глазами, улыбнулась, запахнула, поежившись, чапан. Припала к нему.

Он обнял ее за худенькие плечи, притянул к себе. Просторный, кажущийся пустынным мир стал вдруг обретать плоть, ночь на глазах обращалась в таинство. Не луна, а сердца двоих, что стояли на холме, излучали теперь молочный свет, в котором плыла-растворялась округа.

Сырга молча взяла Пахраддина под руку, повела к белой юрте; она, их юрта, как опрокинутая под луной большая пиала. Свет пробивается в юрту через щель скрипучей двери, через открытые решетки кереге у порога. От ночного ветерка, тихо наплывающего, едва заметно колышется сетка легкого, как пар, занавеса. И сегодняшнюю ночь Пахраддин и Сырга не сомкнули глаз.

— Уж если на дочь замахнулось правительство, считай, и нас не оставят в покое, — говорил Пахраддин. — И нам курук[1] на шею накинут.

— Откочуем, все не тюрьма. Разве что люди чужие, — согласилась с ним Сырга.

Расплакался ребенок. Хансулу проснулась. Склонилась над колыбелью, стала кормить сына.

— Сулужан! — подала голос Сырга, отгибая угол занавеса.

— Ау, апа!

— Ты слышала, откочевываем мы.

— В Афганистан? — вырвалось у Хансулу. — А я? Я как же? — В ее голосе отчаяние.

Отчего-то стало душно, точно пожар охватил дом.

— Успокойся, доченька! — откликнулась Сырга дрожащим от волнения голосом, соскользнула с постели.

Хансулу успела расплакаться, прислонившись головой к колыбели. Вскоре к ней присоединился и малыш:

— Нга-нга...

Тишины в юрте как не было.

---

[1] Курук — шест с петлей для отлова лошадей в табуне.

— Сулужан, да успокойся же! — Сырга обняла дочь за плечи.

— О создатель, — пробормотал Пахраддин, выходя из юрты.

Луна перекатилась на западную часть неба, светила меньше. Восток побледнел, чувствовалось приближение рассвета. Редкие старики с кумганами в руках сходят за аул и возвращаются. Кто-то стоял на холме. Лабак-ахун! В белой чалме. Рассвет, видно, встречает.

Послышался голос Сырги:

— Ну что теперь прикажешь делать? Что-о?.. — В ее голосе боль.

Пахраддин не выдержал. Подошел поближе, прокашлялся, прочищая горло.

— Эй!

«Эй!» относилось к жене.

— Как это — что прикажешь делать? Откочевывать надо! Откочевывать! Весь и сказ. Выждать надо, чем тут все закончится. Афганистан, конечно, не рай земной. Но улягутся времена — вернемся, даст бог. Уж в крайнем случае ее вернем!

Кто не прислушается к отцовскому слову? Женщины, кажется, успокоились, притихли.

Звонкий напевный голос Лабак-ахуна вознесся в высоту:

— Аш-шадан, ла, иллахул, ил-алла!.. Аш-шадан, ла-иллахул, ил-ал-ла-ау!..

Протяжный напев далеко разносится в чистом прозрачном воздухе. Когда на горизонт выкатилось солнце, кочевье, позванивая колокольцами, выползло из пади. Держа солнце по левую сторону пути, оно двинулось на юг. Впереди — мужчины, возглавляемые Лабак-ахуном и Пахраддином. На случай встречи с незнакомцами люди сговорились объяснять свой поход поиском пастбищ для скотины.

На спинах важно выступающих верблюдов белеют жалулыки старух. К бабушкам, как птенчики в гнезде, приткнулись дети, виднеются их головки. На первом верблюде-наре, вислогубом, с большой головой, едет Сырга-байбише туго-натуго подпоясалась красным кушаком. То и дело она склоняется к колыбели, в ней — малыш Хансулу. На следующем — Дау-апа, мать Булыша; и перед ней детская головка — это Едиге, внук от Балкии.

Балкия — рядом с Хансулу. Неразлучными стали женщины. Им есть о чем поговорить, судьбы-то схожи. Балкия старше Хансулу, но ведь она та Балкия, которой еще с детства за разбитной, веселый нрав Хансулу восторгалась! Восторг остался. Когда Балкия, порвав с прошлым, связывавшим ее с баем Мажаном, пошла безоглядно за джигитом из джигитов, разделив с ним все тяготы его трудной судьбы, Хансулу мысленно сравнивала ее с героинями легенд — с Карлыгой, полюбившей Кобланды, с Назым, полюбившей Камбара. А когда услышала об их уединенной походной жизни в песках, далеко от людей, это ее потрясло, как некогда потрясали жыры, в которых рассказывалось о таких же возлюбленных. Мужество Балкии поразило ее. Ведь ради любви она и холод, и голод вытерпела, а когда понадобилось, и одиночество... Про все злоключения последних лет и Хансулу рассказала старшей подруге. Это принесло ей облегчение.

И сегодня Хансулу призналась:

— Боюсь, — говорит, — как бы родители, перебравшись в Афганистан, не изменили решения вернуться, боятся ведь они Советов... я не смогу там... мне обязательно надо назад.

Балкия, подогнав коня, поравнялась с ней, озорно блеснула большущими глазами, зашептала таинственно:

— Не тот возвращается, кто в саване, а тот, кто в мирском одеянии, понятно? Так что робеть не надо, и надежды не теряй. Если такой день наступит, учти, в родные края тебя Булыш доставит. Ради вас с Шеге он на все готов, ей-богу!

Сказанное Балкией обрадовало Хансулу. Ожила надежда, что увидит она Шеге, встретится с ним. Невольно глаза на Булыше задержала, рысившем впереди на вороном аргамаке. За плечом у него — ружье, он в верблюжьем чекмене, перехваченном в поясе широким ремнем, подтянут, грозен, как древний батыр.

Хорошо стало Хансулу, она повеселела, другими глазами поглядывала на утренний мир, только-только расправляющий плечи, на широкий бархатный простор, пробуждающийся ото сна.

Навьюченные верблюды-нары передвигаются привычным размеренным шагом. Справа от кочевья — отвес Устюрта, слева — густой, непроходимый тальник. На этом

направлении, забирая чуть наискосок к востоку, не сегодня завтра они достигнут большого караванного пути, а караванный путь, как известно, не без колодцев. Так они пройдут через знаменитые пески Каракум, в которых, как рассказывают, птица летящая обжигает крылья.

Лабак-ахун посреди кочевья рысит на белом верблюде. Поет он. Всем слышен его звучный голос:

Э-э-эй...
Что в голову смертному не придет!
Да поддержит его господь!
Но— не кичись, не измерив сил,
Старшему «ты» не кинь,
Сиротку не тронь,
Слабых не мучь...
Не думай, что кары не будет.
Аллах да вечно пребудет!..

На третий день пути люди заночевали в густо заросшей тысячелистником, верблюжьей колючкой и хмелем лощине. Разгрузили верблюдов, тюки бросили как попало — утомились; после легкого ужина заснули кто где. Верблюды сосредоточились кучкой в отдалении от спящего аула, жуют. В логу, там, где ковыль и ран, пофыркивают спутанные лошади. От долгого пути и собаки приустали, звука не подают, развалились на сыпучем песке. Лишь Бульш бодрствует. Под головой у него тюк. Не имел Бульш привычки просыпаться среди ночи, а вот пробудился. Сильно стучало сердце. Он и этому удивился. Осторожно приподнял голову, вдохнув раз-другой полной грудью.

Чуток сон у Балкии.

— Ты что? — спросила она, тоже поднимая голову.

— Ничего, — успокоил он ее.

Балкия положила широченную ладонь мужа себе на лицо и снова заснула. Чуть поодаль, за Балкией, лежит Дауапа, обняв внука. Когда-то она и слышать не хотела о его браке с Балкией, теперь же, увидев внука, начисто забыла про старое. Смешная мать. Вроде бы и сторонится их, что, дескать, с неразумных возьмешь, и жить-то по-путевому не могут, а от малыша никак не оторвется, день-деньской басом громыхает, лаская его. Мужественная она женщина. А вот старости поддалась, скручивает она ёе потихонь-

ку — мягче стала, научилась прощать людские слабости. И сына с Балкией простила. Кого с кем ветер времени не разлучает?! Не по собственной охоте они с Балкией в песках мотались, как только выжили на безлюдье! И голод пережили, и холод. «Чем в одиночку дорогу искать, блуждай с гуртом», — гласит пословица. Следуя ей, пришли они с Балкией в аул в песках Айту, про который были наслышаны. Здесь встретились с мудрым Пахраддином, с Дау-апой, не чаявшей уже их увидеть. Устроилась жизнь у Булыша на четыре опоры встала. Поклялся он: что бы судьба ни сулила, не уйдет впредь ни от Пахраддина, мужа из мужей, ни от Лабак-ахуна, мудреца из мудрецов, много на веку повидавших аксакалов. Одобрил он и намерение идти в Афганистан, которое приняли старцы. Не было для Булыша большего счастья, чем выезжать на охоту на вороном аргамаке в сопровождении белой гончей, а дома его ждали любимая Балкия с сыном Едиге и заботливая мать Дау-апа; не было для Булыша большего счастья, чем вольно скакать по степи, где лишь ветер гуляет, охотиться на козлов и фазанов; не было для Булыша большего счастья, чем въезжать усталому, обвешанному добычей в аул, когда навстречу бежит родной малыш...

В думах и задремал он после полуночи. Лай собак вскоре разбудил его. Вскочил как и лежал — в одежде. Выхватил из-под изголовья пятизарядку. Густой предутренний мрак. Мало что в нем различишь. К лаю собак прибавились полные ужаса женские вопли:

— Ойбай, беда!

— Ойбай, напали!

Трое чужих угоняли верблюдов, тех, что лежали поодаль.

— По коням! — прокричал Пахраддин.

И тут с барханов раздались выстрелы.

— Ойбай! — взвизгнули женщины, подаваясь назад.

— Ойбай! Ойба-ай!..

— К оврагу! В овраг! — коротко распорядился Пахраддин.

— Булы-ыш! — послышался пронзительный вопль Балкии.

Недосуг Булышу оглядываться. Повалившись в темень, нырнул под корявый куст, начал стрелять. Одного из тройки,

угонявшей верблюдов, снял с лошади. Шум, крики, неразбериха...

Стреляли из-за ковыльного бугра напротив: тарс-тарс, тарс-тарс...

Прибежал Пахраддин.

— Булыш, назад! К оврагу! — прокричал он. — Все там. Мы с тобой одни!

— Лошади где, Би-ага? К лошадям бегите! Лошади нужны! — Булыш целился во второго угонщика.

Грохнул выстрел. Пахраддин, устремившийся к оврагу, обернулся и увидел, что и второй конник упал на конскую гриву.

— О алла! — произнес он благодарно. — О создатель!

На пути, как живой дух, возник Лабак-ахун. Громко, во весь голос он взывал к духам предков:

— О' Барак! О' Барак!

Белый чапан на плечах, белая чалма на голове, белый посох в руке, заклинания на устах. Старец — как белый флаг посреди пуль. Трусоватые мужчины, скатившиеся в овраг, возвращались. Залегли, открыли встречный огонь, запахло порохом. Мир с ног встал на голову. Скулили собаки, кричали овцы, козы.

— В овраг! В овраг! — кричал Пахраддин старцу.

Тот лишь коротко взмахнул, посохом. Это, видать, значило — отступай! Когда Пахраддин скатился в овраг, первым, кого он там увидел, был Кикымбай, продиравшийся к нему сквозь людскую толчею.

— Лошадей нет! Ойбай, нет лошадей! — орал он. — Би-ага, увели лошадей-то, ойбай!

— Вот напасть! Вот напасть! За что, господи?! — застонал Пахраддин, обычно невозмутимый. Изменила ему выдержка. Что делать? И ружья-то у него нет. Да и было бы, какой из Пахраддина стрелок?..

Вспомнив о Булыше, он бросился назад — один он там, бедняга. Мысль, что могут убить и его, не приходила в голову. Булыш не видел гиганта, пробравшегося к нему с тыла под прикрытием кустарников, он еще в кого-то целился с колена. Пуля просвистела над самым его ухом, и — тут же! — он ощутил страшенный удар в правое плечо. Отлетела берданка. Булыш бросился за стреляющим, пригнулся и увидел Азбергена.

— У-ух, отца твоего в... — прорычал тот, замахиваясь на него прикладом.

Булыш успел отклонить голову — тяжелый удар прикладом пришелся по левому плечу. Булыш отпрянул назад. Откуда ни возьмись мажановский Мотан перед ним вырос. Сверкнул клинок. Булыш увернулся, да поздно: сабля ударила по затылку. Перед глазами полыхнул неведомый огонь. Мир разом рухнул в пучину.

Пахраддин, увидев, как сгрудились вокруг лежащего Булыша враги, встал. Понял: Булыш попался. Пахраддин присел за кустом — жить-то хочется.

И тут вспорол воздух потрясающий, душу женский голос:

— Булыш! Булыш!

Смотрит Булыш, а из оврага, разрывая напрочь синий дым, летит Балкия. Босая, волосы стелются по ветру, быстрая, только пятки сверкают. Жаулык — в руке.

— Ушел враг! Побежа-ал! — раскричались выскочившие из оврага мужчины с винтовками.

Предутренняя мгла рассеялась, восток посветлел, стала просматриваться песчаная степь. Человек тридцать; конников уходили от них, петляя между барханами; за перевалом они скрылись — пулей не достанешь. Балкия птицей пролетела мимо Пахраддина.

— Булыш! Ойбай, Булыш!..

Пахраддин поднялся, испытывая дрожь в суставах, потрусил за Балкией, приговаривая:

— Пропали мы! Ой пропали!..

Добежав до Булыша, Балкия пронзительно вскрикнула:

— Ойбай! Ойба-ай!..

Закрылись глаза Пахраддина, из них брызнули слезы. Задрожали, расслабились ноги. Попробуй добеги быстро!

— О-о, Булыш! О-ой, мой Булыш! — рыдал он.

Утро содрогнулось от отчаянных «ойбай» Балкии. Из оврага бежала и Дау-апа. И она голосила.

К месту, где лежал ничком, обняв землю, Булыш, подоспел и задохнувшийся от бега Пахраддин. Первое, что он увидел: вокруг джигита расплылась обильная лужа крови. Пахраддин вгляделся в раны поверженного: пробит затылок, срублено левое плечо, правая лопатка разнесена пулей, но на лице батыра застыла неустрашимость.

— О-о, Булыш мой... Булыш! О-о, мой батыр!.. — вновь зарыдал Пахраддин.

Перевернув Булыша на спину, накрыл чапаном. Добралась до сына и Дау-апа, воет-причитает. И другие женщины шумят. Весь аул собрался у трупа.

Балкия неожиданно для аулчан кинулась куда-то в рассветную синь. Рыдает тонко, пронзительно, как жеребенок, которого ненароком ранили. Безоглядно бежит женщина — босоногая, простоволосая...

— Жеребеночек ты мо-ой! Ой-бо-ой! На кого ты меня оставил? — причитает Дау-апа.

Хансулу ни жива ни мертва. Бледная, дрожащая, с ужасом озирает она разгромленное кочевье. Было — и нет его. Шумели-галдели люди. По становищу, лишь ночью служившему ночлегом, беспорядочно метались ягнята, козлята, овцы, козы — вся оставшаяся живность ограбленного аула. Скулили растревоженные псы. Верблюдов-наров, грозы и красы аула, нет. И лошади исчезли. Обеднел аул, нищета заглядывала людям в глаза.

Бандиты потеряли двоих. Один — Капан, сын Мажана, пуля зацепила его у подножия бархана; второй — молодой туркмен в папахе.

Булыша погребли на следующий день после обеда на холме, заросшем столетником. Его гибель потрясла весь аул, опечалила и молодых, и старых. Не было человека, не пролившего по нему слез.

Бедняжка Балкия часто теряла сознание. Дау-апа, подперев бока руками, раскачивалась из стороны в сторону и — голосила-голосила; в один день поседела, согнулась мать.

У аула, подвергшегося неожиданному разгрому, лишившегося скотины, вынужденно изменились планы на будущее. Пока одни рыли могилу для Булыша, другие стали копать колодец на дне оврага. И ребенку ясно, что откочевка в Афганистан пока откладывается. Походный порядок жизни диктовал: «Мертвому — могилу, живому — жизнь». После похорон Булыша стали ставить юрты. Аул оседал. Уменьшились плач и стенания.

Балкия так и не приходила в себя. Лежала под пышной кроной карликовой акации и звала в бреду:

— Булыш! Булыш!

Хансулу поддерживала ей голову, поила водой.

Дау-апа, почерневшая от горя, тоже взялась за плохонькую свою юрту. Соседи и родичи помогли — подняли шанырак, связали уыки.

К вечеру в тени белой юрты Пахраддина расстелили большой войлочный текемет, и аульные аксакалы устроили совет. Единодушно решили, что пережитое ими бандитское нападение не иначе как божье знамение: не хочет бог народ на ту сторону отпускать. Некоторые предлагали сложить оставшиеся на руках деньги, золото, серебро и, обменяв их на базаре на скотину, продолжить путь в Афганистан, на что другие возразили, как, дескать, без штанов в страну обетованную подаваться, ведь там, на стороне, и отношение к ним, к голодранцам, будет плевое.

Лабак-ахун сидел с закрытыми глазами и что-то тихо бормотал, перебирая четки, вид у него был отрешенный. Временами, вскидывая голову, он протягивал вперед руки и произносил:

— Ауминь!

Затем, проводя руками по лицу, долго гладил длинную белую бороду.

С восходом луны совет закончился. Пять человек с Пахраддином на следующий день отправились в туркменский город Коне-Ургенч, который был ближе к аулу, чем Конырат.

4

Мужчины аула стали возить саксаул в Коне-Ургенч по договору. Горожанам требовалось топливо. Все, кто в силах, рубили деревья, чтобы заработать на хлеб. Много саксаула в песках. Пока мужчины на пятнадцати казенных верблюдах сбывали саксаул в далеком отсюда городе — туда два дня пути, — женщины заготавливали дрова впрок. Все им помогали: и подростки, и старики. И Хансулу, надев шаровары и стеганку, подпоясавшись ремнем, не отставала от соседей.

С утра до вечера мелькали в воздухе топоры, непрерывный стук оглашал некогда тихую песчаную округу. Люди, пережившие голодный джут 1921 года, после того как басмачи угнали скотину, растерялись; единственное о чем они теперь думали, как спасти от голода ребятишек,

выжить самим. Потому как в последний бой выходили они на поединок с корявым саксаулом, единственным отныне источником их существования.

В шанырак Булыша дрова заготавливала сама Дау-апа. Бедняжка Балкия так и не пришла в себя после гибели мужа. Люди считали ее потерянной, за глаза называли ее «тронутой», «ненормальной». Временами ей бывало хорошо, и тогда она вела домашнее хозяйство, ухаживала за ребенком, но вскоре наступало ухудшение, и она начинала буянить, плакать в голос и в конце концов убегала в пески да день-деньской кружила как безумная вокруг утопавшей в столетнике могилы Булыша.

Дау-апа, по-мужски замахиваясь топором, ловко срубала сук, приговаривая:

— О бог! Окаянный бог! Чем это я тебе не угодила, за что мстишь?! — и темнела лицом.

Прошел полдень. Жара спала, удлинились тени. С восточной стороны аула зеленела густая тамарисковая роща, за ней виднелась заросшая ковылем песчаная гряда. На нейто и показались возвращающиеся «горожане», увидев которых, женщины, занятые на саксауле, тотчас бросились в аул. Ребятня, визжа, понеслась навстречу отцам — с базара они! Какой-никакой, а праздник для аула возвращение «горожан».

Хансулу тоже побежала. Кто знает, может, будут вести от Шеге? И старики не лучше детей — на свет белый повылазили, и Лабак-ахун среди них, и он от верблюжьего каравана глаз не отрывает. И Сырга с Тугелбеком на руках выросла на пороге.

Из последних сил держатся на верблюдах всадники. Вымотала их дорога, измучила жажда. Под тюбетейками и шапками большущие полотенца. Огненно-рыжий нар, как всегда, впереди, медный колокольчик на его шее вызванивает в такт валкому, размеренному шагу животного, на нем — Пахраддин.

— Гляньте-ка, а там кто? Не Верещага ли? — воскликнул кто-то.

— Горлодер ведь под ним?

— О создатель! Неужто Шарип?

Хансулу не поверила своим глазам. Последним, замыкая вереницу «горожан», и в самом деле ехал ее свекор —

маленький, сухонький Шарип. Не видать-то его из-за верблюжьего горба.

Караванщиков, осаживающих верблюдов, тесным кольцом окружили женщины, дети, старики. Лабак-ахун привел Шарипа в дом Дау-апы. Та долго причитала. Старики пропели Коран, провели традиционно ладонями по лицам. Балкии дома не было. Женщины пояснили — пошла за кизяком. Хансулу поставила самовар; кидая в его топку щепки, прислушивалась к разговорам в юрте, а старики знай о житье-бытье толкуют, каждый о своем Шарипа расспрашивает. Мать Сырга наконец догадалась:

— А от Шеге что, сват?

Хансулу приникла к юрте. А свекор и сам позвал:

— Келин, ау келин, ты где?

Хансулу, стесняясь, протиснулась бочком в набитую народом юрту. Свекор на почетном месте, подобрав под себя ноги, жадно принюхивается к макушке сидящего на коленях его Тугелбека — соскучился.

— Присаживайся, милая. Как ты тут?

Дрогнул голос Шарипа, не смог он скрыть волнения, рукавом вытер глаза.

— Жив-здоров Шеге... Письмо вот пришло. Город Орыск[1], вот он где, Шеге...

И протянул Хансулу замызганный смятый конверт. Дальше говорить не смог, слезы закапали на голову внуку. Глядя на него, и Хансулу расчувствовалась. Лабак-ахун — как высохший корень саксаула. Бледными, тонкими, как спички, пальцами провел по бороде.

— Уай, браток, не тужи! — сказал он, обращаясь к Шарипу. — Время, браток, такое, все с ног на голову встало... Не гневи бога, а то чем похуже еще жизнь обернется...

За чаем неугомонный Кикымбай спросил у Шарипа:

— А как там ваш каллектеп поживает, гудулдугутпан?

«Гудулдугутпан» — любимое присловье Кикымбая, смысла которого не знает и он сам, но которое непременно вворачивается в речь, когда вопрос у него каверзный. Разомлевший от чая Шарип резко вскинул голову. Знает, чесотка на языке у проклятого Кикымбая.

— Что спрашиваешь? Доконал каллектеп!

---

[1] Орыск — искаж. от «Орск».

— Доконал? Как? Нету, что ли, теперь «Жана жола»? Распустили?

— А какая разница — распустили, нет, раз каллектеп не каллектеп уже?.. Скотину государство отобрало. Лис каждый день новые налоги придумывает. Скотину позабирал — так за, шкуры взялся, за шерсть, а на днях копыта велел сдавать, вот так. Дашь — ничего. Не дашь — нету никого тебя хуже. И враг ты, и контр ты. Чуть что, в тюрьму грозится упечь. Шестнадцать дворов осталось от «Жана жола». Бегут люди из каллектепа.

— Ойбо-ой!

— Спаси, аллах!

— Крикуна моего видали? Ну вот, один у меня из всей скотины. Как его приберут, считай, семье моей крышка.

— Ау, Шаке, — оживился Кикымбай, — вы, гудулдугутпан, не кто-нибудь, активист. Пошли к власти, шум подняли!

Шарип, когда злился, не находил слов, начинал заикаться:

— П-пропади оно все пропадом! Если б от шума того что было... — поперхнулся чаем. — К-калашников с нами не говорит, темными считает. Лиса слушает, он, скотина, по-русски трекает, то-от еще лизун! Лизуны в почете нынче. В любую дырку, говорят, лизуны пролезут, любую дверь откроют. И Советскую власть, я думаю, лизоблюды к рукам приберут.

— А где Апанас? Уж кто народ понимал, так он, Апанас!

— Э, заткнул его Калашников. С работы скинул — спорил с ним...

— Э-э-э...

Люди погрустнели.

Измотанный дальней дорогой и жаждой, Шарип налег на чай. Установилась тишина. Лишь посуда позвякивает.

— Э, Шаке, наш разговор ближний. А я вот ждал, что вы чего-нибудь издалека завернете.

Не понял Шарип Кикымбая, вытаращился.

— Я вам, Шаке, вот какую забавную штуку скажу. Послушайте. Рассказывают, Голощекин к Сталину ездил, жаловался, гудулдугутпан: не могу, говорит, кочевой народ в каллектеп загнать, по степи, говорит, разбежался...

— Ай, Кикымбай! — оборвал его Шарип. — Слышали мы про это от такого же пустомели, как ты. Да только Сталина-то сюда не приплетай! Давай-ка мы лучше вот за соплями своими присмотрим... Что нам с тобой, если кто-то куда-то ездит?

— В книге священной записано, — заговорил Лабак-ахун, — конец света приблизится, так на земле копыта не останется...

Люди повернулись к Лабак-ахуну.

— Все живое забвению будет предано — и птица летающая, и зверь рыскающий, и рыба плавающая. Сын мусульманина, клок шерсти на суку завидев, подберет его и, сжегши, запахом, им источаемым, наслаждаться будет. Так он про благословенные дни вспомнит, когда тысячными стадами паслись на приволье те, с кого ветка случайная когда-то шерсти клок содрала...

Лабак-ахун стал описывать подробности Великого Конца столь красочно, будто был очевидцем. Люди ужаснулись, словно сами увидели, как гора с горой сталкиваются, как выплескиваются из берегов моря...

— Займется огнем земля. И с Востока — пламя, и с Запада — Пламя... Великий пожар сгонит людей в долину, где Великий Суд свершится...

Кое-кто благочестиво зашептал молитву.

— Соберутся люди под белое знамя пророка, и спустится с неба Иса...[1]

Люди застыли.

Дау-апа подала к дастархану мясо. Сотрапезники запили его верблюжьим шубатом и к ночи, когда показались звезды, разошлись.

Пахраддин не принимал участия в разговоре. Ночью, когда они с Шарипом вышли прогуляться по свежему воздуху, он, покручивая усы, поделился со сватом тем, что накипело на сердце, что его угнетало.

— Будущее аула меня заботит, — сказал он. — Скот потеряли, сидим как нищие в этой дыре, шагу некуда ступить. Что с нами будет, что будет?..

Шарип, смачно сплюнув в песок, бросил:

— По мне, лучше в такой вот дыре сидеть, чем под властью Лиса Курена пропадать...

---

[1] Иса — Иисус Христос.

Ничего более не обронил Пахраддин. Назавтра спозаранок Шарип взобрался на своего горлодера и тронулся в обратный путь.

5

Для Хансулу стало привычным в часы, когда ее угнетает одиночество, уходить далеко за аул и поверять свою печаль пустыне. И нынче она бредет в неведомую даль в красном платье, похожем по цвету на песчаные горы, окаймляющие по краю синий небесный купол осеннего неба. Сама пустыня желта, лишь тамарисковая рощица на востоке отдает зеленым... Удивительно — разные цвета, но как они созвучны друг другу.

Хансулу идет босиком. Песок под ногами сыпуч, словно просеянная мука. На нем — следы ее ног, как стежки на одеяле. Взобралась на конусообразный бугорок. С него хорошо обозревается бескрайняя вселенная. На юго-западе — царство желтого песка; на северо-востоке — пустыня с желтыми барханами и зелеными островками тамарисковых рощиц. Когда солнце припекает, горизонт в этой части пустыни окутывается голубым маревом.

Предзакатная пора. Зной спал, горизонт чист. За горизонтом жизнь, там каракалпакские и туркменские города — Конырат, Коне, Ходжели. Одна-единственная тропа от аула ведет в тот край. Тонкой нитью вьется она по пустыне, захватывая край далекого отсюда перевала. Кто ни окажется на бугре, непременно смотрит на эту тропку...

Мужчины аула, промышлявшие солью на Карымбете и сбывавшие ее потом в Конырате на базаре, месяцами не видятся с детьми, женами. На прошлой неделе Пахраддин и Кикымбай приезжали. Услышав вести о мужьях, получив от них гостинцы — сахар, чай, пшеницу, просо, женщины в ауле приободрились. Но Хансулу встревожил вид отца: насупленный, плечи опустились. Не похож он на себя прежнего, не та поступь, в облике нет былой величавости. Будто сломался человек... И за дастарханом молчал, упершись взглядом в землю, ко всему безразлично-равнодушный, будто сонный. Что-то мучило его. Причину она потом от матери услышала: цены на продукты небывало выросли на базаре. Боялся отец, что соль, которую они с превеликими трудностями доставляют, в скором времени обесце-

шится настолько, что выручки от нее не будет хватать на хлеб. Еще он сказал, что на берегу Аральского моря создается колхоз под названием «Кзыл кайыр», и рыба там, естественно, главный промысел; он с Лабак-ахуном советовался, не пойти ли им теперь в рыболовецкую артель, так старец, оказывается, возмутился: не хочу, дескать, жить по бумажке, не хочу с Кораном разлучаться. «Вот твой отец и думает, как ему быть...» — заключила мать.

В благословенных туркменских песках и зима-то необыкновенная. Нет буйных степных метелей со снежными завихрениями. Выпавший за ночь снег с утра тает. Солнце целый день на небе. Не успеет прийти март, начинаются дожди. Мягкая земля влажнеет, покрывается, зеленым пушком. Хорошо в песках. Лишь одно омрачает жизнь — сплошная нужда. Какая цена очагу в доме, если нет зимнего забоя?! Нынешнюю зиму бульон был редким блюдом на столе. Тридцать с немногим коз и овец оставалось во дворах после налогов и бандитов, так их в эту зиму порезали. Последней под нож попала черная кикымбаевская коза. Как она угодила в казан — целая история. Катира, жена Кикымбая, убедившись, что ни копыта в ауле не осталось, загнала черную козу в дом и привязала у порога. Деньденьской отгоняла она визгливыми криками ребятишек от дома, боясь, что те ее уведут. В ауле все уже перешли на чай-кипяток, вернее, кипяток с солью, а из дома Катиры раз в день выплывал запах настоящего чая. К марту женщины по вечерам и вовсе не стали к котлам прикасаться — что варить? Только у Катиры с сумерками из тундика валил дым, он действовал соседям на нервы, они глотали слюни. Тем не менее к Катире никто не лез. Кому охота видеть, как ощетинивается ежихой кикымбаевская скупердяйка?

Вторая половина марта 1932 года была, наступил очередной Наурыз — новый год по восточному летоисчислению. Ночью пролился обильный дождь, гремел гром. Молнии вспороли все небо. Мать Сырга шептала испуганно:

— Бисмилля! Бисмилля!

Хансулу, крепко прижимая к себе ребенка, тоже взывала:

— Бисмилля! Бисмилля!..

Небо в ту ночь вылило, казалось, свой гнев. Сжался аул под косыми потоками воды. Сжались и люди, не дышат.

У многих в ту ночь перекрытия над головой протекли. Влажно стало в юртах.

Наутро небо в первозданной свежести голубело, будто ничего не произошло. Солнце сияющее вышло, пески заклубились паром. Выползли на солнышко старички погреться.

— К добру это, раз аллах внимание на нас в день Наурыза обратил, — предрекали они, надеясь на лучшее.

Настроение светлое, праздничное, люди приветствовали друг друга за руку, как раньше бывало. Но и тяжкий был день для аула!

Какой же Наурыз без свежего молозива, без полного казана?!

Даже Сырга, похрустывая за утренним чаем жареной пшеницей, приговаривала недовольно:

— И что они припозднились? Я про отца твоего, — и поглядела на Хансулу. — Сам же видел, чего и сколько в доме... Или, может, властям попался ненароком из-за соли этой проклятой?

— Жалко им соли, что ли? Все равно ведь валяется, — возразила Хансулу.

— Э-э, что сегодня разберешь, ведь не так оборачивается, как думаешь...

Но тут дверь открылась, и вошла Дау-апа в огромном жаулыке.

— Так тебе, пустоголовая! — проговорила она с ходу, посмеиваясь.

Не поняли женщины, кому эти слова адресованы, переглянулись, но в одном не ошиблись: Дау-апа, мужеподобная старуха, всегда насупленная, угрюмая, сегодня улыбалась. Давно они не видели ее улыбающейся.

— Ножичек дай, скотину надо прирезать, — попросила она, посмеиваясь. На колено присела рядом с Сыргой.

— Скотину? Какую скотину? — удивилась Сырга.

— И то верно, какая нынче скотинка, пошло оно все прахом! Черная коза Катиры, вот и скотинка!

— Сама дала? Как?

— Э-э, даст Катира, жди!.. Ножичек давай, да поскорей!.. Барымтачим, милая, запропала б она, Катира, совсем! Силком берем. Пошли! Завлекательно будет! — Дау-апа поднялась и пошла.

Хансулу и Сырга за ней побежали. Драная юрта Дау-апы шагах в десяти. Смотрят, а четверо мальчишек и в самом деле черную козу Катиры волокут: кто за рога, кто за голову, кто за хвост. Коза и поорать-то не может — морда веревкой перевязана. Старики, на солнышке греющиеся, видят грабеж средь бела дня, но помалкивают. Мало того, еще и облизываются — давно ведь не ели мяса.

Дау-апа в ожидании ребятишек ножичком в руках вертит. Подхватила козу с земли как цыпленка и грохнула ее оземь рядом с очагом. Из кармана веревочку вытянула в полтора аршина длиной, ноги козе связала, обратила головой к востоку.

— Аллах акпар, животина, вознесись твоя душа в рай! — проговорила она и ножом по трепещущему горлу полоснула. — Огонь под очагом! Живо!

Все бросились исполнять распоряжение. В очаге заполыхал огонь. Дау-апа, засучив рукава, уже свежевала тушу.

— Привязала к порогу и довольна, стерва, людям жизнь портит. Ну-ка, погляжу я теперь, что ты сделаешь. Заруби, коли можешь! — ворчала она, ловко кулаком шкуру сдирая. — Утром, — говорит, — казан чищу, а ребятня вокруг меня собралась, глаз с меня не сводит, будто я варить что буду. Что, спрашиваю, мяса хочется? А они — хочется, хочется. А дома, говорю, мяса нету, что ли? А они — нет, нет! Ну что с ними делать будешь? Разве перед дитем голодным устоишь? Вспомнила я тут про козу Катиры, вот, думаю, стерва. Говорю ребятам, черную козу Катиры мне приведите, я вам столько мяса отварю, в три пуза трескать будете. А они — приведем, если даст. Это Катира-то даст? С нами сын Кулзипы был. Где мать, говорю. Дома, отвечает. Так вот, говорю, иди сейчас к Катире и скажи ей, что твоя мать ее на угощение в честь Наурыза приглашает. Ничего больше не говори. И мальчуган убежал.

Дау-апа рассмеялась, большие щербатые зубы показывая.

— Потом мы с ребятней и сели возле нашего дома, ждем, когда Катира уберется. Быстра ведь, чертовка, на чужое угощение. Выметнулась скоренько из дома, весь свой сопливый хвост с собой утянула — про детей я ее. Прямиком к Кулзипе. Только ее не стало, я ребятишкам — давайте! Да морду, говорю, свяжите, не забудьте!

Громкий голос Дау-апы на весь аул слышно. Горящий очаг, разделываемая туша, казан на огне; старики, гревшиеся на солнышке, потихоньку к ее дому стянулись.

— Уа, боженька, прими жертву! — произносят они традиционно, почтительно глядя на то, чем старуха занимается.

— Да сбудутся ваши слова! — откликается Дау-апа. Она уже мясо в казан кидает — по частям, как положено.

— Ойбай, Катира идет! — пропищала тут в ужасе девчонка Жолдасбая.

— Э, пусть идет! — отозвалась Дау-апа.

Катира среднего роста, смуглая, усохшая, как осенний лист, бабенка. Заметно косила, когда бывала не в себе. В руке у нее клок шерсти и веретено, сначала торопливо в юрту заглянула. Убедилась, что козы нет, сильно осердившись, дверью хлопнула. Швырнув прочь и шерсть, и веретено, понеслась к людям:

— Средь бела дня... Да кто посмел! Безбожники! Камень вам в желудок вместо мяса!

— Эй ты, баба! — прогромыхала как гром Дау-апа, поднимаясь ей навстречу во весь свой богатырский рост; большой рукой из-за аркана, опоясавшего юрту, камчу из восьми плетей вытянула, хлестко ею воздух резанула. — Ты, баба! Ты это с какими глазами имя бога произносишь? Два года тут живем, а ты ради пути господнего хоть раз козленочка дохлого прирезала, чтобы людей угостить? А прешь туда же — безбо-ожники... Вот ты безбожница и есть. Совсем забыла, как с людьми-то жить, а? — Дау-апа, зажав камчу в руке, пошла на нее.

— Ойбай, мать ты наша! — вскричала Кулзипа, встревая между старухой и Катирой. — Прости уж на сей раз, мать!

— Месяц уже, как от мужиков ни ответа ни привета. Среди них и «гудулдугутпан» твой. Что? Драная твоя коза лучше мужиков, выходит, пропала бы она пропадом! Хочешь, высеку я тебя, да при народе-то, а? — И, оттолкнув грудью Кулзипу, вновь рванулась к Катире.

— Оу, келин! — раздалось, Лабак-ахун проговорил. Серебристую бородку поглаживая, к Катире он обращался. — Правильные слова Дау-апа произносит. Жертву господу приносить — долг мусульманина... А безбожник тот, кто от этого долга мусульманского уклоняется...

Катиру то ли слова ахуна проняли, то ли дошло наконец, что коза для нее все равно потеряна, отвернулась, прослезилась. Шумно потянув носом, пробубнила:

— Пусть так и будет, как ахун-ата велит!.. Пусть эта скотина жертвой от меня всевышнему будет!

— Э, вот-вот! — одобрительно разгуделись старики.

— Что значит вовремя подсказать...

— Разумница у нас Катира!..

6

Еще два дня прошли. Первыми, как оказалось, покидают голодающий аул собаки. В пустыню они убежали, охоту за мышами предпочли. Женщины, ведомые Дау-апой, к Лабак-ахуну приплелись; он с утра на свежем воздухе молился, голова у старца скорбно склонена книзу. Как живой труп ахун. Проведя ладонями по лицу, обратился он к женщинам в ожидании, что те скажут. Дау-апа, не снимая со спины заснувшего внука, так, в согбенном положении, и заговорила первой:

— Что вы нам предложите, святой человек? Что-то ведь надо предпринимать. Без худа, говорят, нет добра. Даже если и не вернутся мужики, что-то делать надо. Не умирать же с голоду.

— Потерпи еще ночь! Иншалла, может, будет весть, — проронил ахун, цедя пальцами бородку.

Ночь была с ветром. Без луны. Не видно ни зги. Заснул аул.

Неугомонный ветер треплет кошму на юртах. Временами порывы его таковы, что скрипят шаныраки, уыки, и кажется, вот-вот какая-нибудь юрта не выдержит напора непогоды — рухнет. Страшно Хансулу. Укутывая спящего Тугелбека, прислушивается она к внешнему миру — гудящему, свистящему, стонущему, будто чудовища неведомые рыскают по беспомощному, беспризорному аулу вместе с беснующимся ветром. Будто собираются они кучками и к каждой юрте принюхиваются, мертвечину выискивают, чтобы за ноги ее наружу выволочь да полакомиться. Будто они и к Тугелбеку ее крохотному приглядываются. Спит малыш, а они, поди, воображают, что не спит...

Ушел сон от Хансулу, кошмарные видения не оставляют ее. Что-то зашумело у стены.

— Апа! — вскричала она, вскакивая.

— Бисмилля! Бисмилля! Что такое? — подняла голову Сырга.

— У стены кто-то...

— Да мыши, господи, кто же еще?

Мать зажгла керосинку, оглядела стену.

— Мыши, спи, — сказала она, зевая.

Глаза Хансулу задержались на сыне, и сердце ее растаяло. Надо же малышу уродиться таким: нос, брови, лоб — о господи! — отцовы! Это умиляло ее, она, склонившись, поцеловала пальчики выпроставшихся из-под одеяла маленьких ножек, шевелил малыш ими во сне.

Ветер воет беспрестанно, трещат завязки туырлыка. Но, успокоенная, Хансулу заснула. И пробудилась вскоре от шума. Смотрит, мать керосинку разжигает.

— Ты что, апа?

— Отец твой приехал! — объявила та и открыла дверь.

Вошел отец. Под шапкой платком обвязался так, будто зубы у него болят. Лицо почернело, опухло. Сапоги в пыли.

— Добрались, сокол мой? — засуетилась мать, принимая из его рук коржун.

— Добрались, — неохотно ответил отец, едва языком ворочая.

— Задержались что-то...

Отец поморщился. Сырга, присев, начала стягивать с него сапоги. А он, хмурясь, коротко изложил все, что с ними было:

— Соль не брали, а если брали, так за бесценок, вот и закрутились. Что пшеница?.. Кукурузу и ту на базаре не купишь. Кило — два рубля... Не вышло ничего из соли, так я тот слиточек золотой — одному узбеку за три кило кукурузы. Там, в коржуне, она, — у него задрожал голос.

Мать принялась массировать ему голову.

— Степняки в города бегут... Голод, мор, мрет народ...

Хансулу начала было заливать чайник, но отец от чая отказался, пожелал лечь. Сырга постелила. Стягивая с себя верхнюю одежду, Пахраддин сказал:

— С рассветом, похоже, тронемся к побережью. Плохи наши дела.

Сырга помогла лечь. Погасила лампу.

— Отдохни... спи... — Укрыла заботливо одеялом.

Хансулу удивило отцовское «тронемся». Если б в ауле хоть на расплод верблюд остался — как это они трогаться будут? Ишаки, правда, есть, да и то не у всех. Как же они тронутся?

Утром отец велел развести очаг, а сам, завернувшись в шубу, сел подле, лицом к огню, и долго, до седьмого пота, пил чай. Пришёл Лабак-ахун. На гостевом месте скоренько благословение какое-то пробормотал и, закрыв глаза, ладонями по лицу провел. Посидел некоторое время молча, пальцами белую бороду теребя. Мысленно, похоже, все мироздание обозрел, такой у него отрешенный был вид. Пахраддин безмолвствовал. Завернувшись в шубу, тянул и тянул наливаемый женой крутой кипяток-чай.

— Э-э, — протянул ахун, — другого выхода, кроме того как возвращаться, не осталось?

— Не осталось, — ответил Пахраддин.

— Э-э, — запел опять протяжно ахун и закивал головой. Долго кивал. Затем как пришел, так и ушел— прямой, несгибаемый, непроницаемый, в белом, стелющемся полами по земле чапане, в белой чалме, с белым посохом в руке.

К этому времени и соседи, похоже, встали. Слышались визгливые вскрики женщин, плачущие детские голоса.

— И день-то божий не прояснится, — с этими словами Сырга поглядела через тундик юрты на небо — оно было в подтеках.

Пахраддин, опрокинув пиалу кверху дном, вытерся полотенцем, сказал:

— Необходимое только берите. Постель, посуду, одежду. Что ишак поднимет, — и попросил дочь, показывая на кереге: — Подай-ка...

Черная плюшевая торба висела на решетке. В ней — старые тетради, те, что с родословной казахов, которой многие годы посвятил. Об этом даже близкие Пахраддину люди не знали. Если кто-то и любопытствовал, он отделывался коротко: история, мол...

Хансулу подала торбу отцу. Пахраддин листал пожелтевшие страницы не спеша, молча листал, долго. Переглядываются дочь с матерью, что, дескать, с отцом? Нашел время для чтения...

А он знай перебирает желтые страницы, вглядывается в красиво выведенный арабскими буквами текст.

И — неожиданно разорвал одну тетрадку пополам. Еще на части разодрал и клочки швырнул в огонь. Вспыхнула бумага.

Хансулу и Сырга оцепенели на месте. Пахраддин, похоже, избавиться хочет от торбы. Знала Хансулу, что в торбе, кроме тетрадей с родословной, есть еще жыры и дастаны, записанные некогда отцом из уст сказителей. Сейчас он с какие-то ожесточением раздирал на мелкие куски и их, метал в огонь. Черные тетради, которые отец почитал не меньше Корана, уничтожались им собственноручно.

— Сокол мой, — тихо произнесла Сырга. — Что же ты?..

Пахраддин, не отрывая глаз от горящих бумаг, сказал:

— Некий Нураддин, говорят, объявился, милиса. Из-под Коныpата. Угоняет, говорят, сразу, если письмена старые в доме обнаруживает, мулла ты, дескать, вот так... Тридцать второй год велит поступать так...

Пахраддин покинул юрту. Холодный ветер не стихал, гнал по аулу поземку, вздымал песок из-под юрт, делая еще более неприглядной и без того печальную картину происходящего. Мечутся бестолково женщины, дети. Суета с узлами, с прочим домашним хламом, выволакиваемым из юрт. Другая откочевка, не та, что прежние. Эта откочевка— не откочевка, бродяжничанье скорее; что, как говорится, унесешь, а что не унесешь — бросишь, оставишь. Мужчины аула, вернувшиеся с Пахраддином из города, рассказали своим отчаявшимся в ожидании семьям, что за поход им предстоит. На берега Амударьи, как услышали они в Коныpате, пожаловали представители из Казахстана. Задача их — собрать воедино рассеявшиеся по пескам аулы, бежавшие в пустыню из-за нежелания идти в коллективы и теперь нищенствующие. Сбор намечается на берегу Амударьи, по которой беженцев судном должны доставить на родину. И еще они услышали, что Сталин якобы из-за того, что кочевой народ бежал, покритиковал жестоко Голощекина, обвинив его в перегибах и в извращении партийной политики на местах относительно коллективов; после этого якобы и поскакали гонцы от республики в разные концы, и к соседям, разумеется, — к русским, узбекам, киргизам, туркменам, каракалпакам, на земли которых и хлынули поначалу перепуганные казахи,

чтобы оттуда выбраться уже в Китай, Иран, Афганистан. Пустомели типа Кикымбая возопили:

— Пожили, гудулдухутпан, в песках — и хватит! Вертаться надо, раз зовут. Теперь мы в цене. Теперь, поди, с ложечки еще покормят...

Шутил Кикымбай, но доля правды в его словах была. Когда же наступил момент оставить на безлюдье юрту и вместе с ней то, что наживалось годами, возник бунт. Бабий бунт.

— До чего бестолковые у нас мужики! — начала Катира, жена Кикымбая, злая от того, что узлы, которые она накладывала на ишака, не могли уместиться на его спине. — Знали, что назад попрем, какого лешего из каллектепа уходили? Сидели бы не горевали, а то развезли — Ауганистан, Ауганистан. Ждал вас там кто. Ни басмачей, ничего не было бы, господи... Хромая овца, говорят, после обеда блеет, так и мужики наши разблеялись... Слава богу!

— Замолчи, треклятая, заткнись! — орет на нее Кикымбай.

Вопли Катиры Пахраддин воспринимал как проклятие ему одному. Точно стрелы вонзаются они в душу, пронимают до костей. Шумит, взрывается аул то вскриками, то звоном бьющейся посуды, но Пахраддин ничего не слышит, вернее, перестал слышать. Горит со стыда лицо, жжет душу выпад вздорной Катиры, слова пакостной женщины бьют как камча...

Сырга и Хансулу выволокли из дома два мешка с постелью, грузили их на ишака. И коржун с посудой и довольствием на ишака положили. Навьючен ишак — дальше некуда. Видят жена и дочь, но суматошатся. Их бы воля, ничего бы не оставили. Желчь поднялась в Пахраддине. Не поймет, на кого злится: на судьбу-лиходейку ли, сыгравшую с ним жестокую шутку, на себя ли, оказавшегося в нелепейшем положении, на Катиру ли и ей подобных, привыкших все беды мирские валить на других... Но злоба была. От бессилия злоба. Побледнел Пахраддин.

А тут еще Сырга-байбише:

— Ой-бу-уй, сокол ты мой! Про казан-то мы забыли! — и к черному котлу на очаге кинулась. Большой он. Дочь подбежала, за второе ушко ухватилась. Еле волокут вдвоем. Сказать — бросьте, язык у Пахраддина не поворачивается.

Сколько лет кормил их старый прокопченный казан, а взять — ишака жалко, не утащит.

— Не поместится, — обронил он по обыкновению деликатно, но жена и дочь не услышали. Пыхтят-сопят, тащут казан. Тут-то Пахраддин и взвился:

— Не поместится! Ну куда вы его?! Куда?!

Впервые, наверное, поднял он голос на жену и дочь. Те, испугавшись, уронили казан. Лица на обеих нет. Почернел Пахраддин, отвернулся от них. «О бог-искуситель! Вот что-ты приготовил мне напоследок, вот что...» — пробормотал он, глядя на грязный горизонт. Рыдания подкатили к горлу, глаза были сухи, без слез. На душе пустота — как и вокруг. В ушах — свистящий ветер.

— Кончайте, — кинул он устало.

Многие, подгоняя ишаков, в путь тронулись. Дау-апа будто привязана к юрте, не может ее оставить. Слышит Пахраддин, честит она кого-то последними словами. И ишака-то у старушки нет.

— Принеси ее вещи! — велел он Хансулу.

Два узла у Дау-апы, их водрузили на ишака. Пора бы трогаться. Дау-апа со слезами на глазах обратилась к Пахраддину:

— Что мне делать, скажи? Не хочет моя помешанная невестка идти. Объясняю — не понимает. Кричу — плачет. Что мне делать?!

Пахраддин к Хансулу и Сырге повернулся:

— Выведите ее как-нибудь!

Балкия с распущенными волосами сидела спиной к порогу, крепко уцепившись за решетки кереге. Еще больше подобралась, когда увидела Хансулу и Сыргу. Старое платье на ней с рваным плечом.

— Дайте я сама! — попросила Хансулу, выпроваживая Дау-апу и мать. — Балкия!

Вздрогнула женщина, обернулась к ней. Глаза у нее безумные.

— Я же Хансулу!

Хансулу достала зеркальце и гребешок, положила перед ней. Испытанный ход. И раньше вот так удавалось поухаживать за женщиной: мыла ей голову, расчесывала волосы.

— Ну-ка, причешу я тебя! — предложила Хансулу, и сейчас чувствуя, что Балкия начинает к ней прислушиваться.

Скоро Хансулу вывела ее за руку из юрты. К этому времени в ауле ни души не осталось, пустой он стоял, будто выпотрошенный. Пыльный суховей шнырял между покинутыми домами, вздымая мусор.

Аулчане тащились пешком, замыкали беспорядочную толпу Пахраддин, Дау-апа, Сырга, Балкия, Хансулу. Между теми, кто уходит, снуют и брошенные собаки, те самые, что подались в пустыню охотиться на мышей, а теперь почему-то вернулись. Им невдомек, куда это отправляются люди, все до одного. Трусят псы некоторое время за уходящими, а потом останавливаются и воют.

Пахраддин старается идти боком к ветру. К голосу великого суховея, раскачивающего кустарники, примешивается некий гул, будто мир вокруг тяжело вздыхает. Будто страшная беда, способная сокрушить вселенную, поднимает голову. Пыльный занавес заслонил солнце и, казалось, весь белый свет. Небо красноватой мглой затянулось. Невмочь Пахраддину оглянуться на остающиеся пустые дома, на остающийся аул, беспризорный, осиротевший. Теперь, что бы ни случилось, надо идти только вперед...

В том месте, где дорога, поднявшись на бархан, спускалась вниз, Пахраддин остановился, вытер пот со лба — подъем ему дался тяжело, грузен он. Но оборачиваться опять же не стал. Не захотел. Зато жена, дочь, дети, Дау-апа обернулись.

В самом центре величественного царства песков, на крохотной равнинной площадку притулился боязливо аул.

Серые, милые сердцу юрты с закрытыми наглухо дверями и тундиками, нежданно-негаданно опустевшие дома. Пыльная буря покрыла аул.

Женщины, кроме Балкии, начали всхлипывать. Сырга-байбише до боли в глазах всматривалась в белую крутобокую юрту, перед порогом которой чернел казан, ею брошенный. Слезы побежали-покатились по лицу; захватила зубами край жаулыка, беззвучно расплакалась.

Вой ветра — он теребит беспрестанно головки столетника и караганника— представился вдруг Пахраддину женским плачем, повисшим между небом и землей.

Содрогнулся он, не смея глядеть на женщин, обливающихся слезами. Полоснул тамарисковой веткой по крупу большого серого ишака, который, воспользовавшись остановкой, дремал, развесив длинные уши.

— Чу-у, — подогнал его хозяин.

АПОКАЛИПСИС

1

Будто солнечное затмение. Будто светопреставление, то самое, которое Лабак-ахун пророчил...

Хансулу, подавленная, со слезами на глазах бредет по мягкой, осыпающейся под ногами тропе. За спиной — ребенок. Позади, за перевалом, аул, покинутый, неприютный, как кладбище. Оттуда доносится печальный вой оставшихся собак. Тоскливо они воют, как бы предвещая недоброе. Не решается Хансулу оглянуться, не смеет почему-то. Впереди — затянутый пылью, неведомо чего сулящий серый горизонт. Неизвестная судьба впереди.

Там и тут по обеим сторонам пути завихривается пыль. Кустарники, раскачиваясь на ветру; ведут свою протяжную песню. В глаза бьют крупицы песка. Мир, обыкновенно широкий, сузился, в горсточку стал. Что-то все-таки зачинается необычайное — Хансулу страшно.

Тропа между барханами змеится. Чей-то деревянный сундук на краю тамарисковой рощицы остался, распахнутая крышка — как зев дьявола. Хансулу, приблизившись, узнала его:Кулзипы сундук, ее гордость; она всегда его на видном месте в юрте ставила. Все, конечно, его увидели, черный, инкрустированный костью, но прошли молча. Ни отец, ни мать, ни Дау-апа и словом не обмолвились. Лишь Тугелбек на ее спине вытянул указательный пальчик в сторону сундука:

— Ап! Ап!

— Отцу Кулзипы — старому, беззубому, с провалившимся ртом — плохо, оказывается, стало в дороге, не смог идти, вот Кулзипа и бросила сундук, а на ишака отца посадила.

К полудню народ сделал привал в тамарисковой роще. Сбросили люди с себя груз, хворосту насобирали, костерки там и тут запылали, чайники с водой над ними повисли.

Подоспела к привалу и замыкавшая шествие семья Хансулу. Поклажу под кустом расположили, там, где нет ветра, дорожку над головой натянули как тент. Каждый кустарник, считай, пристанище для семьи. Отобедать люди собрались, по привычке старой. Хансулу, когда они еще в песках Айту жили, видела цыганский табор. Так вот народ, под кустами сейчас рассыпавшийся, ей тот табор и напоминал.

Много костров вокруг, кипят чайники, но не слышно запаха мяса, аромата свежего наваристого бульона. Потому громче обычного покрикивают на ребятишек женщины, их раздраженные голоса режут уши. Более всех Катира изощряется:

— Куды прешь, рожа ненасытная! В огонь, гляди, бестолочь, залезет!

Это она собственных детей бранит, которые к костру тянутся.

Какая-то женщина всевышнего проклинает:

— Ни дна тебе ни покрышки, скаредный бог!

За дастарханом Хансулу — две семьи, на дастархане — жареная кукуруза, немного хлеба, кипяток. Только они к трапезе приступили, Дау-апа воскликнула:

— Ойбу-уй, что с ним делать будешь?

Мальчишка с деревянным тостаганом в руке обходил людей за дастарханами. Был в ауле один — Майлибай. Тихоня-тихоней, соломинки, как говорится, у овцы не отнимет, а детей — куча, не то девять, не то десять. Кончились, видать, у бедняги припасы, мальчишка попрошайничать пошел. Отщипывали ему люди от своих запасов, клали в тостаган. Кто-то, видать, неодобрительно его встречал, потому у некоторых дастарханов мальчик не задерживался. Тостаган в его руке — битый-перебитый, мальчишка бос, штаны неопределенного цвета, лет ему примерно десять-одиннадцать. В глаза никому не смотрит, голову, как опустил, так и не поднимает.

— Ау, поближе подойти не можешь? — сказал Пахраддин, протягивая ему с дастархана горсть жареных кукурузных зерен.

Тот, несмело ступая, приблизился. Пахраддин заглянул в тостаган. Хансулу — тоже. Проса и кукурузы со всех дастарханов и горсти не набралось.

— Это ты насобирал?! — спросил Пахраддин, засопев от удивления. Он не верил глазам.

Мальчик кивнул. Из тряпичного мешочка, который лежал под коленом Сырги, Пахраддин отсыпал ему еще горсть. Мальчик тут же, точно боялся, что его остановят, побежал восвояси. Сырга, подняв на мужа усталые глаза, вскинула брови. Пахраддин понял байбише. Понял и протянул растерянно:

— Э-э! Э-э!

Нехорошо ему почему-то стало. Сырга куда-то в сторону показала:

— Вон... еще идет... все раздай, что осталось...

Тихо она это сказала, но — с горечью. Поднял Пахраддин голову. И в самом деле, со всех сторон шли оборванцы.

— Милые вы мои, да куда вы? — громыхнула басом Дау-апа.

Дети боязливо приостановились.

— Идите! Идите! — позвал их Пахраддин. Тон у него жесткий.

— Сокол, — начала было Сырга, но он ее оборвал:

— Прекрати! Умрем, так вместе!

На том разговор и закончился. В каждую протянутую ладонь отсыпал Пахраддин по горсточке зерна.

Отец Кулзипы скончался. Без плача и лишних слов похоронили его люди. Никто и слезы не проронил. Одна Кулзипа всплакнула...

После обеда шествие продолжилось.

За кого Хансулу боялась в дороге, так за Балкию. Убежит — ищи-свищи потом! Но никуда Балкия не убегала пока. Шла послушная, как верблюжонок в поводу. За весь долгий день не заметили за ней ничего подозрительного ни Дау-апа, ни Сырга, и вскоре они оставили ее в покое, прекратили слежку. Но с наступлением темноты показала Балкия, на что способна...

За послеобеденное время путники одолели еще три больших подъема. С вечером для ночлега они заросший ковылем бархан облюбовали. Ишаков, спутав, отпустили на пастьбу, а сами сушняк насобирали, из вьюков укрытие от ветра соорудили. В безлунную густую ночь бархан светился кострами. Между ними сновали человеческие силуэты,

со стороны бархан, похоже, напоминал дьявольский шабаш.

— Ойбуй! — воскликнула Дау-апа, безмятежно пригревшаяся у костерка. — Келин где, о господи! — Про сноху Дау-апа вспомнила. — Балкия! — позвала она. — Балкия-а-а!

Все вскочили. И Пахраддин. Отойдя от огня, дружно кричали в ночь

— Балкия! Балкия!

Тьма непроглядная. Хансулу, присев, вгляделась в ночь. Звонкий женский хохот раздался неожиданно. Хансулу задрожала.

— Там она! — вскричал отец и потопал неуклюже в темноту.

Хансулу побоялась удаляться от стана. За Пахраддином кинулись в ночь и другие мужчины. Голоса, звавшие Балкию, удалялись и скоро совсем заглохли. Хансулу и Сырга постояли некоторое время на краю бархана и вернулись.

Так и не нашлась Балкия в эту ночь.

С утренними потемками Пахраддин сел на ишака и отправился на ее поиски. Лабак-ахуну он поручил продолжать путь, люди, дескать, изголодались, и не стоит их задерживать. Дау-апа, Хансулу, Сырга-байбише остались на бархане дожидаться Пахраддина.

...Не стал Пахраддин утруждать себя поисками следов Балкии. Сразу на тропу вышел, по которой они вчера двигались, взял курс к прежнему становищу. Посветлело, взошло солнце. Перед рассветом дождик проморосил, потому запах влажного песка и молодой травы, только-только прорастающей, бил в нос. Жадно вдыхал Пахраддин земные ароматы. Очень скоро на тропе и след Балкии обнаружился. Босые ступни четко отпечатались на песке. Нигде, получается, и не передохнула бедняжка. Прямиком бежала. Не жалел теперь ишака Пахраддин. Гнал его и гнал. Только во второй половине дня и добрался он до перевала, на котором вчера отдыхал.

Ишачок старательно карабкается на осыпающийся под копытцами подъем. Вот-вот и аул предстанет глазам. Но не хочется Пахраддину, как и вчера, видеть его, не хочется

возвращаться на становище, где и его дом среди прочих, свой собственный, теперь покинутый.

Странное состояние. Необъяснимое. Ишак, он на то и ишак — как увидел аул, так и давай орать:

— Иа! Иа!

Того животное не уразумеет, что аул — мертвый.

Пахраддин повернул ишака к могиле Булыша, одиноко темневшей на невысоком холме. Не огорожена могилка, только прутик кто-то воткнул в изголовье; горка земли вместо Булыша. Незабвенный Булыш!..

— О-о, Булыш... родной мой Булыш! — проговорил Пахраддин, слезая с ишака. — Ты здесь, мой Булыш? Как тебе лежится, родной?

Присев на корточки рядом с могилой, стал читать поминальный аят. Ишак прядал длинными висячими ушами, невдомек ему, что хозяин на пустой вершине потерял.

Еще через какое-то время поднялся Пахраддин, вытер глаза, песчинки с колен стряхнул. Смотрит, вокруг могилы — следы босых ног Балкии. «Вот же горемычная!» Огляделся, увидел ее наконец. Из-за столетника она за ним подсматривала. Отпрянула, как только он ее заметил, в сторону бросилась.

— Балкия! Эй! Постой! — устремился за ней Пахраддин.

Не бежит, летит Балкия по чистому песку, только пятки сверкают; волосы по спине рассыпались, от полных белых икр, мелькающих впереди, рябит в глазах.

— Да погоди ты! Погоди ж, говорю! Ай! Хай! — не поспевает за беглянкой Пахраддин.

А Балкия назад глянет — и дай бог ноги!

— Балкия! Погоди! Балкия! — кричит Пахраддин.

Не слышит его сумасшедшая, она за перевалом скрылась. Одышка у Пахраддина, вот и встал, чтобы передохнуть. Затем на перевал поднялся. Заставил себя подняться. Балкии и след простыл, не видать ее.

— Ну и хлопот с несчастной! — выдохнул он в сердцах, обозревая бескрайний песчаный мир перед собой. Куда ни глянь — валы барханов. — Куда ж она запропала?

Ишак вдруг разревелся. Обернулся Пахраддин, а ишак, им спутанный, удаляется нелепыми прыжками. Тени за ним метнулись, не то собаки, не то волки. Пока соображал Пахраддин, что происходит, ишак, взбрыкнув задом, исчез в низине.

Пахраддин застыл, ошеломленный. «Волки!» Похолодел тотчас от страха. «Откуда?» Вспомнил, как орал на перевале ишак, когда аул увидел: сам, получается, беду накликал. Тьфу!.. Вот же наказание — волков только ему недоставало! Балкия, считай, пропала — как растворилась в песках. Волки, поди, рвут на части серого ишака. Разделаются с ним, к нему, кровожадные, помчатся, что он будет делать? Потрусил Пахраддин к аулу. Сам не знает, как два подъема одолел. Запарился от бега. Боится — не добежать ему. И в глазах темнеет от того, возможно, что не ел давно. И ноги тяжелые, не слушаются.

Вот и падь. К крайней, кикымбаевской, юрте он приблизился, отдуваясь на ходу, когда от ее стены отделилось нечто размером с ягненка и понеслось с воплями прочь. Тьфу, божье создание, крыса! Никогда Пахраддин так не пугался. Мурашки по спине пробежали, так ему жутко стало. Еще две крысы умчались, вереща. Свело от ужаса ноги. Юрта, которой завладели крысы, показалась ему пострашней волков. Обливаясь потом, качаясь на ходу— кружилась голова, — направился к юрте Дау-апы, да по пути, оступившись, ногой в очаг угодил, упал, ушибся. Встал коекак, подумал: «Здесь мне, однако, и конец...» Стряхнув со штанин золу, выпрямился, пошел. За юртой Дау-апы, кстати, его собственная. Дверь и тундик закрыты наглухо, большой черный казан перед порогом лежит опрокинутый, земля изрыта мышами. Нет, к себе он не войдет даже под страхом смерти!

Юрта Дау-апы оказалась незапертой, дверь просто прихлопнули. Но вот открыть ее, войти опять стоило усилий; казалось, она набита крысами. Мерзкие, гнусные твари!..

Выбора не было, сунулся в юрту. Полутемно.. Поежился, ощущение — будто он, живой, в могиле очутился. Да-а, какое тепло в доме, из которого ушел человек?! Пустота...

Старенький, залатанный половичок лежал на гостевом месте. Открыв скрипучую дверь, вытряс его, разостлал снова, закрыл дверь на петлю. Сел на половичок. Уставшее, ослабевшее тело молило об отдыхе. Он и подумал: «Пересплю, солнце заходит, а обратно с рассветом двинусь».

Прислушиваясь к звукам окрест, не заметил, как сомкнулись веки. Проснулся ночью, продрог. Через дыру в тундике виднелись яркие звезды. Сердце по непонятной

причине отстукивало тревожно: «Дурс-дурс...» Что за страх? Старится он никак — всего боится, не думал никогда, что такой трус. Глаза на двери остановились, подозрительные тени под ней скопились. Кто-то как будто затаился там, за ним наблюдая. Пахраддин даже дыхание чье-то услышал. Стал шарить вокруг себя. Сапог подвернулся, который он снял ночью. В щель двери — о боже! — на него глядел чей-то глаз, он ясно его различил.

— А-ай! — вскричал он очумело и метнул сапог. Дверь загрохотала.

Тот, кто за ним наблюдал — дьявол ли, человек ли, — бросился наутек.

— Айт! — заорал Пахраддин, вскакивая с места.

Шорох ног неведомого существа затих вдали.

— О, духи мои! — Пахраддин стал читать молитвенные аяты. Один за другим. Какой уж теперь сон? До рассвета взад-вперед по тесной юрте проходил.

Синие сумерки были вокруг, когда он, взяв палку в руки, пошел из беспризорного аула.

2

Хансулу, Дау-апа, Сырга-байбише не спали две ночи, ожидая Пахраддина. Костер развели на бархане. Кричали, полагая, что Пахраддин заблудился.

— Все из-за сучки этой, запропала б она совсем! Что ее искать-то было? Околеет пусть, — громко выговаривала Дау-апа, искрение огорченная.

Сырга безмолвствовала. Накроется безрукавником, к костру подсядет и на огонь все смотрит, смотрит. С того дня, как, оставив дом, аул, пустились они в путь, отрешилась она от всего, в меланхолическое состояние впала. И раньше немногословная, совсем говорить перестала, как тень передвигается.

С восходом солнца Хансулу ближние барханы обошла, дикой моркови накопала, луку нарвала. Без этих корений, которые хоть как-то перебивали голод, они бы за день остаток зерна в торбе прикончили. Одну луковицу Хансулу положила в рот. Как-никак пища для ослабленного организма, хоть что-то да пожуешь. Ну а морковь, морковь уже еда самая что ни есть. В поисках моркови и удалилась она

заметно от стана. Крик Дау-апы раздался откуда-то снизу. С предрассветными сумерками старуха в брошенный аул отправилась. Вернулась, что ли? Побежала Хансулу, путаясь в длинном подоле, на стан. Увидела с вершины — Дау-апа жаулыком машет. У самого основания бархана стоит. Зовет ее.

Хансулу туда. У подножия бархана, вытянувшись во весь рост, лежал человек. Дау-апа сидела рядом. По чапану — темно-серому — признала Хансулу отца. Занедужил он, с хрипом, надрывно кашлял, слезились глаза. Хорошо, что доплелся до бархана.

Общими усилиями, поддерживая с двух сторон, Дау-апа и Хансулу затащили его на вершину.

— Огня! Огня! — потребовал он.

Развели костер, вскипятили воду, дорожку натянули как укрытие от ветра, дастархан накрыли. Потрескались губы у Пахраддина. Глотнул кипятка, солью сдобренного. От хлеба кукурузного немного отщипнул, жареной пшеницы и кукурузы попробовал.

— Уф! — произносил он всякий раз, как отпивал глоток.

— О алла! О Барак-ата! О Бекет-ата! — громко взывала к духам предков Дау-апа.

Молчал Пахраддин. Теплым одеялом по горло укутался и тянет, тянет взахлеб кипяток. Пропотеть хочет — недуг из себя выгнать.

К полудню стало припекать. Высоко-высоко в небе запел жаворонок, жужжит-звенит мошкара. В песках зелень с первым теплом прорастают. Куда ни глянешь — любимый скотиной ран, верблюжья колючка, солодка, лопух, ковыль, акшатау — вид пустынной полыни. В ближних и дальних падях, промеж холмов прозрачный голубой воздух струится. Цветет-хорошеет пустынная даль. Загляделась на пышное разнотравье Хансулу, перехватило дыхание от красоты, вздохнула.

Долго еще сидел у дастархана Пахраддин, похрустывая жареной пшеницей, запивая ее кипятком, обливаясь потом, затем лег. Сырга-байбише одеяло ему со всех сторон подоткнула.

— Ау! — позвал он через некоторое время.

— Что? — встрепенулась Сырга.

— Что у нас пожевать-то осталось?

Не ответила Сырга. Маленькую черную торбу из коржуна вытащила, бросила перед ним. Упрек своего рода мужу за неурочную хлебосольность.

— И все? — спросил он.

Не ответила Сырга. Отвернулась.

— Ым-м, — замычал Пахраддин. Закрыл глаза.

Женщины притихли в ожидании, что он, хранитель очага, скажет еще.

— Воды сколько?

— Полбурдюка.

— Дау-апа! — Пахраддин еще плотнее запахнулся в одеяло.

— Я слушаю, — откликнулись Дау-апа.

— Дау-апа, я сегодня, похоже, пойти не смогу. Ну а вы с Хансулу идите, нельзя вам задерживаться. Сырга со мной останется... Будем живы — догоним. Воду поделите. Кукурузы... горсточки две... оставьте. Остальное забирайте, и постель... Сколько унесете. Собирайтесь!

— Коке, может, не надо? — подала голос Хансулу. — Может...

— Довольно! — отрезал Пахраддин. — Шевелитесь!

Сырга-байбише, безмолвствовавшая, смахнула украдкой слезы.

— Дело человек говорит, — заключила Дау-апа и вздохнула. Резко обозначились морщины на ее лице. — Не одни мы, дети с нами.

Так Хансулу и Дау-апа с малышами двинулись в путь. У Дау-апы на плече коржун, у Хансулу в руках торсык[1] с водой, узел с одеждой.

Безлюдная даль. Уходит Хансулу, оглядываясь на ковыльный бархан, на котором отец и мать остались. Мир будто растворился в ее горючих слезах, туманный, серый, он плавился, как свинец. Все под небом и на земле будто замерло, лицезрея ее, готовую умереть от собственной беспомощности: ничем, абсолютно ничем не могла она помочь дорогим ей людям.

Долго не просыхали глаза ни у нее, ни у ребенка.

Дау-апа шла впереди с длинной палкой в руке, с тяжелым коржуном на спине. Чуть пригнулась под его тяжес-

---

[1] Торсык — сосуд из козлиной шкуры.

тью. Помалкивает. Только когда Хансулу успокоилась, произнесла сочувственно:

— Э-э, доченька моя, крепись. Жизнь... она такая. Лишь бы аллах, скажи, без помощи не оставил. Я старше тебя, э-э, чего только не видела, скажи...

Мягко, очень мягко звучит грубый голос старухи.

Тропа между барханами вьется, а то по гладкому солончаку тянется. Чем дальше они уходят, тем чаще попадаются верблюжья колючка, тысячелистник, тамариск, чий. И торангыл пошел — высокий, крепкий, густым частоколом в высоту тянущийся. Все эти приметы напоминают, что пустыня, это, казалось бы, нескончаемое песчаное царство, остается позади.

К вечеру дети запросили хлеба. Дорога по солончаку шла пообочь рощицы тамариска — ажырыка, степного камыша с утолщением у основания. Тамариск с человеческий рост, под ним и передохнуть можно. Да и ветра нет. Сбросив с плеча коржун, Дау-апа распрямилась, разминая затекшую поясницу.

— Ну-ка, доченька, что там у тебя, развязывай-ка узелок! — повелела она.

Мать Сырга и воду, и еду поделила. В узелке пол-лепешки кукурузной и с горсточки две жареной пшеницы. Весь провиант. Хансулу и передала его старухе. Дети, завидев хлеб, потянулись, было к нему, но Дау-апа на них прикрикнула:

— Терпение! Терпение!

Она бережно расправила платок с провиантом, руки у нее темные, ссохшиеся, пальцы корявые, в узлах.

— Потерпите чуток, ребятки!

Пшеницу она сначала на четыре, потом на восемь, а потом на двенадцать частей поделила. Поглядеть со стороны, так будто на бобах старуха гадает. Ни Хансулу, ни дети не понимают, зачем она это делает — запас-то скромный, надолго его не хватит.

— До Коныpата, самое большее, еще две ночевки, гм-м, — рассуждала сама с собой старуха, не обращая внимания на спутников. — Та-ак, — разломила пополам и хлеб.

Запах лепешки защекотал нос. У Хансулу слюнки потекли. Две половинки лепешки Дау-апа еще на две половинки разделила. Детям в конечном счете по крохотному, с их ладошку, кусочку досталось.

— Дорога длинная, милые мои, потерпите. Придем и будем кормиться, — сказала она.

Хансулу положила в рот щепотку пшеницы. Будто не зерна, твердые, хрусткие, а кусочки сливочного масла — тают они во рту. Только сейчас почувствовала, как голодна. О-о как пахнет хлебушек-то!.. Не оторвать от него глаз.

Дау-апа собрала платок в узел. Все глаза по-прежнему на нем. Дау-апа его в коржун втиснула. Потом они встали.

Тамарисковая рощица вскоре осталась позади. Снова тропа пошла, она теперь огибала редкие песчаные подъемы со столетником и караганником.

3

Пахраддину привиделся сон.

Будто прежние это дни, когда не было смуты в народе. Сплошь белые юрты на берегу озера. Тьма народу в ауле. Празднество какое-то, радостный день. Все ждут, что скажет Пахраддин. Ему одному всеобщий почет и уважение. Как бий решение свое сказать он должен. Речь, похоже, держать будет. Особенная речь его, из самой дали, из глубины веков начнет он разговор: откуда кочевой народ идет, кто его прямые предки, ибо тот безроден, кто своего происхождения не знает. Не для сегодняшней ли речи пыль веков ворошил, по памяти, по крупицам историю народа восстанавливая? Давно чувствует: тяжко ему одному с тем, что накопилось за годы изнурительной работы, душа, знаниями просветленная, откровения требовала. Этот час настал. Раскрой он рот — слова потекут сами. Прокашлявшись, повернулся к народу, небывалое воодушевление он испытывал. Только начал говорить, как... проснулся.

Пахраддин лежал на спине. Приподняв голову, оглядел округу. Странное состояние им владело, не знал он, верить или не верить тому, что он, Пахраддин, здесь, в пустыне, под открытым небом. Верь не верь, но под боком земля, а над головой небо, черно-синее, с начинающими проступать на нем звездами; оно летит к нему, вот-вот накроет с головой. Зажмурился Пахраддин. Жаль, жаль, что все оказалось сном. Не желал он мириться с тем, что несла реальность.

— Уф! — выдохнул он, опуская голову на подушку.

Сна как не было. Зато другое ожило, начиная с того дня, как они, побросав родные дома, аул, ушли в поисках спасения к городу, и кончая тем, что с ними за этот долгий, тяжкий переход стало. Злую шутку сыграла с ним судьба, вынуждая мотаться по безлюдью, в конце концов на этот песчаный гребень в Каракумах забросила. О всевышний! Не сколько-нибудь, а шесть десятков лет длилось его существование в этом мире, так неужто безвестный бархан и есть завершение жизненного пути?! Почему он здесь? Почему лежит? Да и пойдет-то куда, если встанет? Где его пристанище? В каких горах, в каких долах его ждут?!

Он смотрит на черно-синее необозримое небо с редкими звездами, они светят слабо, словно свечи. То же это небо — высокое, бездонное, знакомое ему исстари; те же, знакомые ему, звезды. Такие они были, когда он, Пахраддин, мальчишкой бегал, и сейчас они те же. Не изменились. Какая ширь! Безмолвная ширь! О всевышний! Жизнь-то человеческая, получается, на то и уходит, чтобы всякие узлы распутать, дать тропкам возможность нужное направление обрести. Сколько светлых голов за такими потугами сохнет, сколько волос седеет! Ненасытен человек в мечтах, неймется ему в широкой вселенной, мнится ему, что на нем одном мир держится, что вечно ему по бренной земле шагать. В какие тяжкие он не пускается, чтобы свою ненасытность удовлетворить! Лжет, льстит, пресмыкается, угодничает. О сострадании молит, сам порой сострадания не зная...

Так думал Пахраддин, глядя в тишине на звездное черно-синее небо. Шорох отвлек его. Забыл, бедняга, что он не один. Что рядом душа живая. На шорох повернулся. Кто-то к нему шел, шаркая кожаными кебисами.

— Сырга? Ты? — спросил он. Дрожь просквозила в голосе.

— Я, — отозвалась Сырга чуть слышно. Ослабела она за последние дни.

— Где ты ходишь, душа моя? — Он с трудом проглотил горячий ком, подкативший к горлу.

— Луку нарвала. Хотела, чтобы поспал ты.

Нежность захлестнула Пахраддина. Задержался глазами на байбише. Долго на нее глядел. Жаулык Сырга под подбородком повязала. Холщовую торбу, в которой был

лук, сняла с плеча, на землю опустила. Молчит, неслышно двигается, точно тень. Захолонуло сердце Пахраддина, перевернулась душа. О, время, время, вспять повернувшееся, разве не та это Сырга, что некогда выступала павой?! О, время, время, все довелось увидеть, и то даже, о чем никогда не помышлялось! Милая, дорогая сердцу Сырга! Несравненная среди женщин, Сырга! В юности тебя с райским цветком сравнивали, с небес, говорили, сошла. Тот, кто твою красоту видел, слышал твой мелодичный смех, не мог тебя забыть, готовый с той минуты всем ради тебя пожертвовать. Заполучить тебя — значило звезду с неба сорвать. Он, Пахраддин, сорвал, единственным счастливцем на земле считал он себя. С тех пор много светлых лет они прожили вместе, светлых потому, что Сырга, как солнышко, освещала его жизнь даже тогда, когда складывалась она не столь удачно. Добрая, незабвенная Сырга! Чуткая, как лань, Сырга! Уж лучше бы вытечь, глазам Пахраддина, чем видеть эту холщовую торбу на твоем плече!..

Застонал Пахраддин, как раненый лев, вздохнул обреченно.

— Сокол мой, ты что? — Сырга присела рядом.

Как неотрывно она смотрит, какая преданность в глазах! Сама как тень, ослабла, а застонал он — в мгновение ока его, Пахраддина, пожалела. Его жалеет. Не себя. О Сырга, бесценная спутница жизни. Сырга! Прости. Чем тебя твой суженый удостоил, которого ты как бога чтила?! Холщовым мешком, в который ты, как бродяжка, лук собираешь?!

— Уф! — выдохнул Пахраддин, длинно выдохнул, будто дух испускал.

Испугалась Сырга.

— Бисмилля! Бисмилля! — зашептала она, склоняясь над ним. — Что с тобой?

— Уф, алла! Чем же я прогневил тебя? Уф! — заворочался тяжело Пахраддин, оторвал голову от подушки. Плечи ходуном ходят, дрожь во всем теле. Из глаз градинками слезы катятся. — Чем я не угодил тебе, аллах? Что я во зло человеку сделал? В чем моя вина, скажи!

— Бисмилля! Бисмилля! — шептала Сырга. Тоже расплакалась, обняла мужа. — Успокойся, сокол мой, успокойся!

Широкая грудь Пахраддина обнажилась — так он метался. Сырга заботливо прикрыла ее. Схватил Пахраддин жену в объятия, посадил перед собой.

— Почему, почему не проклинаешь меня?! Грешен ведь я, грешен!.. Перед людьми, которые из-за меня бродягами стали, перед тобой, перед детьми. Тебя погубил, людей...

— Не надо, мой сокол. Божье это дело...

Тихий голос Сырги действует утешающее. Примолк Пахраддин. Прижалась к нему Сырга, крепко прижалась.

— Разве ж плохое ты задумал? Ну с места снял, так ради них же, ради людей ты это сделал! Те, что не пошли, тоже ведь известно, как живут...

— Не знаю, уф! Беда зацепит — не отпустит, говорят. Вот и нас с тобой зацепило, конца нет. А теперь ровно нищие...

Оба потом, скрытые ночью, погрузились в думы. Долгие это были думы.

— Люди, говоришь... Где они, эти люди? Почему не поищут сейчас, когда ты здесь, без сил? Хватился бы кто, пришел. Нету ведь.

Ясно произнесла это Сырга, с горечью в голосе. Изумился Пахраддин. Немногословная Сырга, зря голоса не подаст, а вот — выдала. От обиды, выходит, великой. Впервые Пахраддин видел ее такой. Верно она сказала про людей-то. Но, подобно ей, помощи от тех, что ушли, а может, и дошли уже до Амударьи, он не ждал. Какая от них помощь? Им, несчастным, самим бы уцелеть да до родины добраться. Там, глядишь, и власть их приголубит, избегут, бог даст, голодной смерти.

— Байбише! — позвал он.

— Ау? — откликнулась Сырга.

— Тронемся?

— А ты что... можешь? — Сырга не скрыла радости.

4

Если человек голоден, без сил, каждый лишний шаг ему в тягость. К обеду следующего дня Хансулу почувствовала, что близка к умопомешательству. Как ни рассчитывали они с Дау-апой, а хлеб кончился. Когда сын, прося хлеба, зашелся в плаче, она подумала, что не выдержит этого, лишится рассудка. Потом понемногу привыкла, стала терпима

к детскому плачу. Да и мальчики, слава богу, притихли постепенно — все равно им ничего не давали, сколько ни хнычь. Сына она то на себе несла, взвалив на спину, то вела за руку. По дороге подкармливала временами, кладя ему в ротик по зернышку пшеницы, так курочка за цыпленком ходит. Ребенок, удовлетворяясь зернышком, засыпал на спине. У самой от голода темно в глазах, едва плетется, из последних сил идет. Впереди, постукивая палкой, чуть пригнувшись, Дау-апа ковыляет. Дау-апа... удивительной воли человек! У Хансулу от изнеможения колени подгибаются, присесть хочется. И присела бы, да не делает этого — не смеет при Дау-апе, стесняется. Сурова Дау-апа, не улыбнется. Идет... идет... Хочет дойти, вот и идет. Потому Хансулу и заикнуться не смеет, что устала. А что? Возьмет да и одернет Дау-апа: молодая, скажет, а раскисла похуже старух, а ну-ка, пошевеливайся! Никогда на Хансулу никто не кричал, вот и идет, подстегиваемая собственным самолюбием, не хочется ей выглядеть слабее семидесятилетней женщины. А с другой стороны, как подумает о малыше, к ее спине прилепившемся, сама понимает, что не может она не идти. Не имеет права. И Шеге в письме, которое тогда свекор привез, наказал: «Обо мне не думай. Сына береги».

Дау-апа справляется временами:

— Устала, детка?

А у Хансулу и сил-то ответить нет. Молчит. Дау-апа ответа не дожидается:

— Потерпи, милая, — говорит. — Скоро отдохнем! Скоро!

Хансулу она подбадривает.

К обеду они до вытянутой в длину лощины дошли, она сплошь заросла тамариском, торангылом, тальником, тут и остановились. Одеяльце расстелили, детей на него усадили. На платочке перед ними — пшеница. Самая малость. До чего же ароматна жареная пшеница! Тают зернышки во рту, как мед. Все подобрали.

Детям еще хочется, у бедняжек глаза горят. Но Дау-апа объявила:

— Хватит! Перекусили!

И собрала платок. Будто и не было его. Облизываются детишки. Переглядываются. Не в силах Хансулу их голодных, вопрошающих глаз вынести — отвернулась, прослезившись.

Пустыню знойную разглядывает. Чисто небо, ясно. Солнце тепла не жалеет, льет его щедро на холмы, овраги, лога. Земля в травах, в цветах, даль зыбким маревом затянута.

Тяжесть на Хансулу навалилась необыкновенная, прилегла она, коржун под голову положила. Тотчас провалилась в сон, ни о чем подумать-то не успела, только выдохнула:

— Уф!

5

За несколько часов Пахраддин с Сыргой прошли немало. Небо закрыли тучи, дорога под ногами угадывается с трудом. К полуночи уперлись в такыр, и тропа исчезла, будто ее и не было. Сбились, видно. Останавливаться не стали, продолжали путь в направлении, в каком шли. Когда забрезжило, впереди миниатюрный лужок открылся, густо поросший полукустарниками с мелкими узкими листьями, на кончиках они закручивались в колечки. Расстелив одеяльце, передохнули на лужайке, а когда солнце поднялось над землей на длину лошадиных пут, перебросив через плечо коржун, двинулись дальше.

К полудню на невысокий бархан с караганником и столетником набрели. Между кустарниками Пахраддин ростки дикого лука увидел. Замаявшись, приостановился.

— Что, мой сокол? — спросила выбившаяся из сил Сырга.

Пахраддин смотрел на далекий, окутывавшийся дымкой горизонт.

— Ух! — выдохнула Сырга, валясь на мелкий песок.

— Гм-м, — Пахраддин погладил ладонью усы, — Есеколген мы прошли. От него до оврага Жидели рукой подать. Но где овраг? А почему бархан? Откуда тут бархан?..

Сырга, не в силах говорить, головой к коржуну прислонилась, смежила веки. Пахраддин, не веря себе, на бугор повыше взобрался, оглядел округу, уже потонувшую в мареве. Досада какая! Напрасно они ночью двигались. Днем разве бы сошел Пахраддин с тропы? По бездорожью и то мудрено вот так в сторону уклониться. Что с ним? Он заплутал? Может, когда вздремнули перед рассветом, он, не совсем проснувшись, в другом направлении пошел? Не

поймет, ничего Пахраддин. Что он Сырге-то скажет? Какими глазами на нее посмотрит, когда откроться придется, что они плутают? Этого им только не хватало...

6

Хансулу начала уже сомневаться в том, что они когда-нибудь набредут на жилье — не кончалась дорога. Вымотала она ее.

— Детка, ты идешь? — спросила Дау-апа.

Впереди она, как всегда. Солнце на второй половине неба, повсюду частоколы тальника, тамариска, чия. Между ними и петляла тропа.

— Детка, ты видишь, а? А мы вроде уже недалеко от людей.

Перевела дух Хансулу. Впереди, по правую сторону от дороги, далеко-далеко дом стоял, его стены наполовину обрушились. И в стороне — стены обвалившиеся.

— Прислушайся-ка!

Прислушалась Хансулу. Где-то далеко-далеко кричал ишак. Дивной мелодией почудился ей этот крик.

Город возник, когда солнце склонилось к закату, расстояние до него — в один перегон молодняка. Дымки из труб струились. Это был Коныpат. Они смотрели на него с высокого, окруженного тамариском бугра. Обессиленной голодом и дорогой Хансулу раскинувшийся там, вдали, Коныpат показался невообразимо большим. Один дом на другом, да как их много! Пестрота в глазах от необыкновенного скопления крыш. Для Хансулу, которая видит город впервые, Коныpат — чужой, неведомый ей мир.

— Город городом, детка, но только нас там никто не ждет, — сказала Дау-апа трезво и начала зачем-то спящего на спине Едиге укачивать.

«Ну вот... — подумала Хансулу. — Пусть не ждут. Но зачем мы так спешили в незнакомый город?»

Желудок сводило от голода.

— Не будем, детка, ночью шарашиться там, где нас не ждут. Воров, я слышала, много нынче, да и голодных, таких как мы, хватает, говорят. Во-о-он, — она показала куда-то на запад, — мазар, видишь? Дауғ-ата там покоится. Там и переночуем.

Кладбище на одном из ближних мысов Устюрта. Масса квадратных сооружений с ушками по углам в багровых закатных лучах купаются.

— Слышала ль ты, детка, не знаю, но склеп, к которому мы идем, тоже нашему знаменитому предку принадлежит, — сказала по дороге Дау-апа. — Бараку. От Барака — Асау, от Асау — Даут. Поняла? Дух батыра Барака в сына Асау вселился, а потом во внука Даута. Вот и помолимся духам предков. Помогут, может...

Молиться так молиться. Уж если есть духи, готовые выслушать Хансулу, так она обо всем им расскажет, много горечи скопилось в сердце...

На плоском отлогом кургане склеп. С вечерними сумерками и подошли они к нему. Много могил квадратных с четырьмя ушками по углам, огромными валунами огороженных, с различными узорами и росписями. Тишина на кладбище, оно незримо растворяется во мгле.

На западном склоне кургана — глинобитный домик с дерновым покрытием вместо крыши. Правду сказала Дау-апа, дом пустой, заночевать в нем можно. Дверь снаружи лопатой подперта. Для прихожан, видно, дом, для тех, кто духу предков приходит поклониться.

Ребятишек на землю спустили, освободились от поклажи. Дети с интересом осматривали незнакомое место. Дау-апа заметно оживилась.

— Ну вот, мальчишечки, — говорит, — и домой пришли!

Она взялась за лопату, подпиравшую дверь, да тут что-то захлопало-затрещало по крыше, над самой притолокой двери. Птица, шелестя крыльями, нырнула в тень, пропала.

— Тьфу! Тьфу! Тварь божья! Сплюньте, милые, если напугались, с глаз долой и из сердца.

Дверь со скрипом и визгом распахнулась, открылся зияющий черный проем, туда и Дау-апа не решилась шагнуть.

— Э, да уж быть мне жертвой! — проговорила она. — Священные птицы, сказывали, в таких местах обитают. Эта, поди, из них. Бисмилля! — и шагнула через порог.

Отважная женщина Дау-апа! Хансулу в стороне стояла, крепко за руки детишек ухватила, страх и надежда боролись в ней. Ветер поднимался, небо тучи заволакивают, как бы дождь не пошел...

Дау-апа искрой из кресала осветила на миг помещение и воскликнула:

— Э, слава тебе, господи, так и есть, так и есть! Живем! Хансулу! Иди, детка, сюда!

Затрепетало сердечко у Хансулу. Голос у Дау-апы такой, будто она дастархан, полный яств, обнаружила. Устремилась Хансулу на зов, волоком детей за собой потащила. Но, кроме Дау-апы, зажегшей керосинку у порога, ничего, что порадовало бы глаз, не увидела в полутемном доме. Дастархан Хансулу искала, хлеб.

— Видела? — ликовала между тем Дау-апа, кивая на керосинку.

На полу — старая камышовая подстилка, поближе к двери — казан, кумган.

— Бисмилля! — произнесла Дау-апа и подняла крышку казана. Вгляделась. — Э, вон и вода, детка! — обрадовалась она.

Но Хансулу другого ждала. Хлеба. Есть ли в этом доме хлеб? Вот что ей хотелось узнать. Хлеба и только хлеба искала она. Одно-единственное чудесное слово хотелось бы ей услышать: «Нан»[1]...

Понимала Дау-апа, чего хотелось Хансулу, блуждавшей глазами по комнате, малышам, не сводившим с нее голодных взглядов. Вблизи от жилья, от людей голод еще острее, еще нестерпимее. Понимала это старая женщина и потому все углы обшарила — на всякий случай; вместе с ней от стены к стене двигалась ее огромная тень.

Дети потеряли терпение.

— Что ты ишешь, аже? Нан? — спросил, Едиге.

— Терпение, терпение, детки! — ответствовала Дау-апа. — Сейчас разведем огонь... Ой-хой! Чаю вскипятим, ой-хой! Чаю горячего попьем!

Вышла с кумганом в руке. Платок с жареной пшеницей при ней. Не говорила она никогда, сколько ее там. Рачительна Дау-апа, но, по предположениям Хансулу, как раз сегодня и должна была она кончиться. С чем они будут пить чай? Загадка. Но своим видом Дау-апа вселяла надежду. Словно колдует у очага, непременно к ужину что-то будет. Расфыркался на огне кумган.

---

[1] Нан — хлеб.

— Кипит! — подалась к старухе Хансулу.

— Кипит! — подтвердила Дау-апа. — Унеси-ка его, детка!

Хансулу тряпкой подхватила кумган, унесла. Но не кумган был потребен Хансулу. Чем Дау-апа ребятишек потчевать собралась? Вот что ей хочется узнать. Унося исходящий паром кумган, она все оборачивалась, но по лицу Дау-апы, непроницаемому, точно маска, разве догадаешься, что их ждет?

— Нан!

— Нан! — развереща́лись мальчишки, завидев ее с кумганом.

— Терпение! Терпение! — тоном Дау-апы оборвала их Хансулу и на очаг поглядела. Если Дау-апа не сотворит сейчас чего-нибудь спасительного, они, сорванцы, по частям ее разнесут, с потрохами съедят. Чтобы как-то их занять, она достала пиалу, поставила на дастархан, другую достала, третью. Бросила в кумган щепотку соли. Удары послышались снаружи:

— Дурс-дурс...

Мальчишки, заинтересованные, посмотрели на дверь. Кроме пиал, нечего ставить на дастархан. Хансулу смешалась, не в силах глядеть на голодных детей, отвернулась от них.

Ветер перед самым порогом закружил. И следом Дау-апа в топорщащемся на ее голове грязном жаулыке показалась. Узелок в руке. Не тот, к которому они привыкли, другой. «О алла!» — пронеслось в голове Хансулу, и она закрыла в изнеможении глаза, земля, показалось, качнулась под ней.

— Бисмилля! Ну вот... — сказала Дау-апа, присаживаясь у края дастархана, и развернула платок. Курт белый-белый, раздробленный на кусочки. — Пососите, лучше всякой еды. Только не спешите.

И всем по кусочку с ноготок раздала. Накинулись дети на курт. «Чаем» не забывают его запивать. Нет-нет да и поперхнутся.

— Кому сказала — не спешите! Сосите!

Сдобренный солью кипяток давал особый привкус тающему на языке лакомству. Хансулу показалось, что она молоко пьет. Да ведь и курт-то — производное от молока.

Горячее молоко растекалось по жилам, согревая тело, душу. Испарина на лбу проступила. И глаза лучше видеть стали, и в голове какое-то просветление наступило.

Усталость почувствовалась после ужина: набрякли веки, отяжелели руки и ноги. Дау-апа встала и прикрыла дверь.

Хансулу, обняв сосавшего пальчик малыша, упала на камышовую подстилку где сидела. Веки сомкнулись сами собой. Медленно погружалась она в состояние, когда соразмерить что-либо нет уже никаких сил, тем более — думать, откуда идешь, где находишься, куда направишь стопы свои завтра...

7

Открыла Хансулу глаза и видит: лежит она в старой, заброшенной хибаре с насквозь прокопченными стенами и потолком. От утренней свежести в доме прохладно. Съежился во сне Тугелбек, одежда на нем немыслимого цвета, до того грязная. К нему Едиге приткнулся, тоже чумазый. Больно на ребятишек таких неухоженных глядеть. Дау-апы на месте нет.

Вышла Хансулу, а Дау-апа на коленях перед мазаром Даут-батыра сидит, Коран читает. Хансулу присела рядом. Обе, глядя на восток, в сторону проступающего утра, обет поклонения духам предков исполнили. Проведя руками по лицам, встали. На Конырат посмотрели, который отсюда, с кургана, как на ладони виднеется. Не пробудился еще город, но везде уже кричат петухи. Видимо-невидимо подпирающих одно другое глинобитных строений, островками между ними — тутовые деревья.

Местность до города равнинная, множество тропинок ее пересекают. Белыми пятнами лежат такыры.

— Ну, дочка, одному богу вверяемся. Трогаемся! — сказала Дау-апа, не отрывая глаз от предутреннего города. — Пока дойдем, и рассветет, и солнышко встанет...

Взвалив на спину полусонных ребятишек, подобрав узлы, двинулись женщины по утренней зорьке к городу. Пока добрались, из-за горизонта солнце выплыло, щедрое оно народилось, лучистое. Там и сям люди на улицах показались, первые пешеходы, город свою суетную жизнь на-

чинал. Лают собаки, мычат коровы, ревут ишаки. Тощий старичонка на скрипучей арбе везет сено; ишак, впряженный в арбу, такой же дохлый, как и его хозяин. Шумливые молодые женщины в каракалпакских платках-орипеках за город уходят, кетмени у них на плечах.

— Ну, детки, вот мы и в Конырате! — проговорила Дау-апа. — Сейчас на базар пойдем. Ну-ка, сами теперь давайте ножонками! — С этими словами она опустила на землю Едиге, а Хансулу — Тугелбека.

На узкую улочку вышли, с двух сторон ее узкие глинобитные дувалы теснят. Для Хансулу открылся некий сказочный мир. Все дома здесь за глинобитными стенами. Вьются из очагов дымы. «Вот он каков, город!» — думает она, боязливо озираясь по сторонам. Дау-апа, как выяснилось, была на базаре в Конырате, давно, правда, говорит, и всего раз. У Хансулу вскоре закружилась голова. Если бы не Дау-апа, пропала б она тут! Сколько народу! Вон те женщины в орипеках — каракалпачки, а эти, накрытые чапаном так, что лица не видать, узбечки, должно быть.

Так и шли они, все примечая по сторонам, когда вдруг в нос нежданно-негаданно запах печеного хлеба ударил. О создатель!.. Запах настоящего хлеба, только из печки!

— Нан?!

— Апа, нан? — расшумелись наперебой ребятишки. В той стороне, откуда шел запах, валил из-за дувала дым. Обезумели мальчишки. К дувалу помчались — так овцы, за зиму отощавшие, к сену несутся. Не поспела Дау-апа за парнишками, отстала.

Первым Едиге до ворот добежал. В щелку заглянул. И Хансулу заглянула. Не ошиблись они. Молодая каракалпачка, орипеком покрытая, вынимала из круглой тандырной печи румяную лепешку, которую на деревянное блюдо опустила.

— Нан!

— Апа, нан! — распищались опять дети.

Дау-апа подоспела.

— Отойдите! — потребовала она и застучала в калитку кулаком. — Здесь, что ли, пекут?

— Здесь, здесь, — отозвалась Хансулу.

— Во-он, — показал пальчиком в дырку Едиге.

Калитка открылась. Высокая смуглая каракалпачка, наполовину просунувшись в дверцу, поглядела на них настороженно.

— Доченька, мусульманской ты крови, гляжу, уважь... Продай хлеба! — сказала Дау-апа и сунула ей в руки мятую, измусоленную вконец денежную бумажку.

Замешкались женщина от неожиданности, глядя то на деньги, то на детей, хлопавших глазенками.

— Бога ради, доченька! Продай хлеба! — взмолилась Дау-апа.

— Яхшы! — бросила женщина по-своему, что значило: «Хорошо». Сняла полотенце с блюда, отдала им лепешку.

— Ну, детки, пошли! В сторонку отойдем! — объявила Дау-апа.

Под дувалом устроились. Дау-апа лепешку на две, потом на четыре части разделила.

— Мне!

— Мне! — визжат мальчишки. Им дела нет до людей, проходящих мимо. Они уминают за обе щеки мягкий, еще горячий душистый хлеб.

Не думала в ту минуту Хансулу, что вкус горячего хлеба, который она ела на улице под чужим забором, запомнится ей навеки. Не пробовала она, кажется, ничего вкуснее. Мягкий, податливый хлеб таял во рту. Удивлялась Хансулу, что не уяснила для себя одной-единственной великой истины: уж коли лежит на твоем дастархане вот такая румяная лепешка, то все превратности судьбы ничего не стоят! О создатель!

Не насытились дети кусочком, который получили, заканючили. Хансулу и Дау-апа, переглянувшись, отдали им то, что сами не доели.

— Давайте, детки, трогаться! — со вздохом сказала Дау-апа.

Отряхнув вещи от пыли, женщины нагрузились ими, пошли той же улицей дальше. Спрашивали у встречных, где базар. Улочка — извилистая тесная. Народу много, на ишаках большей частью едут. Всем на базар надо: кто барана гонит, кто козу. Чем глубже в город, тем больше запахов...

Стали и казахи попадаться, такие же худосочные, как и они; иные взрослые на земле сидят, прислонившись спиной к дувалам, а их дети милостыню у прохожих выпра-

шивают. Встречались и такие, что бездыханными валялись. Дау-апа шептала что-то набожно.

Вот и базар. Шум, гвалт, разговоры, суды-пересуды, кто-то продает, кто-то покупает. Крепко ухватили женщины малышей за руки, в самой толчее пробираются. Разноголосые выкрики кругом:

— Берите! Тушпара! Горячая тушпара! Берите!

— Айран! Кому айран! Подходите!

— Горячая самса! Горячая самса!

— Хлеб кукурузный! Кукурузный хлеб! Налетай!

Едиге и Тугелбек возле женщины застряли, которая самсой торговала. Не утянуть их.

— Аже, нан! — твердят они.

— Ну, вот что, миленькие, — заявила тогда Дау-апа, — денег у меня больше нет. Понятно? Кончились. Только если...

Поняла Хансулу, на что Дау-апа намекает — выкладывай, дескать, и ты денежки, самое время, но не было у Хансулу ничего, кроме золотых серег в ушах да широкого серебряного браслета на руке. Отвела она старуху в сторону, сняла серьги, в ладонь ей вложила.

— Продайте, апа! Сгодится на хлеб, на другое.

— Денег нет, что ли? — Дау-апа озабоченно смотрела на серьги в своей широченной ладони. — Ну, пошли! Цену сначала узнаем...

К вещевому ряду направились.

— Повезло нам — базарный день, — сказала Дау-апа. — По сторонам гляди, может, кто знакомый встретится.

Казах в верблюжьем чекмене и мерлушковой шапке, торговавший дровами, не был им знаком. Рядом верблюды лежали. Дау-апа спросила его о том о сем, тот, дьявол, насыбай под языком держал — зашепелявил:

— О-о, башмачи... О-о, голодали, говорите... О-о, не приведи бог! Ты, мать, на берег штупай, Ашылбеков там, из Кажахштана...

— А как пройти туда, на берег?

— О-о, так вот он, вот! Прямо-прямо...

Вопль тут чей-то раздался:

— Милиса-а! Милиса-а! Вай-вай!

— Милиса! Милиса!

Весь базар многоголосым «милиса» разразился.

Хансулу, засмотревшись на степняка-казаха, не заметила, как ускользнул Едиге — только ведь, шельмец, рядом торчал. Увидела мальчугана там, откуда вопли неслись, его за руку женщина держала, та, что самсой торговала. Вскрикнула Дау-апа:

— Ойбай-ай, да ведь это мой!

Хансулу за ней устремилась. Торговка крепко держала Едиге. Народ уже возле нее собрался.

— Сдать его надо!

— В милису шпану! — раздавалось на местном наречии.

— Много их нынче развелось! — орал пухлый торгаш, махая руками.

Едиге верещал как зайчонок.

Дау-апа, растолкав всех, подалась к торговке:

— Пошла ты прахом, стерва, отпусти мальчонку!

Толстопузый пухляк с торчащими в разные стороны ушами преградил ей дорогу, крича:

— В милису таких, в милису!

— Да пропади ты, пошел с дороги!

— Нет! Нельзя! Милиса! — продолжал вопить толстопузый и толкнул старуху изо всей силы.

Этого было достаточно, чтобы Дау-апа врезала ему своим кулачищем по уху — торчащему, красному:

— На тебе милису!

Скрючился лопоухий на земле. Чалма с головы полетела. Все, кто за этим наблюдал, покатились со смеху. Торговка, испугавшись старухи, тотчас отпустила Едиге. Тот, разревевшись в голос, в широких бабушкиных объятиях спрятался.

— Не надо, родненький, не надо! — успокаивала она его, прижимая к груди. — Не реви! Наревешься еще!

Поднялся поверженный на землю торгаш. Чалму отряхнул.

— Вай, убьет ведь этак, а? — произнес он красный от стыда.

— Вай, где милиса? — подхватила в тон ему торговка.

— Здесь милиса! Считайте, что я — милиса! — послышался тут чей-то голос, и из толпы выступил среднего роста мужчина, с выбивавшимися из-под черной кожаной кепки каштановыми волосами. Черный кожаный плащ на нем. Увидев идущего к ней солидного человека, торговка растерялась.

— Сколько он у вас съел пирожков? — спросил он и полез в карман.

— Да маленький съел. Маленький совсем, — затараторила та испуганно.

— Вот деньги. И все оставшиеся давайте.

Женщина, заполучив деньги, засуетилась, стараясь угодить необычному покупателю. Его два красноармейца сопровождали, она и это увидела. Мужчина все оставшиеся пирожки в газетный кулек сложил и отдал их мальчишке, сидевшему на руках бабушки, все еще всхлипывающему.

Изумились зеваки. Не меньше были изумлены и Дау-апа с Хансулу.

— Пойдемте со мной, апа! — позвал человек в кожаной кепке и плаще и сам первым пошел с базара.

Два красноармейца взяли вещи у Дау-апы и Хансулу.

— Откуда вы, апа? — спросил мужчина в плаще.

— Э, сынок, трудно сказать, откуда мы, — разговорилась та. — Из каллектепа сбежали. Потом басмачи ограбили. Бродяжки мы, сынок, бродяжки...

— Так мы и полагали, апа. Эти джигиты доставят вас сейчас на берег. Там еда и кров. Не возражаете?

— Да что ты, голубчик, зачем же возражать? Если еда, если дом, зачем возражать?

Две упряжки стояли на улице. В одну женщин с детьми посадили, на облучок молоденький красноармеец взобрался, усики у него только-только пробиваются. Оказавшись в арбе, женщины не хуже мальчишек на кулек набросились. Слова не проронили, пока ели. Только когда кулек опустел, Дау-апа и спросила у красноармейца:

— Сынок, как этого господина зовут?

Джигит усмехнулся:

— Этот «господин» — Абдолла Асылбеков. Секретарь КазЦИКа. Из Алма-Аты.

Арба на солончак уже выбиралась в северной части города.

— Кто бы ни был, — заключила Дау-апа, — добрый он человек, сердечный человек. Дай ему бог здоровья...

Джигит пояснил:

— Многие с казахской земли бежали, вот как вы. Асылбеков и приехал специально, на родину хочет вас отправить.

— Э-э, доброму человеку — добрые дела, — закивала головой Дау-апа.

Хансулу уже просветленно глядит на мир, залитый солнечным светом: на тамарисковые рощицы, гладь полей, глинобитные домики посреди тутовых деревьев. А только что на базаре, когда беда с Едиге случилась, другое у нее состояние было: будто стена впереди выросла, которую им не перепрыгнуть, и будто удел у них теперь сиротский, потому как нищие они. И вдруг могущественная рука взяли да и перенесла их через эту стену, вырвала из бездны, в которую они падали... вытащила на белый свет, на солнце. Их спасителем стал человек в кожаном плаще и этот аскер на облучке, совсем еще юный, почти мальчик.

Дау-апа по обыкновению старых людей начала было расспрашивать возчика про людей на берегу, чьи-то имена называла, не встречал ли их тот, но красноармеец только усмехался и головой качал:

— Там столько народу...

Впереди завиднелась серая, сливающаяся с горизонтом водная гладь.

— Это и есть благословенная Амударья? — спросила Дау-апа. И она, и Хансулу видели реку впервые.

— Что это? — заволновались дети.

Хансулу пояснила:

— Река, — и сама удивилась: — Что она такая серая?

Поразила их река своим суровым ликом. Мутные пенистые волны накатывались одна на другую, тесно им в глинистых берегах; они, кажется, и вздыхают по этому поводу, как живые. Обилие воды страшило, и глядеть-то на нее боязно.

— Апа, — сказала Хансулу, поеживишись, — там на базаре, когда эта история произошла, человека я одного увидела в толпе...

Дау-апа устремила на нее глаза.

— Лабак-ахуна я увидела с посохом в руке, ну прям как дервиш с виду.

— Э, детка, не удивляйся. Если ворон сейчас сокол, то ахун— дервиш... Чему удивляться-то? — Дау-апа вздохнула. Морщины на лице углубились. — На базаре, о господи, двое, он и она, дочь свою юную продавали. Казахи, э-э, как мы...

Замолчала Дау-апа. И Хансулу примолкла, точно язык проглотила.

На берегу — огромное людское поселение, стан за станом, костры. Женщины в белых жаулыках мелькают, дети босоногие носятся. Их арба на равнинном участке побережья остановилась, здесь густо произрастали каратал, шигилдик, дикий лен. Здесь уже три юрты стояли драные, правда, и с десяток брезентовых палаток. Чайники, ведра над костром, еду люди готовят — время обеденное; женщины что-то режут, крошат, мужчины дрова рубят.

Первыми их детишки окружили. Потом, побросав дела, женщины примчались. Возгласы посыпались:

— Ойбай, Дау-апа?!

— Как добрались-то?

Дау-апа, сойдя с телеги, степенно поинтересовалась:

— Сами-то живы-здоровы?

Потихоньку и мужчины подошли, в глаза не смотрят, отводят взгляды. Женщины знай стрекочут.

— Ойбай, а где же бий? — спохватилась одна из них.

Бий — это Пахраддин.

— А Балкия нашлась?

— Э, дорогие мои, что спрашивать? — тяжко вздохнула Дау-апа, расправляя поясницу. Насупилась. — До семидесяти дожила, а того, чего не видела, много еще, получается, на белом свете? Уф?.. Сучку мою Пахраддин искал да занедужил... Там, на дороге, остался. Живой он или как — не знаю. Сырга с ним. Вот с этими двумя, — на ребятишек показала, — дотащились мы. Бог подсобил, с государственными людьми свел...

Хансулу отвернулась, пряча повлажневшие глаза.

Дорожки, сырмаки, кошмы расстелили. Дау-апа и Хансулу как почетные гости во главе дастархана устроились. Рядом по кругу старики разместились. Проворные женщины дастарханом занялись. Кулзипа чашку жареной пшеницы на него высыпала. Катира расторопно сахару наколола. По пути сюда, как услышала Хансулу, скончались от голода старая мать Катиры, четверо малышей, среди них — трое сыновей Майлибая...

Те, что оказались здесь раньше, уже и сил набрались. И разговоры у них другие. Про судно какое-то толкуют, паромом называют — вот-вот придет. Сегодня его ждали.

Представители из Казахстана на этом пароме до станции их доставят, чтобы потом на поезде до Аулие-Аты[1] довезти. В Аулие-Ате их по окрестным колхозам должны развезти. Такие вот были новости.

— Э, лишь бы не голодовать, пусть распределяют, — кряхтели старики.

После обеда Дау-апа прилегла отдохнуть. Хансулу с ребятишками пошла к реке. Берег обрывистый, высокий, с человеческий рост. Вода внизу звучно шлепается об обрыв. Течение стремительное, вблизи жутко на него глядеть, голова кругом идет. Вода ошеломляет, в редких местах она закручивается воронками. Щепки, которыми кидаются мальчишки, кружатся, кружатся на месте и ныряют в пучину. Удивляется Хансулу, откуда столько воды? Далеко-далеко, где-то у противоположного берега, лодка. Глядя на лодку и на этих двоих, расплакалась Хансулу. Про отца и мать вспомнила. Что с ними? Живы ли? А может, давно уже где-нибудь под каким-нибудь кустом добычей для воронья стали?! О боже, сохрани, спаси их! О боже, грешна она, Хансулу... Не пришли ей раньше мысли о родителях, только сейчас вспомнила, когда насытилась, когда набила утробу... О-о, жизнь, жестока ты!.. Да, а что в самом деле задумала? Куда это собралась, оставляя безвестно отца и мать?! Как она в эту Аулие-Ату поедет, не узнав, что с ними?!

Молоденький красноармеец, тот, что привез их сюда, искал ее, оказывается, — продукты со склада получить надо. Одна из трех юрт и была складом. На четверых им выдали с полторбы пшеницы, плитку чая, две горсти колотого сахара, бутылку хлопкового масла. Хансулу расписалась в документах. Радостная, мешочек на себя взвалила; Едиге и Тугелбек все остальное подхватили и потащились разом к бабушке, которая спала.

— Аже! Аже! — затормошил ее Едиге, тыча под нос плитку чая. Тугелбек, не желая отставать, совал сахар.

Поднялась Дау-апа, рассмотрела, что ей дети принесли, руками общупала, удивилась. А Хансулу мешочек еще перед ней поставила.

---

[1] Аулие-Ата — Джамбул.

— Вот вам, — говорит, — апа, и пшеница!

Та, не веря глазам, развязала мешок, вгляделась, воскликнула благодарно:

— Дожили до такого богатства, а? — и, зачерпнув ладонью, стала рассматривать золотые зерна.

Спать никому не хотелось. Велев детям насобирать сушняка, женщины развели костер, нажарили пшеницы. Мальчики постарше, игравшие на берегу, побежали с криками:

— Солдаты! Солдаты идут!

Пестрая толпа на берегу пришла в движение, все туда поворотились, куда мальчики побежали. За кустарниками льна, шигильдика, каратала головы красноармейцев сначала показались, а затем и они сами на резвых поджарых конях. Трое их было. Следом поскрипывающие конные упряжки завиднелись: четыре телеги, сплошь заполненные женщинами, мужчинами, детьми.

Дау-апа вгляделась в подъезжающих из-под руки, солнце в глаза било.

— Хоть бы наши там оказались, — сказала она.

Хансулу побежала к телегам. Прибывшие диковато озирали людей на берегу, а те — их. Первая арба остановилась на площадке, где стояли палатки.

— Здесь и располагайтесь, — велел им Асылбеков. На кауром, со звездой во лбу жеребце восседал он.

Подкатили и остальные телеги. Глаза Хансулу отчаянно выискивали в гуще людей родителей.

— Нету ведь, — обронила потерянно Дау-апа. К ним, поглаживая поблескивающий подбородок, Кикымбай подошел, сказал:

— Вернулись, гудулдугутпан, эти два аскера, которые вас искать поехали...

И Дау-апа, и Хансулу уставились на Кикымбая, как будто от него теперь зависела судьба Пахраддина и Сырги.

— Гудулдугутпан, — Кикымбай опять почесал затылок. — Не нашли, говорят, никого. Всё вроде обыскали.

Хансулу представились отец и мать, скрючившиеся в пустыне под кустом...

— А где ахун? — полюбопытствовала Дау-апа. — Ахун? Ахуна они, говорят, на базаре в Коныpате потеряли. Сказал, говорят, приду. И — нет. Ждали они, ждали. Не пришел, гудулдугутпан.

— Гм-м, — замычала Дау-апа с таким видом, будто в чем-то удостоверилась.

— Апа, что делать-то? — нетерпеливо проговорила Хансулу.

— Спокойствие, детка, спокойствие. — Дау-апа сощурилась. На солнце она смотрела. К горизонту оно клонилось.

Дети на берегу расшумелись:

— Паром! Паром!

— Алакай[1], паром!

Как бы в ответ на радостные детские возгласы паром издали дал гудок. Мальчишки разгалделись, довольные.

Судно поднималось с нижнего течения реки, вырастало громадой, клубы дыма окутывали его. Видела ли до сих пор паром Дау-апа, неизвестно, но Хансулу с ним столкнулась впервые, не отрывала она глаз от судна. Против течения шел паром. Хансулу показалось, что если она уедет, то больше никогда, никогда не увидит ни своих родителей, ни Шеге. Показалось, будто плавучий дом ее на край света увезет. Аулие-Ата и край света разве не одно и то же?

— Апа, не поеду я никуда! — заявила она.

— Ой, милочка ты моя, так и я же о том думаю! — воскликнула Дау-апа.

8

В сумерках началась посадка. Паром тихо покачивался на волнах. Большой он, аулом загружается, да еще не одним, да еще и со скотиной — места хватит. Сначала на него красноармейцы Асылбекова взошли. Люд на берегу с тюками и узлами стоял наготове, приказа ждал. Дау-апа и Хансулу тоже упаковались, якобы в дорогу собрались. На деле они только момента выжидали, чтобы, воспользовавшись суматохой, уйти. Момент выдался. Как гром, покрывая людской шум, прогремел приказ:

— Начинай посадку!

Что было-то! Народ к сходням кинулся, напролом люди лезут, один другого теснит, никто никому дороги не дает.

---

[1] Алакай — восклицание, обычно выражающее радость.

Что-то красноармеец на дороге кричал, но кто его в такой толчее послушает? На помощь солдату еще трое подбежали, дорогу народу преграждают, а он точно стадо неразумное прет.

— Порядок, порядок соблюдайте! — едва слышится сквозь неумолчный гомон.

Причиной беспорядка стал, как выяснилось, слух, будто тех, кому на этом судне не достанется места, увезут в холодные края. Кому на холод охота? Вот и ломится народ.

— Детка, удобнее момента не будет! — пробасила Дау-апа.

Обе, пятясь, стали отступать, пока разом в густые кусты не вошли. Белые жаулыки они еще до посадки в коржун попрятали, чтобы внимания не привлекали. Дети — на спине, узлы — в руке. Прямиком через камыш и лен на запад заторопились. Погоня со страху чудилась, потому по бездорожью пробирались. Едиге сначала расхныкался было: «Аже, а почему не на паром?», так бабушка прикрикнула на него: «Заткнись!» — и больно еще по заду хлопнула.

Тяжело с детьми да с узлами бежать. Вскоре выдохлись, но остановились тогда только, когда себя в относительной безопасности почувствовали.

— Уф! — выдохнула Дау-апа.

Лен, высотой в человеческий рост, укрыл их. Оглянулись, но что можно увидеть сквозь дремучие заросли? Вспыхнула зарница.

— На тебе! — всполошилась Дау-апа. — Как бы дождь не пошел, чтоб он пропал, окаянный!

Как бы в ответ загудел северный ветер, пробежался по верхушкам льна. Хансулу отдышаться не может. Сердцу тесно в груди, бьется оно, бьется, пот заливает глаза. Она вытирает и вытирает лицо. Гладит по головке Тугелбека. Смешной он, стоит перед ней, ножки широко расставил. Нет у малыша забот, когда рядом мама. Знать бы Шеге, что сейчас его Хансулу и Тугелбек в кустах, горемыки, отсиживаются, как бродяжки. Не знает этого Шеге. Не знает, что его жену, сына как перекати-поле по жизни носит... Шеге! Где ты? Далеко, наверное. Примчался бы, коли мог. Хорошо, если им суждено еще встретиться. А если не

суждено? Если эта разлука так и останется разлукой: он — в одном конце мира, она — в другом?.. Эта мысль ужаснула ее своей обыденностью. Ведь так может быть.

Теперешней задачей Хансулу и Дау-апы было добраться до Коныpата и найти каракалпака по имени Шамурат, приятеля Пахраддина.

Мгла сгустилась до полной темени. Они едва различали землю под ногами, ветер подталкивал в спину. За горизонтом давно уже погромыхивает гром. Похоже, дождь будет. И вдруг — будто раскололось небо. Ох и перетрусили они! Такой ударил гром.

— Бисмилля!

— Бисмилля!

— Жалко, до города не дошли, а уже дождь, — проговорила Хансулу, еще более согнувшись под тяжестью мешка.

— Э, не растаем небось. Дождик-то весенний.

На солончаке, по которому они идут, мелкий тростник пробивается. Шурша, он бьется под ногами, мешает идти.

— Детка, глаза у тебя молодые, погляди-ка, что впереди темнеет? — спросила Дау-апа, вглядываясь в горизонт.

Дождь начался. Опустила Хансулу мешочек, присела, всматриваясь в то, на что Дау-апа показала.

— Дерево и что-то рядом, не то стена обвалившаяся, не то...

— Все равно, — подхватила обрадовано Дау-апа. — Там и укроемся. А то детишек еще застудим.

Пошли к дереву. Дау-апа, чтобы сократить дорогу, о себе начала рассказывать, про свою одинокую жизнь, в которой всего было много: и дождей вот таких, и снега, и другого ненастья...

— И в степи безлюдной одной ночевать приходилось! — заключила она.

Пока Дау-апа говорила, к дереву подошли. Тутовником оно оказалось. Рядом — обвалившиеся стены глинобитного домика. Только они под дерево залезли, дождь изо всей силы захлестал. Накрылись одеялами, а детей, в телогрейки обернув, к себе прижали. Гром еще несколько раз сотряс округу и стих. Какой потом ливень обрушился на них! Все пришло в движение: зашелестели, зашептались листья тутовника, запрыгали в лужах дождевые пузыри. Понесло

удивительным ароматом свежести. Стихия явила себя в полном могуществе. Ливень не переставал. Дети расхныкались, прося есть. Так и поужинали они — под одеялами, уминая куски вкусного пшеничного хлеба. Насытившись, малыши начали подремывать. Как ни густа крона тутовника, дождевые капли их достали. Одеяла стали намокать. Хансулу еще теснее прижала к себе ребенка.

— Как ты там? — спросила Дау-апа.

Спиной к Хансулу она лежит. Едиге, надежно защищенный ее большим телом, и не слышит, наверное, непогоды.

— Капает, — ответила Хансулу.

— Потерпи, милая, что делать?.. Пусть рассветет. Дотех пор, может, и распогодится. Постарайся уснуть.

Измученная долгим переходом, Хансулу не заметила, как уснула. Пробудилась от ледяной воды, попавшей за шиворот. Вскочила, вытрясла волглое одеяло. Подол, правое плечо и правая лопатка промокли насквозь. Дождь стих. Укутав поплотнее сына, как курочка оберегает от непогоды цыпленка, она вновь прилегла, что же делать... Не спалось. Влага, просочившаяся сквозь одежду, холодила тело; дрожала Хансулу. Дау-апа, коротко всхлипнув во сне, пробормотала:

— Жеребенок мой!.. Уф!..

Тяжелый выдох. Милая Дау-апа! Все свои печали, получается, ты носишь в себе... Булыша вспомнила, жеребеночка своего. Бедная мать!..

Тихо лежит Хансулу, пусть-ка Дау-апа поспит. Но нет — поднимается уже Дау-апа. И дождь, оказывается, прекратился. Прокашлялась Дау-апа, позвала:

— Хансулу!

— Ау! — откликнулась та, поднимая голову.

— Спала ты, детка, не будила. Идти надо. Рассвело.

Связав узлы, полусонные, взвалив на спину детей, пошли они. Грязь на земле, трава мокрая, идти трудно. С восходом солнца, путь им преградил овраг. За ним и город видно.

— Пропади он пропадом! Ты глянь, вода по дну! — Дау-апа остановилась.

Воды на дне оврага и в самом деле хоть отбавляй, будто маленькая речка несется.

— Гм, вброд придется переправляться!

Что Хансулу скажет? Не жаловаться ведь, что у нее жар и голова болит. Дойдя до грязной, мутной воды, они сложили вещи на кусты ажырыка, разулись, сняли сапоги. Пробудившиеся мальчишки с любопытством озирали овраг. Дау-апа ступила в воду первая, внук — на спине, коржун и сапоги — в руке.

— Бисмилля!

Ширина потока— пятнадцать шагов. И Хансулу, держа сапоги в одной руке, бочком-бочком вошла в муть. Ледяная вода до костей пронизывает. Галька на дне больно в ноги вонзается. Хансулу свои беды стоически переносит. Сжала зубы и идет. Вот и кончается поток. Ноги, когда она выбралась на землю, не чувствовали ничего, стужей их свело. Сев на коржун, Хансулу насухо вытерла ноги и, обернув портянками, сунула в сапоги. Только тогда они ожили.

По эту сторону потока грязи еще больше. Попробуй из нее выберись — с детьми да с грузом! Дау-апа ругается, но упрямо пробирается вперед, плевать ей на грязь. Всякий раз, оскальзываясь, она опирается рукой о землю и встает. И всякий раз ворчит:

— О, чтоб ты провалилась!

Грязь, она, конечно, бранит.

Хансулу, наглядевшись на ее мучения, решила поискать другую дорожку. Вдоль потока узкая промоина тянулась, которая потом косо вверх по склону поднималась. Вот по ней она и пошла. И тут, видать, вода гуляла, да сошла. Хансулу старалась ступать на траву. Дау-апа уже выбралась, спрашивала сверху:

— Детка, ты где?

Хансулу, бедняжка, к самой земле пригнулась: ноги, скользя по глинистому дну, ползли назад, и все же она карабкалась упрямо вверх. Где-то и на четвереньках приходилось выбираться. Пот заливал глаза, едва дорогу различала.

— Апа! Погляди! — воскликнул сидевший на спине Тугелбек.

— Что, сынок? — Хансулу вытерла рукавом мокрое лицо. Покачивается на ногах, обессиленная.

— Вон! Вон! Гляди!

Посмотрела Хансулу туда, куда сын показывал, — и похолодела: из-под глинистого бугорка, кое-как наваленного, торчали ноги, и не одни. Оцепенела Хансулу. Ночной ливень смыл землю, вот и обнажились ноги. Босые ступни, детские рядком и женские с ними; у женщины ноги по икры открылись.

— Умерли они, — заключил Тугелбек.

Тогда и очнулась Хансулу. Задрожала, ноги отяжелели — не ступить. Поползла на четвереньках. Ни жива ни мертва выбралась из оврага. Стучало в висках. Душа, считай, на кончике носа, вот-вот измученную плоть покинет...

Перед городом посреди тутовника домик виднелся. Старик в поярковой папахе ягнят и козлят выгонял пастись, туркмен, по-видимому, — на нем еще и бурка.

— Апа, голова разламывается, — не выдержала Хансулу.

Дау-апа пощупала лоб.

— Ойбу-уй, да ты горишь!..

Оставив ее с детьми и вещами, понеслась, бедная, к тому старику в папахе и бурке; он, опершись на палку, застыл на лугу как изваяние возле своей живности. Еще через некоторое время, взяв в руки их поклажу, повел женщин с детьми к дому.

Едва тащится Хансулу. Было бы где лечь— упала.

— Побудешь тут, — шепнула Дау-апа ей.

Еще домик во дворе — поменьше. Летняя кухня. Туда и повел их старик. Циновка на земляном полу, поверх нее дорожка положена. Старуха в красном платке дверь распахнула.

— Печку, может, растопить? — предложила Дау-апа.

— Конечно, конечно, растопить надо, — поддержал на своем наречии старик. — Эй, мать!..

Растопили печь, тепло стало. Налила Дау-апа в таз нагретой воды, поставила его перед Хансулу.

— Ставь ноги! — говорит.

Окунула Хансулу ноги в горячую воду, закрыла глаза. Все, что происходит, — как сон. Тепло от ног тихо разлилось по телу. Одно она слышала, другое — нет. Хозяйка растопленного бараньего сала принесла. Дау-апа этим салом ноги

Хансулу растерла до колен. Огултеч-аже, так хозяйку звали, еще и горячим молоком с маслом попоила.

— Ложись и не двигайся! — велела Дау-апа, укрывая ее сверху теплым одеялом. Поверх и одежду навалила. — Полежи пока что. А я Шамурата поищу.

Хансулу кивнула. Вещи Дау-апа оставила, а детей забрала с собой. У печи Хансулу лежит. Крохотная, как курятник, комнатушка с низким потолком аккуратно глиной обмазана. Жарко в ней скоро стало. Хансулу пропотела насквозь. Огултеч-аже, появляясь, осведомлялась:

— Как себя чувствуешь, доченька?

И Какабай-ата ее состоянием интересовался. Не все она понимала в туркменском произношении, но этого и не требовалось — все восполняла доброта стариков. Не только молоко, не только печь помогли ей. Не менее целебным оказалось и сострадание двух незнакомых людей, их милосердие.

Дау-апа вернулась лишь к вечеру.

— Э, детка, повезло нам! — забасила она с порога. Мужеподобной старухе пришлось сложиться вдвое, чтобы пройти в дверь. — Нашла я Шамурата. Базарные торгаши его знают, и дом где, и работа. Прям с ребятишками и явилась к нему. Застала, слава те, господи!.. Ты-то как тут?

Хансулу про куриный бульон сказала, которым ее старики потчевали, про их добрые сердца. Дау-апа, удовлетворенная, продолжала:

— Шамурат-то ловкий малый оказался. Расторопный. Сразу меня в енкебе[1]. Всех записали — и Пахраддина, я Сыргу, и Балкию, имя, возраст. Сообщат, сказали, коли найдут. Так, благодаря Шамурату, мы с этим делом, скажи, развязались. Потом Шамурат, представляешь, меня взялся пристраивать. В интырнат свой привел. Забхоз он там, говорят. Сироты в том интырнате живут. Посудомойкой предложил в столовой ихней быть, при еде, говорит, будешь. Он нам с внучком и угол в дровяном складе нашел, спасибо ему. Пусть, говорю, счастье тебе будет через деток твоих, пусть, говорю, добро, которое ты мне сделал, от бога тебе возвернется... Вот так, детка, и прокрутилась

---

[1] *Енкебе* — искаж. от «НКВД».

я до вечера, зато сколько дел! Повезло еще нам. Мертвецов в городе — не приведи господь! На улицах прям трупы...

— Мои не добрались, выходит, — Хансулу уставилась на глиняный потолок дома.

— Э, что мы можем?..

Тягостная тишина нависла в тесном доме. Пригорюнились женщины. Снаружи раскудахтались куры. Мальчишки, видно, резвились на дворе.

9

Немощное, съежившееся тело лежало неподвижно под столетником; открыла Сырга глаза, а перед ней — Пахраддин. Шевельнулась Сырга, застонала. Тоненькими, как спичинки, пальчиками, вся дрожа, стала что-то нашаривать в воздухе. Что-то съедобное ищет. Сколько уж дней ни крошки хлеба во рту... Сколько — Сырга не знает, давно уже сбилась со счету. Знает — дни и ночи сложились в такой временной отрезок, который, как она думала, измерить уже невозможно; этот отрезок тянулся, как смола, и полон мук. Все ее надежды на Пахраддина. Не должна б она так страдать, когда рядом Пахраддин. Но что-то, видно, приключилось и с ним, раз он, ее благодетель, хозяин, всегда все знавший, всегда все умевший, вдруг сбился с пути и, не в состоянии его найти, все кружит и кружит возле бархана... Если он тот Пахраддин, которого знает Сырга, не мог он ошибиться, не мог допустить, чтобы они тут, в песках, пропали. Разве он — не тот Пахраддин, которому люди поклонялись, которого люди чтили?! Что, что случилось? Почему он не может выбраться из тупика?

Сырга поглядела на широкие лопатки мужа, спиной он к ней сидел — поникший, в сорочке белой, некогда белой, в черной тюбетейке. В волосах, бороде прибавилось седин.

— Сокол мой...

Пахраддин не откликнулся. Его волосы и бороду треплет ветер, сорочка пузырится на спине. Тихо, мошкару только слышно. Полдень, зной, от него дыхание перехватывает. Вдалеке по пустыне прокатываются смерчи.

Потянулась Сырга худой, обессиленной рукой к спине мужа, коснулась ее.

— Заблудились... Да?

Не ответил Пахраддин. На далекий горизонт смотрит. С их бархана полмира видать. Полмира — это жаркая пустыня, маревом обволакиваемая, и ни души, будто все кругом вымерло.

— Небо сегодня ясное, к ночи по звездам пойдем, — сказал он через некоторое время не оборачиваясь, желая утешить жену.

По звездам — так по звездам. Голос мужа внушает надежду. Не было еще случая, чтобы Сырга усомнилась в его словах. Сказал Пахраддин, пойдем по звездам, значит, пойдут по звездам. Может, и дойдут. Может, не все еще потеряно...

А Пахраддин не отводил глаз от смерча, завихрившегося свечой в самом центре пустыни; вот он уже и в сторону отклоняется. Ой-хо-ой, тяжко вздыхает Пахраддин, так и жизнь, как этот смерч, покружит-покружит — и уйдет. Обманчивый, призрачный мир. И он в этом мире был когда-то. Да, была жизнь вчера. Как день пролетела. Мальчишкой на стригунка сел необъезженного впервые. Джигитом коня норовистого оседлал, аулы ночами объезжал, где девушки. Вроде бы вчера. Потом, потом повзрослел, ума набрался, о нуждах людских стал думать. О справедливости. В тяжбах стал участвовать, бием прозвали за мудрость. Не славы, не чинов он искал. Единения искал — для народа. Э-э, было все. Была жизнь, кочевая жизнь степняка с ее неизменной войлочной юртой; эта жизнь ушла. Мелькнула как сон и ушла бесследно. Полагал ли Пахраддин, что в возрасте пророка, когда голова сединой убелится, кончится он от голода?.. Думал ли когда, что останется непогребенным в пустыне, станет добычей зверья и птицы? О создатель, чем провинился твой раб, что ты его на столь бесславный, собачий конец обрекаешь?! Почему бы ему не узнать про эту вину перед смертью?! За что, за какой такой проступок ты его караешь? За что-о?!

Горькие мысли терзали Пахраддина, пребывавшего на грани жизни и смерти. Временами он поднимал голову, усталым взглядом обозревал округу. Путника он искал, живую душу, но не находил. Глаза с частокола агавы на полынь переходили — зеленую-зеленую; вдалеке барханы

выплывали с ковылем — белым-белым; пологий холм, утопающий в мареве, — как голубое озерцо. И вдруг на этом холме, о всевышний, — верить или не верить глазам? — он увидел юрту. Обыкновенную казахскую юрту, круглую, с куполом. Марево скрывало ее наполовину, но она, юрта, большая, белая, с куполом, была! Напряг Пахраддин зрение. Нет! Никакой ошибки! Стоит юрта. Белая. С белым куполом.

Забило-зачастило сердце.

— Байбише! — позвал он, не в силах скрыть радости.

— Ау! — откликнулась Сырга, не открывая глаз.

— Байбише, юрта вон!

— Что? — Сырга открыла глаза. Насилу открыла.

— Вон юрта! Наша юрта!

Сырга тихо повернула голову.

Пахраддин и на ноги уже поднялся, стоит-покачивается на месте. Тянет, как безумный, руку вперед, глаз от горизонта не отрывает.

Шаг сделал, другой. Приостановился.

— Вон, на гребне, видишь? Наша юрта...

— Где?

Сырга, поднеся ладонь к глазам, вгляделась. Не увидела ничего. Весь мир в голубом мареве струится. Горизонт плавится, тает. Одно мельтешение в глазах.

Выпрямившись, Пахраддин закачался на месте. Попробовал еще сделать шаг. Как ватные ноги, не живые.

— Где юрта? — прошептала Сырга. Не услышал ее Пахраддин. Ветер пузырил на его спине рубаху. Он двигался, вытянув вперед руки, как слепой, будто за воздух хватается, и шаг у него неверный. Сырге в эту минуту он показался большим ребенком, который только-только по земле пошел.

— Бог мой, упадет ведь...

Боится за него Сырга. Но не падал Пахраддин. Молил духов предков:

— О Барак-ата! О Бекет-ата! Помогите... Поддержите...

Все оставшиеся силы собрал Пахраддин, чтобы спуститься с песчаного склона. В коленях, проклятых, нет сил. Вес собственного тела вынуждает его склоняться то вправо, то влево. Но, пока жив, не намерен он сдаваться. Хоть и упадет — не отступится.

Он должен дойти до юрты, последней его надежды, последнего света в этом мире. Дойдет и скажет; что там, на бархане, Сырга, что надо ей помочь. Скажет и умрет.

Спасет Сыргу — и умрет.

Падь, в которую он спустился, изобиловала растительностью — степной акацией, столетником, ковылем. На глади песка — вязь, оставленная жуками и ящерицами, там же и отпечатки босых ног Пахраддина. Тягостную, веками настоянную тишину пустыни нарушает лишь биение сердца Пахраддина и его запаленное дыхание. Пот заливает глаза, и тогда вселенная темнеет. Под ложечкой сосет, хочется есть. От голода темнеет в глазах, а не от пота. И в голове туман, будто все во сне происходит. Во рту сухо, язык распух. Но неведомая сила влечет вперед, заставляя забывать и про зной, и про голод, и про жажду. У края пади он опустился на колени и на четвереньках вскарабкался-таки на гребень. Выпрямившись, вытер рукой лившийся в глаза пот, взгляд лихорадочно ищет скрытую маревом белую юрту. Марево, голубое-голубое, как озерцо, неведомо откуда в пустыне объявившееся, было, а юрты... юрты не было. Пропала бесследно. Будто земля ее проглотила. Привиделась, что ли?..

Не-е-ет! Не верит глазам Пахраддин. Еще шаг... Другой... на ногах еле держится... На бугор поднялся, вгляделся.

О создатель! Неужто он разума лишился в ясный день? Где юрта? Где эта белая юрта?! Жаркая сушь лежала безмолвная, как и судьба. Жестокая судьба. Обманулся, выходит, Пахраддин. Марево подвело. Сам обманулся и Сыргу, бедняжку, в заблуждение ввел. О безумец!..

Обернулся Пахраддин, поглядел назад. Жены на бархане под кустом столетника он не увидел. А ведь, кажется, смотрела ему вслед. Черно стало в глазах, закружилась голова, покачнулся Пахраддин. Что было дальше, он не помнил, и сколько времени пролетело, не знал.

Очнувшись, открыл глаза, отметил, что зной спал, удлинились тени от кустарников. Лицо горело. На муравейник, оказывается, упал, искусали, твари, не пожалели. Губы вспухли. Собрался с мыслями, сел. Нутро горело не меньше, чем лицо, хотелось пить. Жажда мучила сильнее, чем голод. Глаза на зелени сосредоточились. За кустами агавы, посреди рана и солодки он лук увидел. Росточек дико-

го лука. Один-единственный. Подняться бы да сорвать, но куда уж ему? И пытаться не стал. Пополз к тому единственному росточку на четвереньках. Глаз от него не отрывает. Боится, как бы и он не привиделся. Нет, не был росточек видением, коснулся он его рукой. Не вытерпел, пока сорвет, — упал на него, сжевал на корню. Ползет Пахраддин дальше, жадно траву обозревает. Еще, еще ему хочется луку. Голодные глаза его ищут. Так, на четвереньках, он и до акации дополз, щедро рассыпавшейся сережками. Под ней на площади, равной той, что занимает обычно юрта, он — о боже, велико же твое могущество! — обнаружил вместе с зарослями рана и ростки лука. Много его тут было— глаза разбежались. Щедр создатель, если захочет воздать! Приложился к краю Пахраддин, не оторвать. На четвереньках передвигается, зубами зелень состригает, жует. Обо всем забыл. Одного жаждет — лука, терпкого, исходящего соком. Рвать его, грызть, глотать еще и еще... То и сделал Пахраддин. «Скосил», считай, весь луг.

Когда пришел в себя, увидел, что ел-то он не лук, а ран, траву, которую скотина ест. Выходит, пасся он, как последнее животное...

Рот кисловатой травы полон, сплюнул. Уронил голову, слезы крупными каплями на песок покатились. Чем он прогневил бога, что жалко тому для него достойной человека смерти? Чем? Че-ем?! Почему он, именно он, как последний пес, должен издыхать на радость ползающим червям и муравьям?!

— О мир! Ты нем! Ты жесток! Ты предательски изменчив, мир! То ликом оборачиваешься, то задом. Почетные куски с дастархана жизни ты псам бросил, подобным Бухарбаю и Курену... Мало того, им же на растерзание народ отдал. Этого ты хотел?! Э-эх, натравил заевшихся кобелей. Разогнали псы народ, по белу свету он разбрелся... Обнищал, себя потерял. Этого ты хотел, лицемерный мир?! Что ж ты молчишь? Насытился твой зоб? Сыт? О время, бесово время! За все еще с тебя спросят, за капельку воды, зря пролитую, спросят! Кровь людская тебя не отпустит! Слезы малых детей не отпустят! Понесешь еще ответ! Ни одно твое преступление не останется без спроса, ни одно, ты слышишь? За все будет спрос! За все-е! За все!!! — прохрипел Пахраддин и упал. Ничком, лицом в землю уткнулся.

Долго он провалялся без сознания, а потом, когда очнулся, стал мало-помалу приходить в себя. Запах молодой травы почувствовал сперва. Хотел открыть глаза, да понял — вниз лицом лежит. Жажда мучила, нутро горело, язык будто приклеился к небу. Сорвал зубами травинку. Только он это сделал, два стебелька дикого лука перед ним объявились. Будто кто подбросил их. Испугался было, но потянулся к стебелькам, захватил их губами, стал жевать. Влага смягчила полость рта. Кто-то рядом прокашлялся. Совсем рядом.

— Кха! Кха!

Пахраддин повернул лицо в сторону кашля. Старик, живой дух, рядом с ним. Подобно святому, что-то бормочет, на корточках сидит. Глаза закрыты. Старая сероватая чалма на голове. На плечах старый выцветший чапан. Волосы и борода — белым-белы.

— Кыдыр-ата! — вырвалось от страха у Пахраддина. Как всегда, к духу далекого предка он обратился за помощью.

Но старик... где-то он видел этого старика. Ба! Да ведь ахун это! Он самый. Только изменился он. Сильно изменился. Ни дать ни взять дервиш!

— Итак, брат мой Пахраддин! Сбылось, что я предрекал, да!

Сощурился ахун, не на Пахраддина смотрит, а на далекий горизонт.

— Горы с горами столкнутся, моря из берегов выйдут, огни займутся, один на Западе, другой — на Востоке. Иса с небес спустится. Злой дух из-под земли выползет. Миг высшего откровения наступит... лик божий народ лицезреть будет. Суд великий над человеком свершится в присутствии господнем... Говорил я про это, брат мой? Говорил? Так вот, этот день настал. Дожили мы до него. Наше желание удовлетворено. Своими глазами Конец увидели... Но тебе, я вижу, жаль с грешным миром расставаться. Сено жуешь. Жить хочешь. Одумайся, прекрати желать того, что не достойно желания. Скоро, очень скоро сомкнешь ты глаза, перед тобой ворота иного мира распахнутся. Вознесешься над бренной, пропитанной ложью землей в вечность... Потому я спешил к тебе. Я-то сам давно существование на этом свете отверг. И ты себя не мучь, укороти язык. Пожелай душе благоденствия в будущем. Попроси у господа бога прощения за слабость...

Пахраддин, шевеля губами, стал читать молитву. Подумал — зря вспылил, зря всевышнего за грехи людские корил. Теперь он молил создателя о прощении.

— Ну вот, одумался. Душа человеческая — дар божий. Его, всемогущего, воля, когда он ее назад возвернет...

Заворочался Пахраддин. Болела грудь, болели плечи. Собрав последние силы, сел. Голова кругом пошла. Небо к земле клонилось. Земля под ногами покачивалась. Пристально, в упор на ахуна посмотрел. Закрыты у него глаза. Прозрачными, тонкими, как спички, пальцами бороду белую перебирает.

Прослезился Пахраддин. Сердце нежностью к старцу преисполнилось, не оставил он его в смертный час.

— О муж из мужей! — Достойный из достойнейших! — проговорил он растроганно. Слезы прочертили борозды на запачканном песком лице. — В обоих мирах я тебе благодарен!..

— Барак-ата во сне ко мне пришел, — заговорил ахун. — О тебе шепнул, беде твоей. Вот и примчался я... Здесь мне, наверное, и конец...

— С нашими что там?

— Э, кто угас, а кто жив остался, брат мой...

— А единственная моя, дочь моя... как?

— Э, божья душа приютила, жива она.

— А с теми, кто на Устюрте?

— Э, наворочали они дел... Развратилась молодежь, покой кладбищенский нарушает, духов гневит. Мечети, богом проклятые, громит. Вот и попортилась жизнь. Бог за святотатство голод наслал, мышей народ ест... Хорошо бы сами молодые за грехи свои ответ держали, так нет же — через них на всех кара пала... Кончается земля-то через злодеяния людские...

— Эх-хе-е, — вздохнул, выслушав ахуна, Пахраддин. Голову на грудь уронил. Опечаленный, почти вдвое сложился, так низко к земле он пригнулся. Забубнил: — Э-э-э... щуки на дерево перебрались... воробьи в соколы подались... вот-вот. Чего было ждать от народа, который Курен и Сур Жекей... Ждахай и Козбагар возглавили?.. Народ без достойного мужа-правителя не народ, вырождается он... Вырождаются мужчины, соратников достойных не находя. Злополучие корни пустило. О создатель, чем видеть это,

уж лучше умереть! Чем видеть это, лучше в могиле гнить... Или помучить меня хочешь, боже до такого дня довел? Но ведь и это смерть... не один, а два раза убить хочешь... не убив, в адовом огне жаришь. И смерти, значит, для меня жалко? А того, что Пахраддин шестьдесят лет на адовом огне жарится, мало? Шестьдесят лет с дьяволами-искусителями и оборотнями в облике человеческом сражается... мало? Ты бы, всемогущий, меня прибирая, хоть конец бы мне не омрачал...

Еще через какое-то время очнулся Пахраддин — ползет он куда-то, что-то бормочет. Приостановился — запамятовал вдруг, куда ползет. Лабак-ахун на том же месте сидит, прямой, недвижный, молится старец. Вспомнил тут Пахраддин, куда ползет. Сырга ведь там, на бархане, к ней он и ползет, увидеть ее хочет.

Такая уж пора в пустыне, когда солнце садится и тени вокруг начинают сливаться в одну сплошную темь. Ползет Пахраддин. Две луковинки у него в кармане. Намеренно прихватил. Пытается мыслями на Сырге сосредоточиться. Может быть... может быть... она умерла? А он... он... не был с ней перед кончиной. Как скверно-то получается!.. Собачья участь, собачья судьба...

Адовых усилий стоил ему бархан, едва влез. Сырга на спине лежала. Под столетником. Не шелохнется. Малиновое шелковое платье на ней, ее любимое, голова и шея повязаны жаулыком.

— Сырга! — окликнул он ее, беря за тонкую, высохшую кисть.

Жива Сырга, дрогнули ресницы. Открыла глаза, печаль, невыразимая печаль тонула в ее угасающих зрачках. Взгляд усталый, безжизненный, скользнул по лицу Пахраддина, пополз вниз. На кармане остановился. Вложил ей в руку луковинки, обе. Поддержал голову. Не осталось веса в Сырге. Как перекати-поле легка.

Держит лук тонюсенькими пальчиками, а ко рту поднести не может. Пахраддин сам затолкал ей луковинку в рот. Не спеша, тихо постанывая, начала жевать Сырга. Двое соединенных общей долей людей темнели на безвестном бархане в безводной пустыне...

Черно-синее небо с серебряными звездами, раскинув широко крыла, опускалось куполом на землю, отдыхав-

шую от дневного зноя. Потемнел, сузился в границах далекий горизонт, скопились в оврагах тени. Великая, подавляющая дух тишь окутывала вселенную. Вместе с темью расползался по окрестности, захватывая ее целиком, страх. Как волк, осторожно, без единого шороха, хоронясь за кустами, ближе и ближе подбирался он к двоим.

Звонкую бьющую в уши тишину нарушили слезливые причитания козодоя. Сырга на коленях Пахраддина покоилась, вздрогнула она. И Пахраддин холодок в сердце ощутил. Не к добру прилетает козодой, зловещая ночная птица. Смерть чью-то чует. Сырга, собравшаяся в комочек, как зайчонок, что-то ему шепнула. Прислушался он, склонившись. Показалось:

— Сокол...

Еще ниже он склонился. Сырга с усилием подняла веки. Издалека смотрит, из дале-окого далека. Из другого мира будто. Глазами, похоже, то сказать хочет, что не в состоянии выразить словами. Мучается, видя, что это ей не удается. Прощается никак, как знать... С навернувшимися на глаза слезами Пахраддин всматривается неотрывно в осунувшееся овальное личико жены. И Сырга смотрит немо, с мольбой. Не хочет она с ним расставаться. Он стал гладить своими широкими ладонями крохотное личико, ее шею. Капелька вытекла из уголка ее глаза. Горячая, обожгла руку Пахраддину.

Прошептала что-то Сырга. Он к самым губам байбише приник.

— Обними, — расслышал.

Козодой голосил без устали — он сидел одиноко на шапке карликовой акации. Стенания птицы заполнили пустынное пространство, они усиливали ощущение опасности. Они звали беду...

Обнявшись, лежали на бархане двое — он и она. Внизу, под ними, земля, сокрытая мраком; вверху — купол неба, прошитый звездами. Мир как большая юрта, купол которой слился с небом.

Ночная птица, захлопав крыльями, сорвалась с ветки, полетела неведомо куда...

1982—1985 гг.

Смагул Елубаев

ОДИНОКАЯ ЮРТА

Роман

Перевод с казахского
Лины Космухамедовой

Редакторы *М.Дюсебаева, Б.Байгулова,*
Р.Жуманова
Художник *Н.Нурмуханбет*
Технический редактор *З.Бошанова*

Оригинал-макет изготовлен, набран,
сверстан и выведен на диапозитив в компютерном
центре «Сөздік-Словарь»

Компьютерный набор *М.Копжасарова,*
М.Бакушева
Компьютерная верстка *З.Ткишева*

ИБ № 23

В печать с готового диапозитива подписано 22.10.98.
Формат $84/108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура «SchoolBookKaz».
Печать офсетная. Усл. печ. л.14.69. Уч.-изд. л. 16.08. Тираж 5000 экз.
Зак. №2019. Цена договарная.

Издательство «Сөздік-Словарь», 480124, г.Алматы,
пр. Абая 143, ком 330.

Республиканское производственное объединение «Кітап»
Министерства информации и общественного согласия
Республики Казахстан. 480009, г.Алматы,
пр. Гагарина, 93.


ХАЛЫҚ БІРЛІГІ МЕН ҰЛТТЫҚ ТАРИХ ЖЫЛЫ
ГОД НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
18